

НАДЯ УРБИНАТИ ИСКАЖЕ ННАЯ ДЕМО КРАТИЯ

Урбинати выделяет три типа искажения демократии:

неполитическое, популистское и плебисцитарное.

Каждое из них разрушает критически важное разделение, сохранение которого необходимо для исправно функционирующей демократии — барьер между свободным публичным форумом общественного мнения и правительственными институтами, проводящими в жизнь волю народа.

МНЕНИЕ, ИСТИНА И НАРОД

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

**ИСКАЖЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
МНЕНИЕ, ИСТИНА И НАРОД**

Nadia Urbinati

Democracy Disfigured

Opinion, Truth, and the People

HARVARD UNIVERSITY PRESS · 2014

Надя Урбинати

Искаженная демократия

Мнение, истина и народ

Перевод с английского
ДМИТРИЯ КРАЛЕЧКИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · 2016

Урбинати, Н.

У69 **Искаженная демократия. Мнение, истина и народ [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкин; Научный редактор перевода В. Софронов. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. — 448 с.**

ISBN 978-5-93255-432-6

В книге «Искаженная демократия» Надя Урбинати диагностирует проблемы, с которыми сталкивается политика в эпоху партийных страстей и монополизации массмедиа, и энергично защищает главное, на чем покоится демократия, — необходимость трудных компромиссов и неизбежность неоднозначных решений.

Урбинати выделяет три типа искажения демократии: неполитическое, популистское и плебисцитарное. Каждое из них разрушает критически важное разделение, сохранение которого необходимо для исправно функционирующей демократии — барьер между свободным публичным форумом общественного мнения и правительственными институтами, проводящими в жизнь волю народа. «Неполитическая» демократия ставит решение экспертов выше политического мнения. Популистская демократия до предела поляризует публичный форум, на котором высказываются и обсуждаются различные мнения. А плебисцитарная демократия неоправданно большое значение придает эстетическим и иррациональным аспектам мнения. Как считает автор, демократия предполагает постоянную борьбу за выявление тех вопросов, которые граждане считают главными для их жизни. Следовательно, выражение мнения — такая форма действия, которая не менее важна, чем механизмы организации выборов и реализации решений.

Урбинати обращает фокус своего внимания не столько на открытых врагов демократии, сколько на тех, кто выдает себя за ее сторонников, это технократы, озабоченные только правильностью решений, демагоги, льстящие «народу», медиамагнаты, желающие превратить политическое управление в зрелищный спорт, а граждан — в болельщиков противоборствующих команд.

ISBN 978-5-93255-432-6

УДК 321.7
ББК 88.3

© Издательство Института Гайдара, 2016
Copyright © 2014 by the President and Fellows of Harvard College
Публикуется по соглашению с Harvard University Press

Все права сохранены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме с помощью каких-либо электронных или механических средств, включая изготовление фотокопий, запись, поиск и хранение информации, без письменного разрешения издателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение · 9

Глава 1. Диархия демократии · 35

Значение и поддержание демократических процедур · 38; Что такое демократическая диархия? · 47; Представительная демократия · 51; Докса, политика и свобода · 61; Интеграция и консенсус · 75; Когнитивная роль мнения · 83; Политические разделения и партийные мнения · 87; Правление опирается на мнение · 93; Политическое гражданское право · 96; Барьеры, возможности и самоустранение · 101; Несбалансированная власть голоса · 105; Коммуникативная власть · 115; Цепочка косвенности · 118; Два понятия свободы · 126; Новая проблема · 130; Распределение и концентрация · 133; Две точки зрения · 137; Назад к демократическим процедурам · 143; Заключение · 154

Глава 2. Неполитическая демократия · 157

Миф о неполитическом · 162; Критика изнутри · 172; Инструмент истины · 178; Негативная власть суждения · 204; Республика разума · 223; Судебное суждение и политическое суждение · 236; Заключение · 244

Глава 3. Популистская власть · 247

Социальные движения и популизм · 249; Популизм: введение · 252; Конкуренция за представление народа · 259; Демагогия, социальный конфликт и более интенсивное большинство · 263; Сложный феномен · 276; Моноархическое исправление демократии · 289; Поляризация, упрощение, аккламация · 300; Народ · 304; *Populus* и плебс · 314; Заключение · 319

Глава 4. Плебисцит зрителей и политика пассивности · 321

Призыв к народу · 325; Что такое плебисцит · 330; Голосование или плебисцит · 334; Форма и материя · 337; Публика-зритель и тайное голосование · 345; Вопрос веры · 354; Кризис парламентской демократии · 361; Цена публичности · 387; В чем смысл наблюдения? · 392; Демократия зрителей · 397; Римская модель · 404; Речь на форуме · 411; Заключение · 417

Заключение · 421

Благодарности · 443

*Посвящается
моим студентам*

Введение

ОБЛИК — это внешне узнаваемая форма, совокупность наблюдаемых характеристик, отличительные черты лица, которые позволяют его узнать. У каждого из нас есть свой фенотип, по которому другие нас узнают. Наш облик, таким образом, важен для нас, поскольку наша внешность уникальна именно благодаря чертам, его составляющим. В этой книге я использую аналогию с телесным обликом для изучения некоторых типов искажения демократии. В политической мысли аналогия с «телом» использовалась с самых первых размышлений о политике. В теориях политической легитимности главным вопросом выступала сущность политического тела, то, что определяет его в качестве политического. Так, Жан-Жак Руссо доказывал, что если граждане подчиняются законам, которые не сами они устанавливают, система, при которой они живут, не является политической, хотя они и могут так ее называть, поскольку автономия их суверенной воли — вот сущность, составляющая политическое тело. Но я буду следовать не этому образцу. Я не буду изучать сущность политического суверенитета. Скорее я использую «облик» или видимые очертания в качестве указания на политический порядок, то есть в качестве своеобразного фенотипа, по которому мы распознаем тот или иной порядок в его отличии от других систем. Тиранический режим характеризуется определенными чертами, то есть имеет такой облик, по которому наблюдатель может уверенно судить о природе этого режима; к его чертам относится отсутствие регуляр-

ных выборов, разделения власти и билля о права. Точно так же демократическое общество обладает определенными признаками, принадлежащими только ему и позволяющими его опознать. И в том обличье, который демократия являет миру, я обнаруживаю определенные искажения. Вот в каком смысле я использую эту аналогию в данной книге. В первой главе я дам портрет основных черт, составляющих облик демократии, то есть процедур, институтов и публичного форума мнений. В последующих главах я займусь выявлением и анализом некоторых типов искажения, которые, пусть они и не меняют формы правления, могут считаться заметными изменениями во внешне наблюдаемых качествах демократии. Слово «искажение» предполагает негативную оценку, а не только описание. Три типа искажения, которые я описываю в этой книге, представляются весьма тревожными переменами. Выявляя и анализируя их, я намереваюсь привлечь внимание читателей к этим нарушениям, чтобы как-то исправить их, а в заключении я предлагаю несколько правовых нововведений.

Предлагаемое мной исследование вращается вокруг идеи демократии как правления посредством мнения. В частности, как я объясняю в первой главе, оно опирается на посылку, согласно которой представительная демократия является *диархической системой*, в которой «воля» (под которой я имею в виду право голосовать, а также процедуры и институты, которые регулируют формирование правомочных решений) и «мнение» (под которым я подразумеваю внеконституционную область политических мнений) влияют друг на друга и действуют совместно, не сливаясь при этом друг с другом¹. Общества, в ко-

1. Бернар Манен выразил эту идею через пространственную метафору разрыва между «высокой волей» и «низкой волей»: *Manin B. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 205.* Образ диархии, используемый мной, отражает ту же идею, однако он избегает отсылки к иерархическому порядку.

торых мы живем, являются демократическими не только потому, что в них есть свободные выборы и несколько политических партий, конкурирующих друг с другом, но и потому что они допускают эффективную политическую борьбу и столкновения различных соперничающих друг с другом мнений; они обещают, что выборы и форум мнений сделают институты местом легитимной власти, выступающей одновременно объектом контроля и проверки. Концептуальное описание представительной демократии в качестве диархии включает два тезиса: во-первых, воля и мнение — это две сферы власти суверенных граждан; во-вторых, они различны и должны оставаться обособленными, хотя и нуждаются в постоянной коммуникации. Основываясь на этой посылке, я предлагаю теоретико-критическое исследование трех наблюдаемых черт, которые в недавнее время проявились в современных демократических странах и стали предметом исследования политологов, исследований, призванных решить проблему неудовлетворительности результатов, порождаемых демократическими процедурами. К этим чертам относятся эпистемические и неполитические искажения делиберации, а также реакция популизма и плебисцита зрителей, выступающих против представительной демократии. Эпистемические воззрения, популизм и плебисцит зрителей, каковым бы ни были их различия, предполагают односторонний и выражающий презрение к диархической конфигурации демократии взгляд на форум мнения.

Конечно, неудовлетворенность демократией сама является частью истории демократии, в демократических обществах она постоянно воспроизводится, а право на свободу слова и свободу собраний, имеющееся у граждан, позволяет искренне и публично высказывать эту неудовлетворенность. Демосфен говорил, что Афины — это город, позволяющий своим гражданам ставить конституцию Спарты выше афинской, Николло Макиавелли возражал критикам народного правления, указывая на то, что «о нем всякий может злословить свобод-

но», а Александр Майклджон во время холодной войны заявил, что в США следует позволить критикам-коммунистам свободно высказываться, поскольку «бояться идей, любой идеи, — значит быть не готовым к самоуправлению»². Терпимость и свобода слова позволили афинской демократии развиваться вместе с ее «врагами», олигархами, и это доказало либеральный характер афинского общества, которое не отказывало ни своим противникам, ни иностранцам в свободе выражения, поэтому у Еврипида Федра желает, чтобы ее дети жили там «свободные и гордые»³. Что касается современных демократий, где свободы защищаются биллями о правах и писаными конституциями, на процесс их стабилизации в последние два с половиной века важное влияние оказывали противники демократии, которые временами даже приостанавливали его. Однако с завершением холодной войны эта форма правления смогла завоевать всемирное признание. Сегодня у демократии нет легитимного конкурента; трудно представить какой-то другой тип правления, который бы относился к гражданской и политической свободе с большим уважением.

Однако планетарное одиночество демократии не делает ее неуязвимой. Недавно теоретики политики стали

-
2. *Демосфен*. Против Лептина об ателии // Речи. В 3-х томах. М.: Памятники исторической мысли. 1994. Т. 1. С. 42; *Макьявелли Н.* Рассуждение о первой декаде Тита Ливия // Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М.: НФ «Пушкинская библиотека», АСТ, 2004. С. 258; *Meiklejohn A.* Free Speech and Its Relation to Self-Government // Political Freedom: The Constitutional Power of the People. New York: Harper, 1960. P. 27.
 3. Платон считал, что «в Афинах... принята самая широкая в Греции свобода речи». См.: *Платон*. Горгий, 461е. // Собр. соч.: В 4-х томах. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 494; *Еврипид*. Ипполит // Трагедии. М.: Художественная литература, 1969. Т. 1. С. 241; *Ober J.* Athenian Legacies: Essays on the Politics of Going on Together. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005, особенно P. 4, 99; *Wallace R. W.* The Power to Speak — and Not to Listen — in Ancient Athens // Free Speech in Classical Antiquity / I. Sluiter, R. M. Rosen (ed.). Leiden: Brill 2004. P. 221–225.

указывать на возникновение двух сопутствующих друг другу феноменов, выступающих поводом для беспокойства: с одной стороны, это приватизация и концентрация власти в сфере формирования политического мнения, а с другой — рост демагогических и поляризованных форм консенсуса, которые раскалывают политическую арену на узкопартийные, враждебные друг другу группы. И это не какие-то случайные характеристики, а признаки преобразования публичной сферы в массовых демократиях, вызванные столь разными явлениями, как упадок легитимности политических партий, выступающих инструментами представительства, и эскалация экономического неравенства. Оба феномена оказывают прямое воздействие на распределение «права голоса» и влияния в политике.

В середине XIX века Джон Стюарт Милль предположил, что газеты смогут воссоздать в больших обществах ту форму непосредственности и близости, которая была присуща общению в античных республиках, когда граждане собирались вместе на законодательном собрании, напрямую взаимодействуя друг с другом на агоре или форуме. По мысли Милля, современными средствами коммуникации будет построен нематериальный форум мнений, посредством которого общественно значимые вопросы будут выноситься на публичную арену, а политики и институты будут подчинены суждению публики, состоящей из писателей и читателей⁴. Плю-

4. *Mill J.S. Considerations on Representative Government // The Collected Works / J. M. Robson (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 1977. Vol. 19. P. 432.* В 1929 году Линдсей утверждал: «Благодаря широкому вещанию весь мир может в каком-то смысле стать публичным собранием... Задолго до изобретения радио нечто подобное делали профессиональные репортажи и дешевая пресса. Они превратили представительную ассамблею в платформу для публичного собрания. На ней люди, конечно, говорили и друг с другом, но все больше — с невидимой публикой, стоящей позади». См.: *Lindsay A. D. The Essentials of Democracy. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1930. P. 24.*

рализм средств информации в таком случае отражал бы плюрализм идей и интересов, и оба они в равной мере выступали бы важными ограничениями, мешающими развитию новой тиранической формы власти, складывающейся как раз из общественного мнения. Через сто лет после Милля Юрген Хабермас также заявил, что публичный форум существенен для демократии при условии, что он остается публичным, плюралистическим и независимым от всевозможных частных интересов. Еще в 1962 году Хабермас прозорливо описал аккламацию как стиль, который способен исказить публичную сферу в массовой демократии⁵.

Моим главным предметом выступает здесь «мнение», а не воля; я интересуюсь проблемами, которые возникают в границах области мнения, но при этом не обязательно принимают ту форму, которая бы заставила нас задавать базовый вопрос: «Как защитить свободу слова от власти государства?». Напротив, проблема в том, как публичный форум идей способен оставаться общественным благом и играть свою когнитивную, критическую и контрольную функцию, если информационная индустрия, сильнейшим образом влияющая на политику «во многих частях света принадлежит относительно небольшому числу частных лиц»⁶. На политической арене, где столь важным персонажем

5. *Habermas J.* The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / T. Burger (trans.). Cambridge, MA: MIT Press, 1991, особенно P. 211–222.

6. *Dunn J.* Democracy: A History. New York: Atlantic Monthly Press, 2005. P. 175; *Sartori G.* Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. 2nd ed. New York: New York University Press, 1997. P. 133. То же самое можно сказать о коммуникационных сетях в целом, которые «в основном принадлежат глобальным мультимедийным корпоративным сетям, управляющим ими», и хотя государства являются частями этих сетей, «сердце глобальной коммуникационной сети подключено к финансовым инвесторам и финансовым рынкам, в значительной степени определяясь ими». См.: *Castells M.* Communication Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 424.

оказывается «видеовласть», а «склонность к аккламации», как указывали некоторые исследователи, приобретает все большее влияние, раздел собственности в сфере массмедиа должен помочь предотвратить «эффект Берлускони»⁷, то есть плебисцитарное искажение, которое подтолкнуло меня к написанию этой книги⁸. Однако в других книгах высказывалась озабоченность тем, что распространение информации не может само по себе быть достаточным условием ограничения гомогенности. Интернет удивительно успешно распространяет информацию, но он же, как правило, сосредотачивает миллионы людей вокруг установок, которые, как замечает Касс Санстейн, основаны на подражании и стремлении к воспроизведению и радикализации старых форм лояльности, обусловленных предрассудком и предвзятостью⁹. Сетевое распространение информации склоняет граждан к воинственному сектантству, формированию гомогенных, автореферентных ниш одинаково настроенных активистов, причем даже в большей степени, чем концентрация средств информации [в руках немногих]. Снижение доли граждан, принимающих участие в выборах и фрагментация публики — два взаимосвязанных феномена, которые следует рассматривать в качестве указаний на метаморфозы представительной демократии или вызовы ее диархической структуре, брошенные изнутри. В этот современ-

7. *Baker C.E. Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters.* Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 18.

8. Тот факт, что г-н Сильвио Берлускони больше не является премьер-министром, не отменяет мои исходные соображения, поскольку раз он мог получить столь сильную позицию за счет форума, у представительной демократии есть проблема. Она заключается в том, как организуется, складывается и выражается мнение. Феномен Берлускони внутренне присущ диархической структуре демократии, являясь, как я доказываю в этой книге, ее «внутренним» вызовом.

9. *Sunstein C.R. Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge.* Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 5–19.

ный сценарий, который в той или иной степени относится ко всем сложившимся демократиям, я вписываю теоретический анализ трех форм искажения демократической политики, то есть эпистемической, популистской и плебисцитарной форм, которые выступают либо как реакция на тот факт, что демократия — это правление мнения, осуществляющееся посредством мнения, либо как его инструментальное использование.

В последние десятилетия популистские и плебисцитарные формы демократии в основном обнаруживались в развивающихся демократических государствах, например, в Латинской Америке или в постсоветской России. Но потом они возникли и в сложившихся, то есть западных демократиях. В некоторых европейских странах мы наблюдали за появлением различных форм плебисцитарной идентификации с публично известными лидерами, которые благодаря своей популярности и харизме словно бы получили прямой мандат от своей аудитории; и точно так же мы стали свидетелями некоторых популистских заявлений, нацеленных на представление всего народа в целом или истинного значения ценностей и истории нации. Для осмысления этой новой формы популистской политики *медиакратического* толка некоторые исследователи стали применять термин «видеократия»¹⁰. Другие скептически отнеслись к демократическому значению интернета и указали на «социальный каскад» и «групповую поляризацию» — два разных, но перекрывающихся процесса, которым, видимо, демократия не способна противостоять, не ограничивая свободу слова и коммуникации¹¹. Третьи, наконец, предположили, что демократия деполитизирует сама себя, снижая роль как законотворче-

10. Sartori G. Homo videns: Televisione e post-pensiero. Roma-Bari: Laterza, 1997.

11. Sunstein C. R. On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2009.

ства (парламентов и голосования), так и медиа, но увеличивая эпистемическое применение делиберативных процедур для подготовки или продвижения неполитических, менее предвзятых и более компетентных решений¹². Явления, критикуемые этими авторами, определяют весьма специфические, уникальные проблемы, если сравнивать их с прежними искажениями демократии, и они заставляют нас пересмотреть власть и роль форума. Задача демократических обществ состоит в разработке правовых и культурных стратегий, которые бы устранили угрозу демагогии в эпоху, когда «демагогия становится научной», не урезая при этом свободы и не уничтожая политическую природу делиберации, а также процедурную и представительную конфигурацию демократии¹³. В заключении я предлагаю некоторые общие соображения касательных этих стратегий, согласующиеся с диархической природой демократии.

Эпистемическая теория стремится привнести рациональность и знание в демократическую политику, чтобы изменить ее природу, основанную на мнении. Миф технического правления (то есть правления экспертов по финансам), набирающий сегодня силу в европейских странах, и пренебрежительное отношение к парламентской политике, им вызванное, — красноречивый пример этого эпистемического видоизменения. Как я объясняю во второй главе, распространение в последние годы эпистемических воззрений и практик свидетельствует о конфликтном отношении между «доксой» и «эпистемой». Защита истины от мнения приводит к односторонней интерпретации публичности как процесса просвещения, который должен очистить политику от идеологической конкуренции. Эпистемический поворот в публичной сфере, хотя он и преследу-

12. Эти взгляды я обсуждаю во второй главе.

13. *Ackerman B. The Decline and Fall of the American Republic. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. P. 26.*

ет благородную цель, желая одарить толпу мудростью, способен исказить характерный для демократии какофонический, «случайностный» облик, который существенен для пользования политической свободой. На противоположной стороне находится популизм, который представляет собой ту общеполитическую трансформацию форума мнений, которая принижает диархию демократии. Как я намереваюсь доказать в третьей главе, популизм способствует поляризации и опрощению общественных интересов и политических идей, а потому использует мир мнения и критической оценки в качестве всего лишь инструмента по достижению единства народа, внеположного его частям и их превосходящего. Наконец, плебисцитарная демократия наделяет публичную сферу преимущественно эстетической функцией, и хотя она не отвергает диархии демократии, она сводит роль форума к формированию авторитета лидера. Как я покажу в четвертой главе, визуальный характер медийной коммуникации и информации облегчает формирование феномена вуайеризма, при котором публичная демонстрация жизни лидера должна вызывать зрительское наслаждение, не предполагая при этом контроля или проверки. Существование «на глазах у народа»¹⁴ приводит к оказывающей глубокое воздействие на представительную демократию эстетической трансформации публичной сферы, поскольку она изменяет сами понятия гражданства и политического представительства.

Из того, что представительная демократия является правлением мнения, следует, что граждане участвуют в ней посредством голосования, зная и видя то, что делает правительство, и предлагая альтернативные программы действий. Публичный форум мнений означает, что государственная власть открыта для предложений и проверки, являясь действительно публичной — во-пер-

14. Это выражение я взяла из работы, которую буду подробно обсуждать в третьей главе: *Green J.E. The Eyes of the People: Democracy in the Age of Spectatorship. Oxford: Oxford University Press, 2010.*

вых, потому что закон требует ее отправления на глазах у народа (то есть в соответствии с нормами и при условии открытости судебным органам и прессе, которые могут ее проверить), а во-вторых, потому что она никому не принадлежит, ведь выборное назначение на посты означает то, что суверенная власть утратила свое специфическое месторасположение и воплощение, перестав быть чьим-то исключительным владением. Соответственно, я выделяю три роли доксы в публичном форуме современной демократии — когнитивную, политическую и эстетическую. По отношению к ним можно выявить формы искажения, хотя точнее было бы говорить о «радикализации», поскольку они состоят в преувеличении или подчеркивании одного качества диархического порядка в ущерб остальным. Именно так я предлагаю интерпретировать эпистемическую, популистскую и плебисцитарную разновидности искажений: все они являются возможными радикализациями той или иной из трех ролей форума мнений, возникающими внутри представительной демократии и помечающими ее внутренние пределы. Хотя эти изменения не стремятся к какой-либо смене режима, поскольку не ставят под вопрос «волю» или демократическую систему как таковую, они заметно меняют внешний облик демократии¹⁵.

Политические философы смотрят на представительную демократию с точки зрения демагогии как риска, заключенного в партийном политическом суждении. Они указывают на вызванное предвзятостью искажение политических вопросов, выталкиваемых на поверхность избирательной борьбой, и утверждают, что сниже-

15. Следуя традиции Хабермаса, Клаус Эдер предложил интересный анализ каждого из этих трех аспектов публичной сферы в своей статье «Трансформации публичной сферы и их влияние на демократизацию»: *Eder K. The Transformations of the Public // La democrazia di fronte alio Stato: Una discussione sulle difficoltà della politica moderna / A. Pizzorno (ed.). Milano: Feltrinelli, 2010. P. 247–279.*

ние роли демократических процедур, таких как голосование за представителей или на референдумах, могло бы освободить демократию от демагогии, неизбежно создаваемой политическими мнениями. Деполитизация демократии за счет расширения области беспристрастных решений, принимаемых судами, экспертными комиссиями, совещательными группами и неполитическими органами власти по таким ключевым вопросам, как национальный бюджет, — ответ, предлагаемый той концепцией, которую я буду называть «демократическим платонизмом», то есть философским снятием демократии, представляющим собой наиболее радикальный и настойчивый вызов, брошенный демократии, пусть даже во имя ее самой. Эпистемические и неполитические подходы, похоже, отождествляют демократию с популизмом, когда полагают, что на политические формы поиска согласия невозможно воздействовать беспристрастным знанием. Предсказуемый вывод из этого диагноза звучит так: для ограничения популизма потребовалось бы изменить облик демократии или освободить ее от «порока» политической партийности, неизбежно порождаемого избирательной борьбой и представительными институтами. Враг здесь — «докса». Однако усовершенствование политической природы демократии за счет ее превращения в процесс получения «верных результатов»¹⁶, а не просто тех, что обоснованы процедурами и конституцией, ведет к сужению, а не спасению демократии. Вполне законная озабоченность демагогией выливается в этом случае в решения, которые, найди они практическое воплощение, могли бы поставить под вопрос обоснованность демократической политики мнениями и, по сути, исказить демократию. Вот что я предлагаю называть демократическим платонизмом, представляющим собой вечный миф о царе-философе, ныне облачаемый в коллективные и эгалитар-

16. *Estlund D. Democratic Authority: A Philosophical Framework.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. Chap. 1.

ные одежды. Толпа, состоящая из людей, которые, стоит только предоставить им определенные данные и техники обсуждения, достигнут правильного результата, все же не обязательно будет демократическим собранием, даже если оно эгалитарно. Равенство в чем-то, пусть и важном (например, знании), не имеет никакого отношения к демократии или политическому равенству¹⁷.

На другом конце спектра находятся популизм и плебисцитаризм, которые предлагают не менее радикальную перелицовку, поскольку они рассматривают сферу общественного политического мнения в качестве территории, которую необходимо — при поддержке толпы зрителей — завоевать под руководством умелых лидеров и всеобъемлющих идеологий. В противоположность теории и практике представительной и конституционной демократии, в этих случаях мнение не является властью, которая нужна, чтобы оглашать гражданские требования, надзирать за институтами и разрабатывать альтернативные политические программы. Как мы увидим, популизм и плебисцитаризм — не тождественные феномены. Однако они сходятся в том, что бичуют институты-посредники, например политические партии и парламенты, а также продвигают персоналистские формы представительства, взывая к сильной исполнительной власти. И популизм, и плебисцитаризм превращают об-

17. К сторонникам эпистемического эгалитаризма я хотела бы обратиться с той критикой, которую Ганс Кельзен адресовал социалистическим эгалитаристам: «Запрос на всеобщую, а потому равную свободу требует всеобщего, а потому равного участия в управлении... Пока идея равенства означает нечто отличное от формального равенства в свободе (то есть в политическом участии), она не имеет никакого отношения к демократии. Проще всего это понять по тому, что всеобщего материального и экономического равенства, но не политического и формального, при авторитарно-диктаторской форме государства можно добиться столь же, если не более, успешно, чем при демократической форме государства». *Kelsen H. Vom Wesen und Wert der Demokratie* (1929), английский перевод: *Kelsen H. The Essence and Value of Democracy* / B. Graf (trans.). Rowman & Littlefield Publishers, 2013. P. 86.

щественное мнение в игру слов и образов, которая сводит политику к процессу вертикализации, но при этом они утверждают, что намерены вернуть политику народу, а народ — политике.

Во всех этих трех случаях на первый план выходит тот факт, что демократия основана на мнении. Эти интерпретации акцентируют три разных отношения к доксе, которые могут использоваться в качестве ориентира при интерпретации того, как именно они выстраивают демократию. Если платоническая или эпистемическая теория предлагает вывести доксу за пределы демократической политики и сделать из последней диархию воли и разума, то популизм пользуется доксой как активной стратегией гегемонического объединения народа, которое претендует на тождество с волей суверена; тогда как плебисцитаризм, хотя он признает диархическую систему и сохраняет отделение электорального момента от мнений, превращает доксу в название для сфабрикованных видеорежиссерами образов, на которые реагирует народ. Пусть по разным причинам и с разными целями, но все эти решения — эпистемическое, популистское и плебисцитарное — искажают демократию, вторгаясь в природу одной из двух ее властей, то есть форума мнений, видоизменяя ее роль и применение. Кроме того, все они предлагают существенно пересмотреть или даже упразднить процедурный характер демократии, от которого зависит ее диархический облик.

В конечном счете я бы сказала, что есть два взгляда на демократию, которые сталкиваются друг с другом в современной политической теории и практике: один поддерживает политический процедурализм, считая его лучшей *нормативной* защитой демократии и, по сути, истинным обликом представительной демократии, поскольку он позволяет соблюдать диархический характер такого типа правления; другой же видит в делиберативных процедурах и политическом оспаривании инструмент для более высокой цели — истины, конструирования народа-гегемона или же создания граждан-зрителей.

Эпистемическое, популистское и плебисцитарное мировоззрения, хотя они и различаются, представляют собой зеркальные отражения друг друга, сходящиеся в позиции, которая отрицает нормативный характер политических демократических процедур и той формы, которые они принимают в представительной демократии. Цель их критики заключается в перестройке демократической власти с ориентиром либо на процесс принятия решений, оцениваемый с точки зрения правильности производимого им результата, либо на однородный суверенный народ, чей голос довлеет над обычными правилами игры, либо, наконец, на «зрение», а не «голос», то есть на превращения публики в пассивную аудиторию, с неослабевающим любопытством взирающую на дела лидеров, но не стремящуюся принять в них участие. Три эти предложения по перестройке демократии соперничают с представительной демократией на территории представительства, поскольку оспаривают значение и функцию публики, которая и есть исконная область политического представительства.

В данной книге я разворачиваю эти интерпретации и утверждаю, что они намечаются всякий раз, когда мы истолковываем демократию в качестве правления посредством мнения, действующего за счет определенных процедур в рамках надежной системы прав и разделения государственных властей, то есть в рамках организации, которая должна распределять, контролировать и раздроблять, а не концентрировать или превозносить власть (а вместе с ней и мнение как форму власти). Эти рамки являются также посылкой, заставляющей меня признать нарушения и сбои в современной демократии, планетарный успех которой снижает ее защищенность от собственных проблем¹⁸. Все указанные

18. Убедительный анализ «сегодняшних сбоев и симптомов расстройства демократии» см. в: *Offe C. Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalized?* // *Sociologický časopis / Czech Sociological Review*. 2011. Vol. 47. P. 447–472.

типы искажения позволяют нам, пусть у них и не было такой цели, лучше распознать риски, угрожающие современной демократии. Более того, они заставляют нас осознать то, что, хотя демократические процедуры в конце XX века добились на практике полного признания, в теории демократии они были вытеснены на обочину, когда их посчитали функционалистским методом, лишенным нормативного значения. И то, что в то же самое время их атаковали сторонники эпистемических, популистских и плебисцитарных взглядов, говорит о невнимании к ним теории демократии, которая несет ответственность за их превращение в сферу, отданную на откуп реалистам, сомневающимся в их нормативном значении и природе. В заключении я, соответственно, предлагаю теории демократии заново утвердить нормативное значение демократического процедурализма как ответственного обещания соблюдать равные политические свободы граждан.

Облик, предъявляемый демократическим обществом миру и позволяющий, собственно, опознавать его в качестве демократического, — это, прежде всего, индивидуальное избирательное право, которое требует своего свободного, простого и необременительного осуществления, а также подсчета в соответствии с принципом большинства голосов, которым приписывается равный вес. Эти основополагающие характеристики согласуются с тем фактом, что все демократические решения могут быть изменены, поскольку они «не просто застывший результат» частных интересов граждан или «неполитических» аргументов, а выражение того политического образа действий, который присущ свободным и равным гражданам в публичном пространстве и который отождествляется с политическим обсуждением в его наиболее широком смысле¹⁹. Поли-

19. Rawls J. The Idea of Public Reason Revisited (1997) // *Collected Papers* / S. Freeman (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 579–580.

тические мнения наделяют смыслом тот факт, что демократические граждане свободны формировать и изменять свои взгляды, а также переставать поддерживать ранее принятые решения. Ценность и значение политического равенства и свободы покоятся на постоянстве этого процесса. За отправную точку мы должны взять мнение, если хотим ответить на угрозу демагогии и разобраться с дисфункциями сложившихся демократий. Следовательно, хотя философы настаивают на том, что мы должны истолковывать демократию в качестве доказательства того, что толпа (то есть неполитическое собрание), если она направляется правильными процедурами, способна достичь верных результатов, я, напротив, утверждаю, что деятелем демократии является не толпа, а граждане, которые существуют и действуют посредством процедур, предполагающих изменчивость их мнений, а не истину или добродетель. Говоря словами Джона Ролза, «политический либерализм полагает, что такое стремление к полной истине в политике несовместимо с демократическим гражданством и идеей легитимных законов»²⁰.

Свое рассуждение я развиваю через критический анализ основных современных возражений на политический демократический процедурализм, что позволяет выяснить, действительно ли они схватывают новые риски, возникающие в области формирования мнения. Философские попытки превратить демократию в процесс по достижению верных результатов обращаются к критике внутренне присущей демократии нехватки рациональности. Их диагноз предполагает ограничение демократической составляющей, даже если заявленное ими намерение состоит либо в создании процедур, которые бы позволяли большинству получать хорошие или правильные результаты, либо в доказательстве мудрости толпы. Ясно, что это новое плато-

20. Ibidem.

нистское возрождение не намерено противопоставить мудрость избранного меньшинства иррациональности большинства. Мы не должны пренебрегать тем, что сегодняшняя «эпистемическая демократия» коренится в традиции Просвещения, в движении, которое заставило философов мобилизовать разум на защиту коллектива как единственного легитимного политического суверена. Проблема демократического платонизма и идеи подобной нейтрализации ошибок, которая в то же время не представляла бы меньшинство единственным источником политической экспертизы, состоит в том, что благие намерения не являются достаточной гарантией соблюдения принципов демократии. Следует пересмотреть саму эпистемическую позицию и, по сути, отказаться от нее, поскольку «приверженность „истине“ в политике делает согласие избыточным»²¹.

Выступая против подобной эпистемической позиции, я попытаюсь возродить максиму Алексиса де Токвиля, утверждающую, что демократия хороша не своими результатами, которые в некоторых случаях не лучше тех, что удастся достичь недемократическим режимам. Ценность демократии опирается на то, что она позволяет гражданам менять свои решения и лидеров, не ставя под вопрос политический порядок. Это единственная политическая система, в которой ключевую роль играет согласование целей и средств. Демократия — это согласованность целей и средств, поскольку она является одновременно целью и процессом ее достижения. И она не допускает обходных путей именно потому, что не является всего лишь функциональным способом достижения некоей цели или какого-либо типа целей (пусть даже благих). Благо цели не оправдывают нарушения демократического процесса принятия решений. Из этого следует, что дуализм формального и содержательного является ложным, поскольку условия

21. Holmes S. *Passions & Constraint: On the Theory of Liberal Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 1995. P. 196.

корректной работы процедур и сами процедуры всегда должны осмысливаться вместе, если процесс принятия решений должен проходить демократически. Следовательно, эта система постоянного изменения предназначена не для достижения определенной истины, хотя граждане могут полагать, что именно в этом цель их политической деятельности, а кандидаты на выборах могут защищать свои программы, считая их самыми истинными или самыми лучшими. Скорее, она предназначена для принятия решений при участии всех граждан, тех, кто согласен, и тех, кто не согласен, причем результаты должны возникать из применения демократических процедур. Свобода участия и уверенность в том, что ни одно большинство никогда не станет окончательным, — вот те «блага», которые обеспечиваются демократическими процедурами. В этом смысле демократический процедурализм является нормативным, поскольку он удовлетворяет двум ключевым условиям — равной политической свободе и гражданскому миру (который предполагает, что граждане выражают несогласие в атмосфере «душевного спокойствия» и что они готовы повиноваться закону, даже когда не согласны с большинством, которое его поддержало).

На первый взгляд кажется, что популизм больше соответствует только что описанным мною характеристикам, поскольку он заявляет, что желает восстановить демократическую власть обычных граждан, отобрав ее у элит. «Ключевое понятие, составляющее ядро популистской идеологии, — это, несомненно, „народ“, за которым следует „демократия“, „суверенитет“ и „правление большинства“, причем каждое из этих понятий определяется через его связи с другими»²². Враг, против которого мобилизуется популистская идеология, — это правление, задаваемое электоральной циклично-

22. *Canovan M. Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy // Democracies and the Populist Challenge / Y. Meny, Y. Surel (eds). Oxford: Palgrave, 2002. P. 33.*

стью, поскольку выборами продвигаются партийные элиты, а не «воля народа». Конечно, популизм получил разные оценки в Европе, Латинской Америке и США, где язык популизма иногда отождествляется с верой в то, что «правление обычных людей» синонимично добродетели и отсутствию коррупции, как и с выражением более активного политического участия, способного ограничить власть элит, а потому сделать общество более, а не менее демократичным²³. Я признаю эту специфику разных контекстов, но все-таки считаю популизм искажением демократии. В случае популизма выступления против политического истеблишмента происходят ради превращения мнения части народа (пусть и подавляющего большинства) в источник легитимности, последствием чего может стать искоренение инакомыслия и угроза плюрализму. Подъем популизма ведет к формированию основанного на нетерпимости утверждения «мы, народ», противопоставляемого меньшинствам в пределах этого народа и, неизбежно, партийному плюрализму и самой политической конкуренции. Подлинной мишенью в таком случае оказывается конституционная представительная демократия.

Что касается системы, основанной на плебисците зрителей, ее искажающее воздействие еще более серьезно, поскольку хотя она и не ставит под вопрос диархическую структуру представительной демократии, зато оспаривает саму идею гражданства как выражения политической автономии. И если исторически политическую автономию можно было приспособить к косвенному участию посредством представительства (этого результата современная демократия добилась, поставив во главу угла всеобщее и равное избирательное право), демократию трудно примирить с таким взглядом на политику, который из состояния «подчиненности» и наблюдения за действиями лидеров делает норму или саму

23. *Kazin M. The Populist Persuasion: An American History. New York: Basic Books, 1995. P. 2.*

фигуру «Народа». Когда ротация и лотерея больше не являются демократическими процедурами, «остается намного меньше причин обесценивать или игнорировать фигуру гражданина-как-подчиненного»²⁴. Плебисцитарная демократия как демократия образов превращает данность в норму; она соглашается с подчинением граждан правящей креативности лидеров и медиаэкспертов, когда настаивает на том, что главная деятельность граждан должна быть визуальной и пассивной, а не ориентированной на обсуждение и участие. Можно считать, что такой взгляд на демократию доказывает от противного то, что защита диархии демократии проходит сегодня через освобождение процедурализма от пут шумпетерианства²⁵.

Проблемы, с которыми может столкнуться конституционная и представительная демократия, весьма значительны, и публичная сфера формирования мнений — вот область, на которую мы должны обратить внимание, чтобы увидеть их. И это главная задача данной книги, в основе которой лежит попытка дать ответ на два взаимосвязанных вопроса: какова природа сегодняшних дисфункций либеральной демократии и неудовлетворенности ею и какие из ее внутренних ресурсов могут сдерживать абсолютную власть мнения, не превращая политику в подраздел знания, а народ — в толпу активистов-последователей или же в пассивную аудиторию? Представительная демократия защищает сложность публичной сферы мнений и одновременно пользуется ею — ее критической и когнитивной функцией, ее политическим стилем и духом, ее склонностью выставлять власть напоказ, делая ее тем самым публичной. Однако ни одной из этих функций самой по себе недостаточно; в действительности, каждая из них по отдельности способна

24. *Green. Eyes of the People.* P. 38.

25. *Mackie G. Schumpeter's Leadership Democracy // Political Theory.* 2009. Vol. 37. P. 128–153.

скомпрометировать диархическую конфигурацию демократии.

На протяжении своей долгой и славной истории демократия не раз доказывала свою удивительную изобретательность, разрабатывая институты и процедуры, которые могут решать проблемы, выдвигаемые демократическим политическим процессом принятия решений. Достаточно упомянуть несколько хорошо известных примеров: Афины справились с «тиранией собрания», регулируя процесс предложения и обнародования законов посредством некоторых сложных процедур, известных как *graphe paranomon* (жалоба на противозаконие); в XVIII веке американские колонии создали конституционные соглашения, чтобы установить для себя политический порядок, основанный на согласии и одобрении представителей, достигаемыми голосованием; в XIX веке европейские либеральные государства усовершенствовали представительное правление так, чтобы оно могло вобрать в себя демократическое преобразование суверенитета в крупных территориальных государствах; после разгула тоталитарных и диктаторских режимов, основанных на консенсусе, конституционные демократии после Второй мировой войны смогли ограничить власть выборных представителей большинства за счет разделения властей, верховенства закона и партийного плюрализма, то есть за счет применения комплексной стратегии институциональных инноваций, имевших как юридический, так и политический характер. Короче говоря, демократия пережила трудные времена и обстоятельства благодаря своему удивительно плодотворному воображению и способности к инновациям в сфере институтов и норм.

Сегодня гегемония *homo videns* (человека смотрящего) и радикализация демагогических мнений представляются симптомами дисфункции, которая распространяется телевидением и новой, более изощренной информационной технологией. Конечно, информационно-коммуникационные технологии дают обычным

гражданам удивительные возможности, позволяющие получать больше знаний и больше участвовать в общественной жизни (один из современных мифов провозглашает существование виртуальной республики и интернет-агоры, подходящих для новых типов социальной драмы и критики)²⁶. Однако нет добра без зла, и именно на это противоречие теория демократии должна обратить внимание. Сегодня опасности для демократии возникают в сложном мире формирования мнений, в универсуме средств, в которых заключена косвенная власть идей, создаваемых и воспроизводящихся свободой слова, свободой прессы и свободой собраний. Эти опасности, как мы уже говорили, возникают в форме плебисцитарной идентификации масс с публичным лидером и в форме популистских претензий на представление всего народа в качестве однородного единства ценностей и истории. Эти акты утверждения народного суверенитета, выглядящие весьма самоуверенно, в действительности являются тревожным феноменом политической пассивности и покорности граждан, меняющих физиогномику демократии.

Согласно плебисцитарной теории, пассивность большинства является фатальным следствием всех форм демократии, как прямой, так и представительной, поскольку демократия — это политическая система, которая на структурном уровне состоит из активного меньшинства и восприимчивого большинства, которое научается «повиноваться и соглашаться с благими намерениями ответственных лиц»²⁷. Демократия становится апатичной не из-за выборов как таковых (собрания в античных демократиях управлялись немногочисленными риториками, а граждане в них часто не участвовали). Апатия или массовая пассивность свойственна этому

26. Ср.: *Taylor P.A.* From Hackers to Hacktivists: Speed Bumps on the Global Superhighway? // *New Media & Society*. 2005. Vol. 7. P. 640.

27. *Green.* Eyes of the People. P. 36.

режиму, выступая внутренне присущим ему качеством, поскольку, как утверждает железный закон олигархии, политика — это искусство меньшинства, а не большинства. Однако привычка людей к «подчиненности» доходит до крайности вместе с представительной демократией, поскольку в этой системе голос полностью вытесняется зрением и слухом, которые являются основными «пассивными органами чувств» и единственным способом выражения присутствия граждан в непрямой политике. Современные граждане — это аудитория, а представительная демократия — это демократия зрителей²⁸. С точки зрения современных сторонников плебисцита, эта траектория говорит о достижении демократией совершенного состояния. Однако было бы странно утверждать, что эпоха Сильвио Берлускони соответствует полной реализации внутренней природы демократии, если только не считать последнюю тождественной зрительскому скудоумию большинства, замороженного зрелищем, разыгрываемым меньшинством. Прикрываясь обещанием объективного реализма и бесстрастного понимания, плебисцитарная теория демократии предлагает нам перевернутую логику, в которой то, что происходит, становится рациональным уже в силу того, что оно свершилось.

Этот взгляд, опирающийся на авторитетный корпус текстов по социологии и политической теории, ориентированных на работы Роберта Михельса, Вильфредо Парето, Макса Вебера и Карла Шмитта, указывает на то, что аккламацию и массовую демократию мы должны считать и описанием, и нормой. Это предумышленный вывод из определения парламентской или представительной демократии как выборной олигархии или смеси двух предзаданных и раздельных групп — активного меньшинства и пассивного большинства. За этим мнением, согласно которому демократия должна пред-

28. *Manin. Principles of Representative Government. P. 218–228.*

ставляться грандиозной системой обмана, запускаемого доксой, мы можем расслышать отзвуки платоновского сарказма, обращенного на любителя демоса. С Платона и до наших времен этот взгляд никогда не терял привлекательности для философов, и периодически он возрождается с новыми аргументами, пытаясь оправдать себя плохой работой современных демократий и находя поддержку в коммуникационных и технологических новшествах. Такая реалистская трактовка выдает традиционное, но ничуть не ослабевшее отвращение мудрого меньшинства к правлению, которое смиренно, но неизменно опирается на мнение, то есть на подсчет голосов и правление большинства. Такая опора на правление большинства не предполагает достижения верных результатов, но зато отражает уверенность в том, что это единственный политический порядок, который уважает свободу не некоторых или лучших, а всех, и не потому, что у них есть какой-то особый потенциал, а просто потому что они существуют. В диархии «голосов» и «мнения» главное, следовательно, ценить демократию в качестве правления, которое основано на принципе равных свобод.

Мнение — это форма действия и форма власти, ядром которой является голос, а не зрение. Именно слишком активное меньшинство стремится быть на виду, желая сделать доксу вопросом исключительно зрения. Меньшинство желало бы превратить народ в гигантский глаз, лишенный голоса. Однако голос вместе со слухом, но не отдельно голос или слух, — вот два фундаментальных чувства и две способности, которые используются гражданами, когда они формируют свои взгляды, слушают других, меняют или выражают свои мнения и пытаются посредством этих мнений обрести политическое присутствие, наблюдая за wybranными ими политиками и вынося о них суждение. Невидимость граждан и их молчание не являются, следовательно, спонтанным или природным качеством демократии, они сфабрикованы и сконструированы распорядителя-

ми средств информации и коммуникации, они выступают целью политического класса, желающего существовать вне опасности проверок и перемен.

Следовательно, правильно будет сказать, что представительная демократия заключается в постоянной борьбе представительства, в обнародовании (*making public*), в публичных дебатах, темы которых граждане считают главными для своей жизни и своих интересов, а потому временами превращают их (когда голосуют) в правомочные решения. Вот что делает доксу властью, определяющей для демократии. В результате докса становится формой действия, которая отличается от воли или условий и процедур, организующих голосование и решения, но при этом остается связанной с ними. И именно по этой причине мнение становится постоянным объектом желания (или поношения) со стороны меньшинства, жаждущего быть окруженным народом, который готов лишь подчиняться и выступать объектом попечения, народом, который не выражает несогласия и в идеале вообще не считает мнение властью.

Диархия демократии

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ демократии с «силой чисел» традиционно привлекало скептиков и разоблачителей демократии. Высмеив идею, будто вопросы правления можно решать как чисто количественные задачи, Вильфредо Парето писал: «Нам больше не нужно возиться с вымыслом о „народном представительстве“ — от него нет никакого толка. Давайте пойдем дальше и рассмотрим, какая субстанция поддерживает различные формы власти правящих классов... Различия заключаются, в основном... в соотношении силы и согласия»¹. С точки зрения Парето, число было попросту хитрым средством, позволяющим использовать силу, заручившись согласием, а демократия — это наиболее эффективный способ достичь той цели, к которой тщетно стремились все тираны, поскольку численный перевес был не на их стороне. Он, однако, не пояснил, почему же тиранам не удалось достичь численного перевеса, а потому его взгляд на демократию оказался, как и можно было предположить, ограниченным, не свободным от предрассудков и попросту ложным: числа работают

1. *Pareto V. The Mind and Society* // 4 vols. / A. Bongiorno, A. Livingston (trans.). New York: Harcourt, 1935. Vol. 4, § 2244. В позиции Парето воспроизводился взгляд Давида Юма, который утверждал, что «правление основывается только на мнении; и этот закон действует как для наиболее деспотических и военных правлений, так и для наиболее свободных и народных». См.: *Hume D. Of the First Principles of Government* // *Political Essays* / K. Haakonssen (ed.). Cambridge: Cambridge University Press 1994. P. 16.

потому, что в формировании согласия свою роль играет свобода. Чтобы у лидеров был численный перевес, у граждан должна быть свобода. Но какова же функция голосования?

Пересматривая логику рассуждений Парето, но не отказываясь при этом от его скептицизма по отношению к демократии, Джованни Сартори несколько лет назад заявил, что в демократии значимо именно голосование, хотя оно не может гарантировать качества решений, поскольку граждане, когда голосуют, не учатся тому, как голосовать. Открытая область обсуждений, какой бы богатой и развитой она ни была, не отменяет произвольности голосования, не повышает компетентности граждан или правильности их решений². Демократия опирается на голосование, а также, если пользоваться классической формулировкой судьи Бреннана, «свободное, здоровое и широкое»³ публичное обсуждение не потому, что ей нужно достичь неких желательных результатов. Скорее, оно нужно для того, чтобы граждане могли пользоваться своей свободой и чтобы она была защищена. Оправдание политических прав с точки зрения их последствий — опасный путь, ведущий к обесцениванию демократии. У нас есть избирательное право не потому, что оно позволяет нам получать хорошие или правильные результаты (хотя мы и можем идти к избирательной урне с подобным желанием), а потому, что оно дает нам возможность

2. Как объяснил Сартори, «информация — это не знание», и хотя знание требует информации, «из определения не следует, что информированный человек является также и знающим». Это означает две вещи: во-первых, столкновение мнений людей с информацией не обязательно приводит к их улучшению или даже изменению; во-вторых, независимо от того, сколько раз мы голосуем, мы не учимся тому, как голосовать (или как голосовать более «компетентно» и «рационально»). *Sartori G. The Theory of Democracy Revisited: Part One: The Contemporary Debate.* Chatman, NJ: Chatman House, 1987. P. 117–118.

3. *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 270 (1964).

осуществлять нашу политическую свободу и оставаться свободными и в том случае, когда мы подчиняемся, даже если результаты, которые приносят наши голоса, не столь хороши, как представлялось нам раньше или как бы нам хотелось. По этой причине Первая поправка «не признает такой сущности, как „ложная идея“» и «не может поддерживать или даже допускать дисциплинарные практики, необходимые для производства экспертного знания»⁴. Как я буду доказывать в этой главе и во всей книге, сила процедурной интерпретации демократии (то есть ее нормативная сила) покоится на этом простейшем утверждении, которое столь же старо, как и сама демократия.

Прежде чем перейти к центральной теме этой главы, то есть к характеристикам публичного форума (иначе говоря, к значениям, условиям и качеству доксы), в трех следующих разделах я постараюсь развернуть три взаимосвязанных аргумента, утверждающих, что признание роли мнения в процессе принятия решений является неотъемлемой составной частью процедурной демократии; что представительная демократия имеет диархическую структуру; наконец, что роль политического форума является основополагающей, а не вспомогательной. Это предварительное прояснение приведет к тому, что я должна буду поставить доксу в центр демократического процесса, продемонстрировав различные аспекты, приобретаемые ею, когда она становится частью демократического суверенитета в представительном правлении. Наконец, эта тема выведет меня к центральному политическому тезису этой главы, гласящему, что диархическая и одновременно процедурная позиция, определяющая облик представительной демократии, включает в себя нормативные аргументы,

4. *Post R. C. Democracy, Expertise, Academic Freedom: A First Amendment Jurisprudence for the Modern State*. New Haven: Yale University Press, 2012. P. 9 (цитируется дело «Hustler Magazine, Inc. v. Falwell»).

позволяющие нам сделать из форума мнений публичное благо, и одновременно вопрос политической свободы.

Значение и поддержание демократических процедур

Демократические процедуры не гарантируют улучшения способностей граждан принимать решения, как не обещают они и того, что приведут их к результатам, которые будут правильны с точки зрения определенного критерия, который превосходит сами эти процедуры. Как мне, возможно, удастся объяснить в следующей главе, они гарантируют лишь то, что граждане будут принимать решения таким образом, что те всегда будут открыты для пересмотра. Свободный и открытый форум сам по себе является признаком свободы и самодостаточным благом: во-первых, потому что возможность критики и контроля режима растет в той мере, в какой мнения граждан не ограничиваются их собственным сознанием и не считаются [исключительно] частным мнением⁵; во-вторых, потому что он согласуется с характером демократии как политической системы, которая основана на рассредоточении власти и которая осуществляет это рассредоточение; и в-третьих, потому что он определяет возможность формулировки множества политических мнений, соотносясь с которыми граждане делают свой выбор. «Принцип де-

5. «Частное мнение может совершенно определенно порицать режим, политический курс или институт, но при этом не порождать общественного призыва к изменениям. Коммунистические режимы Восточной Европы существовали десятилетиями, хотя почти все их презирали. Они сохраняли за собой власть, пока общественное мнение в целом поддерживало их, и рухнули в одночасье, когда уличные толпы набрались смелости бросить им вызов». *Kuran T. Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preferences Falsification. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. 57.*

мократического распределения — это самодостаточная цель, а не средство, которое должно эмпирически привести к некоему желательному результату», и это верно как для функции принятия решений (голосования), так и для функции их формирования и критики⁶. Следовательно, хотя власть избирателей — это, несомненно, основное условие представительной демократии, «надежная гарантия обеспечивается условиями, в которых гражданин получает информацию и испытывает воздействие со стороны лиц, формирующих общественное мнение... Если так, выборы — это средство достижения определенной цели, поскольку целью является правление мнения, то есть правление, отвечающее общественному мнению и ответственное перед ним»⁷. Это главная идея, которой я буду руководствоваться.

Процедурализм в его стандартном определении достался нам в том виде, который ему придал автор, сделавший его известным, то есть в версии Йозефа А. Шумпетера, который не любил демократию и концептуально развил это понятие именно для того, чтобы сгладить демократическую составляющую (политическое равенство) и, прежде всего, отделить участие избирателей от достижения цели, которая выходит за пределы сложения индивидуальных интересов и претендует, напротив, на осуществление всеобщего интереса или на стремление к нему. Разведение процедурной демократии и шумпетерского процедурализма стало проектом нескольких поколений исследователей — в частности, если вспомнить наиболее известных из них, Ганса Кельзена, Роберта Даля и Норберто Боббио. Джерри Мэки недавно предложил следующую

6. *Baker. Media Concentration and Democracy*. P. 8. Политолог Ларри Даймонд формулирует близкие взгляды в своей работе «Дух демократии»: *Diamond L. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Henry Holt and Co., 2008. P. 24.

7. *Sartori. Theory of Democracy Revisited*. P. 86–87.

формулировку демократического процедурализма, она вносит некоторые поправки в определение Шумпетера: «В настоящей демократии избиратели обычно контролируют парламенты, а парламенты обычно контролируют руководителей — за счет проспективного голосования, публичного мнения между выборами и, наконец, ретроспективного голосования на регулярно проходящих выборах»⁸. В целом процедурная демократия означает не только подсчет голосов или институциональную правильность, но также использование свободы речи вместе со свободой прессы и собраний для того, чтобы неформальная, внеинституциональная сфера стала важным компонентом политической свободы. Демократия — это сочетание решений и суждений о решениях: разработка предложений и принятие решений по ним (или по тем, кто будет их принимать) в соответствии с правилом большинства. Демократия по своему характеру является диархической, а по природе — процедурной. Таков ее облик.

Если сделать еще один шаг, можно сказать, что демократический процедурализм служит равной политической свободе, поскольку предполагает и утверждает равное право и равные возможности граждан принимать участие в формировании взгляда большинства своими индивидуальными голосами и мнениями; именно он характеризует демократию как форму правления, при которой граждане подчиняются законам, в создание которых они прямо или косвенно вносят вклад. Демократия предоставляет всем гражданам правовые и политические условия, благодаря которым они способны, если на то будет их решение, принимать в политике участие, понимаемое в широком и сложном смысле, то есть за счет формирования, критики, оспаривания и изменения коллективных решений в обстановке «душевного спокойствия», если использовать удачное выражение

8. Mackie. Schumpeter's Leadership Democracy. P. 129.

Монтескье⁹. Нормативное значение демократических процедур заключается в том, что они создают возможность для включения граждан в политический процесс и для контроля этого процесса их силами. Голосование и форум идей — это взаимосвязанные силы и существенные условия демократической свободы. Они являются принципиальными факторами, а потому не нуждаются в эмпирическом подтверждении: равное избирательное право существенно, даже если мы не учимся голосовать, когда голосуем, а наши равные возможности принимать участие в широком и здравом общественном форуме существенны, даже если это не гарантирует того, что мы придем к хорошим, рациональным или верным решениям и что увеличение информации отразится в приросте знаний. В следующей главе я использую процедурную интерпретацию демократии в этой конкретной трактовке, чтобы выдвинуть ряд аргументов против эпистемической теории демократии, указав на то, что именно процедуры (*правила игры*), а не содержание или результаты, являются первичными благами, определяющими нормативный характер процедурной концепции демократии. Нормативная ценность демократии заключена в присущей ее процессам несравненной способности защищать и развивать равную политическую свободу. «Свобода и равенство — две ценности, лежащие в основе демократии... общества, которое регулируется так, что составляющие его индивиды более свободны и более равны, чем при любой иной форме существования»¹⁰.

Равная политическая свобода предполагает не только равное распределение базовых политических полномочий в принятии решений, но также и участие в политике посредством свободного выражения собственных

9. Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 138.

10. Bobbio N. Eguaglianza e libertà. Turin: Einaudi, 1995. P. XII (Перевод мой. — Н.У.).

мнений, которое должно осуществляться в условиях равных возможностей; защита гражданских, политических и базовых социальных прав имеет определяющее значение для осмысленного равного участия¹¹. Демократия обещает, прежде всего, свободу и использует правовое и политическое равенство для защиты и исполнения этого обещания. Так было со времен ее изобретения в античности, и то же остается верным и сегодня, хотя достаточно сильная либеральная традиция, возникшая в антиякобинском контексте, развивала мысль, что демократия движима страстью к равенству, а не любовью к свободе, и что равенство враждебно свободе. Однако в Афинах демократия началась с *isonomia* или «равенства посредством закона», а также с *isēgoria* и *parrhēsia* или равного права на высказывание и голосование на собрании, на свободное и откровенное высказывание¹². Равенство, поддерживаемое законом, означает как раз политическое равенство — равные и защищенные законом возможности всех граждан отпра-

11. Чарльз Бейц много лет назад поставил важный вопрос о том, должны ли мы продолжать пользоваться этим выражением («политическое равенство») или нужно отказаться от него, поскольку «в нем моменты институционального устройства смешаны с более глубокими вопросами их оправдания» при актуальном распределении. Таким образом, Бейц предлагал интерпретировать это равенство как честность или же как постулат о равном отношении граждан при распределении их базовой политической власти, то есть как равенство не результата, а условия и возможности. Я считаю, что это разумный аргумент, согласующийся с процедурной интерпретацией политического равенства. *Beitz C. R. Political Equality: An Essay in Democratic Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989. P. 18.*

12. «Этому [правлению царя] противоположно правление народа: во-первых, оно описывается прекраснейшим из имен — как равенство перед законом; во-вторых, народ здесь во власти». См.: *Herodotus. 4 vols. / A. D. Godley (trans.). Loeb Classical Library. London: Heinemann, 1928–1930. Bk. 3. P. 80; Finley M. I. The Freedom of the Citizens in the Greek World // Economy and Society in Ancient Greece / B. D. Shaw, R. P. Sailer (eds). University of California: Chatto and Windus, 1981. P. 77–84.*

лять свою власть посредством участия в процессе принятия решений. Таким образом, Афины понимались в качестве *politeia en logois* (полиса, основанного на речи), а его граждане определялись как *hoi boulomenoi* («любой, кто желает так сделать», то есть обратиться к собранию)¹³. Электоральная трансформация современной демократии не изменила этот принцип.

Откровенная и свободная речь является условием участия потому, что демократия обещает социальную стабильность и мир, достигаемые за счет всеобщего (прямого или косвенного) участия в законотворчестве. Следовательно, свобода вместе с миром — это цели равного распределения политической власти, дающей возможности принимать правомочные решения, и на таком распределении покоится демократический процесс принятия решения. Именно этим определяется отличие демократического процедурализма и от гоббсовского минималистского определения, которым подчеркивается одна цель — мир, но не принимается во внимание вторая цель, то есть свобода¹⁴, и от эпистемической интерпретации, которая постулирует благо в качестве чего-то трансцендентного самому процессу, например сохранения результата, и порицает то, что «стремление опираться исключительно на процедурализм» в некоторой степени обесценивает демократическую власть¹⁵.

13. Greenwood E. Making Words Count: Freedom of Speech and Narrative in Thucydides // Free Speech in Classical Antiquity / I. Sluiter, R. M. Rosen (eds). Leiden: Brill, 2004. P. 175–176; Ober J. The Original Meaning of 'Democracy': Capacity to Do Things, not Majority Rule // Constellations. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 3.

14. См.: Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Row, 1942; Przeworski A. Minimalist Conception of Democracy: A Defense // Democracy's Value / I. Shapiro, C. Hacker-Cordon (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 23–55.

15. «Не сам процедурализм является проблемой, а попытка опираться только на него. Демократическую власть и легитимность невозможно понять, не опираясь в той или иной мере на идею ретроспективной ценности», то есть не учитывая того, что процеду-

Как будет показано в этой главе, процедурная интерпретация демократии, если она проводится с должной последовательностью, требует немалых усилий, хотя и по причинам, которые связаны с ее исполнением, а не с достижением определенных результатов. К числу этих непростых условий относится и открытый форум формирования мнения. Этот аргумент в 1945 году блестяще сформулировал Ганс Кельзен: «Демократия без общественного мнения является противоречием в определении. Поскольку общественное мнение может возникнуть только там, где гарантированы интеллектуальная свобода, свободы слова, прессы и религии, демократия совпадает с политическим, хотя и не обязательно экономическим, либерализмом»¹⁶.

Пример древних Афин показывает, что демократия связана с возможностью заседать в собрании на равных со всеми остальными, каковое равенство должно быть закреплено законом, и одновременно высказывать свои мнения на публике¹⁷. Тем самым ясно, что процедуры отличны от результата, так что наличие равных воз-

рализм — это «тенденция принимать решения, которые лучше или справедливее по стандартам, независимым от реальной преходящей процедуры, которая произвела эти решения». См.: *Estlund. Democratic Authority*. P. 97. На это процедуралист ответил бы так: «Именно голосование дает право на принуждение, а не обоснование, стоящее за голосованием». *Przeworski. Minimalist Conception of Democracy*. P. 48.

16. *Kelsen H. General Theory of Law and State (1945) / A. Wedberg (trans.). Union, NJ: Lawbook Exchange, 1999. P. 287–288.*

17. «...наиболее ценным качеством для афинских демократов представлялась *isegoria*, а не *isonomia*. И если *isonomia* предполагает как естественное равенство, так и равенство возможностей, *isegoria* относится именно к равенству возможностей. Ни один афинянин не думал, что каждый из 6000 граждан, которые посещали собрание, стал бы обращаться к своим согражданам. *Isegoria* была не для каждого, а для любого, кто стремился осуществить свое политическое право. У каждого гражданина должна быть равная возможность продемонстрировать свое превосходство, но он заслуживал вознаграждения лишь в соответствии со своими действительными достижениями». См.:

возможностей участия и благоприятной среды само по себе представляет собой благо, поскольку такие возможности позволяют каждому гражданину внести свой ценный вклад¹⁸. Хорошие результаты в том случае, когда и если они достигаются, являются наградой за внимание к процедурам, но не тем, что определяет их нормативное значение. Действительно, афиняне обладали своим политическим правом высказываться на собрании и ценили его, даже если применяли его редко, далеко не все и не всегда во благо. Демократическая политика напоминала соревнование атлетов, в котором все должны начинать с одной отметки, а потому подразумевалось, что условия, позволяющие гражданам начинать с равных позиций, являются существенными для того, чтобы такой политический порядок признавался демократическим¹⁹.

Что касается наших современных обществ, они являются демократическими по нескольким причинам: в них есть свободные выборы и возможность существования более одной конкурентной политической партии; они допускают эффективную политическую борьбу и столкновения различных взглядов, соперничающих друг с другом; наконец, благодаря выборам избранные становятся объектом контроля и проверок²⁰. Соответ-

Hansen M. H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes / J. A. Crook (trans.). Oxford: Blackwell, 1993. P. 83–84.

18. «С этой точки зрения Первая поправка означает то, что Мишель Фуко называл „парсиастическим договором“, по которому суверенный народ получает истину, которая нужна ему для самоуправления, взамен на обещание не наказывать ораторов, которые высказывают эту истину, какой бы она ни была». *Werhan K. The Classical Athenian Ancestry of American Freedom of Speech // The Supreme Court Review. 2008. No. 1. P. 16.*

19. *Hansen. Athenian Democracy. P. 84.*

20. Превосходное объяснение и критическое обсуждение значения и следствий политической концепции процедурализма можно найти в работе: *Ottoneili V. I principi procedurali della democrazia. Bologna: Il Mulino, 2012. См. особенно гл. 6 «Равное уважение и политическая субъектность».*

ственно, Бернар Манен связал тот факт, что представительное правление обосновано мнением, с его эгалитарной предпосылкой, поскольку из его процедур следует то, что расхождение между мнениями должно устраняться не «за счет вмешательства одной воли, превосходящей другую», а благодаря решению большинства, которое доступно для пересмотра²¹. Норберто Боббио, рассуждавший в похожем стиле, несколько лет назад пришел к выводу, что «демократия носит подрывной характер. Она выполняет подрывную работу в наиболее радикальном смысле этого слова, поскольку везде, где она распространяется, она подрывает традиционное представление о власти, настолько традиционное, что оно считается естественным, представление, будто власть — политическая, экономическая, отцовская или священная — спускается сверху вниз»²².

Очевидно, институты и процедуры могут быть искажены; в демократическом обществе искажения возникают в результате нарушения принципа равенства или роста неравенства в условиях, которые определяют справедливое пользование этими институтами и правилами. «Вряд ли можно серьезно относиться к своему статусу равного гражданина, если, к примеру, в силу недостатка ресурсов нет возможности действительно излагать свои взгляды на публичном форуме»²³. Для правильного функционирования процедур требуется, чтобы совокупная политическая система принимала во внимание не только свои формальные условия, но также и то, как граждане воспринимают ее эффективность и ценность. Внимание к демократическим процедурам требует постоянной работы по их поддержанию. Критерий, определяющий поддержание правильного

21. *Manin*. Principles of Representative Government. P. 188–190.

22. *Bobbio N.* Which Socialism? Marxism, Socialism and Democracy / R. Griffin (trans.). Cambridge: Polity Press, 1987. P. 74.

23. *Beitz*. Political Equality. P. 192.

функционирования процедур, должен согласовываться с процедурной интерпретацией демократии: он должен блокировать перевод социально-экономических видов неравенства в политическую власть²⁴. Как мы увидим далее, эта задача весьма сложна, поскольку обособление политической системы должно быть выполнено без разрыва той коммуникации между обществом и институтами, которая является одной из важнейших черт представительного правления, как раз и определяющей его диархический характер.

Что такое демократическая диархия?

Диархия воли и мнения относится, в частности, к представительной демократии, системе, в которой собрание выборных представителей, а не сами граждане, наделяется обычной функцией законотворчества. Парламент, являющийся ключевым институтом выборной демократии, предполагает и поддерживает постоянное отношение с гражданами — как частными лицами, так и политическими группами или движениями, а мнения — это средство, благодаря которому это отношение развивается. Теоретическое представление современной демократии как диархии приводит к двум тезисам: во-первых, «воля» и «мнение» — это две власти де-

24. Афины как подлинная демократия — это оселок для процедурной интерпретации демократии. Демократии, родившейся в качестве компромисса между недавно наделенными властью «обычными людьми» и уже имевшими власть богачами («мощный щит, которым защищены обе стороны»), понадобилось несколько революций, чтобы стать правлением большинства (бедного или «обычного»). Демократия означала, что бедность не является ни тем, чего люди должны стыдиться, ни причиной политического и гражданского бесправия. См. фрагменты Солона в: Early Greek Political Thought: From Homer to the Sophists / M. Gagarin. P. Woodruff (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 26, а также «Надгробную речь» Перикла у Фукидида: *Фукидид. История*. Л.: Наука, 1981. С. 79–84.

мократического суверена, а во-вторых, они отличаются друг от друга и должны оставаться отличными, хотя им и нужна постоянная коммуникация. Используемая мной терминология является переложением языка суверенитета, который в его современной кодификации описывал власть государства как «волю», позволяющую принимать правомочные решения, в равной мере обязывающие всех подданных. С точки зрения Жана Бодена, Томаса Гоббса, Жана-Жака Руссо и теоретиков конституционного правления XIX и начала XX веков, «воля» означает *процедуры, правила и институты*, то есть нормализованную систему публичного поведения, которая порождает и исполняет закон.

Однако классическая теория суверенитета, которая была создана до того, как началось развитие представительной демократии, не рассматривала суждение или мнение подданных в качестве функции суверена²⁵. Тогда как демократия, особенно если она осуществляется посредством выборов, не может игнорировать то, что граждане думают или говорят, когда действуют в качестве политических акторов, а не избирателей. Следовательно, в представительной демократии суверен — это не просто уполномоченная воля, заключенная в гражданском праве и осуществляемая государственными должностными лицами и институтами, но, по сути, двойственная сущность, в которой одним компонентом является решение, а другим — мнение тех, кто подчиняется и лишь косвенно участвует в правлении. Мнение

25. Жан Боден и Роберт Филмер строго разделяли законодательный акт и обсуждение, которое ему предшествовало; первый состоял исключительно в суверенном акте обнародования закона; второе проводилось «советниками», чье мнение или суждение король мог выслушать или проигнорировать. См.: Bodin J. On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth / J. Franklin (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 23; Filmer R. Patriarcha // Patriarcha and Other Essays / J. P. Sommerville (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 47.

причастно суверенитету, хотя у него *нет* никакой правомочной власти; его сила является внешней для институтов, а его авторитет — неформальным (поскольку оно не переводится напрямую в закон и не наделено признаками обязательности). Представительная демократическая система — «та, в которой высшая власть (высшая потому, что только она одна имеет право использовать силу в качестве последнего средства) исполняется во имя и от имени народа благодаря процедурам выборов»²⁶.

Мне важно с самого начала прояснить, что я использую слова «мнение» и «политическое суждение» в качестве синонимов. Как мы увидим в следующей главе, существуют разные виды суждений, и не все они относятся к области законотворчества. Суждение судов отличается от суждения граждан, прессы и представителей. Аристотелевская идея политики, формулируемая в его «Риторике», лучше всего подходит для того, чтобы схватить специфику политического суждения (и делиберативного дискурса) как мнения, которое производится на публичном форуме равными гражданами и которое в отличие от научного суждения и судебного приговора не нацелено на умозаключение, каковое можно было бы оценить как истинное или ложное. Если в нескольких словах попытаться заранее изложить то, что я буду развивать в следующей главе, нам важно отличать политическое суждение от других родов суждения, если мы желаем понять — политическое обсуждение состоит, собственно говоря, в том, что граждане формируют мнения относительно порядка действий, которого им стоит придерживаться или от которого, напротив, надо отказаться. Свободные граждане выдвигают политическое суждение с целью убедить друг друга принять решение по определенному вопросу, который относится к их будущему

26. *Bobbio N. The Future of Democracy / R. Griffin (trans.), R. Bellamy (ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P. 93.*

му и обладает лишь правдоподобным или вероятностным характером.

С политическим суждением возникает не только согласие, но и разногласие; это процесс коллективного обсуждения, который нуждается в правовом и процедурном порядке, чтобы люди заранее знали, что они могут публично и безопасно изменить свое мнение. Вполне предсказуемыми оказываются интегративные и коммуникативные следствия политического суждения. В самом деле, граждане демократии используют все информационные и коммуникационные средства, доступные им, чтобы заявить о своем присутствии, выступить за или против определенного предложения и следить за властью имущими, причем они знают, что все это не менее ценно, чем процедуры и институты, производящие решения. Этот обширный круг действий в политической жизни демократического гражданского общества я отношу к категории политического суждения или мнения. Проблема, поджидающая представительную демократию, состоит в том, что, хотя «волю» и «суждение» нельзя по-настоящему разделить друг от друга, они должны работать раздельно, быть и оставаться различными. Конечно, здесь мы говорим о нормативном разделении: мы не хотим, чтобы мнение большинства стало тождественным «воле» суверена или чтобы наши мнения интерпретировались в качестве пассивных реакций на спектакль, поставленный на сцене нашими лидерами. Поскольку представительная демократия является правлением посредством мнения, публичный форум держит государственную власть под присмотром, сохраняя ее публичность, поскольку, с одной стороны, закон требует того, чтобы она отправлялась на глазах у народа, а с другой — потому что она никому не принадлежит (в соответствии с выборным назначением, постулирующим то, что политическая власть не относится к тому или иному роду владений). Критерий, вытекающий из парадигмы диархии, которой я буду пользоваться в этой главе, звучит

так: к публичному форуму, поскольку он представляется двойственной властью, следует подходить с позиции «той самой эгалитарной ценности, что воплощена в равном праве людей на самоуправление»²⁷.

Представительная демократия

Прежде чем перейти к анализу доксы, я должна сделать еще одно пояснение. Демократическая диархия имеет существенное отношение к представительному правлению, в котором воля и суждение не сливаются в прямой власти голосования, имеющейся у каждого гражданина, а остаются раздельными модусами участия, так что только суждение постоянно находится в руках у всех граждан. Однако диархия — это не только дескриптивное понятие; наиболее важно то, что оно указывает на разделение функций и на принцип равных возможностей, полагая их в качестве условий, относящихся как к мнению, так и к голосованию. Действительно, диархия заключается в сохранении отличия решений и обсуждений, которые проходят в институтах, от неформального мира мнений, но при этом данное отличие не должно означать, что важны лишь решения и обсуждения, поскольку они могут быть выражены с математической точностью, или, напротив, что важны исключительно неформальные мнения, раз они понимаются в качестве подлинного голоса народа, сбрасывающего путы конституированной власти.

Идея демократии как диархии в равной мере далека как от чисто электоралистской концепции демократии (голосование как метод выбора тех, кто правит), так и от концепции, истолковывающей правление посредством мнения в том смысле, что суверенитет принадлежит большинству, проявляющему его аккламацией,

27. *Baker*. Media Concentration and Democracy. P. 7.

внешней для избирательных процедур и их превосходящей. Соответственно, политическая свобода утверждается не только в правовой системе, но также и в восприятии граждан. Мы могли бы сказать, что мир мнения создает буферную зону или дистанцию между гражданами и политической властью и что эта дистанция открывает место, с одной стороны, для суждений граждан о власти, а с другой — защиты граждан от нее²⁸. Одно из следствий диархической позиции, то есть одно из тех, что меня интересует, состоит в том, что право на свободу слова и свободу мнения — это существенный компонент политических прав гражданина, а не только частного лица. Право принимать участие в формировании мнений — это право, производящее власть, а не только право, защищающее от власти²⁹.

28. Одна из наиболее важных тем в политических науках XX века — это разведение общественного мнения и государственных инициатив, поскольку считалось, что коммуникация двух этих сторон возможна лишь при условии их различия. В техническом смысле это и есть значение «правления посредством мнения», которое систематически изучалось (особенно в США) в годы, когда в Европе правили деспотические и плебисцитарные массовые режимы. См. классические работы Эмиля Ледерера: *Lederer E. Public Opinion // Political and Economic Democracy / M. Ascoli, F. Lehmann (eds). New York: Norton, 1937, особенно P. 284–293, и Гарольда Д. Лассвелла: Lasswell H.D. Democracy through Public Opinion. Menasha, WI: George Banta Publishing Company, 1940, особенно P. 19–31.*

29. «Выборы — это не только инструмент выбора правительств; они еще и средство отправления сообщений о демократическом процессе», а это значит, что, хотя мы соглашаемся с тем, что люди могут принять решение не пользоваться своим избирательным правом, мы не должны «пренебрегать тем бесспорным эмпирическим фактом», что возможность пользоваться правом голоса и оглашаемые сообщения это не одно и то же; иногда это неравенство ощущается гражданами как бессмысленность голосования. Следовательно, внимание к условиям, в которых формируются мнения, — это существенный компонент нашего уважения к процедурам и правилам. См.: *Thompson D. F. Just Elections: Creating a Fair Electoral Process in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 2002. P. 28.*

Неформальная природа власти, принадлежащей политическому мнению, требует некоторого уточнения. Верно то, что «публичное обсуждение само по себе ничего не решает»³⁰, что подготовка и формирование решений в процессе дискуссии не дает никакой гарантии того, что на избирателей повлияют верные доводы. Такой гарантии и не может быть, поскольку голосование является произвольным и не предполагает отчета (мы ни перед кем не отчитываемся, когда опускаем бюллетень в урну, и это условие нашей автономии) и поскольку неравенство между говорящими и слушающими является частью политической игры. Формальное равенство, делающее нас гражданами, не выравнивает данную нам речью власть влиять друг на друга³¹. Представительство не меняет того, что демократия основана на мнении; скорее даже, оно еще больше подчеркивает этот факт. По сути, представительная система наделяет форум определяющей ролью, поскольку она состоит в выведении политики на публику, ведь граждане должны судить о политиках и выбирать их в соответствии с тем, что они говорят и делают, а также выносить о них свое проспективное и ретроспективное суждение.

Следовательно, причастность сферы мнений к суверенитету зависит от того, какую форму принимает суверен. Голосование за представителя и его выбор — вот что позволяет форуму быть причастным к суверенитету, определяя ту точку отсчета, по отношению к которой мнение играет свою роль. Теоретики демократии справедливо

30. *Yack B.* Democracy and the Lover of Truth // *Truth and Democracy* / J. Elkins, A. Norris (eds). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. P. 171.

31. Так, Гоббс определял демократию как «аристократию ораторов», поскольку народное согласие — это согласие по аргументам или речам, произносимым гражданами с целью убеждения большинства. *Hobbes T.* The Elements of Law Natural and Politic / J. C. A. Gaskin (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 120. По этому вопросу см. также: *Walzer M.* Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York: Basic Books, 1983. P. 304.

утверждали, что, поскольку в политике основную роль играет решение, выборы являются единственным подлинно демократическим институтом³². Поданные голоса — это наиболее надежные публичные данные из всех, какие у нас только есть, а голосование — это единственный имеющийся у граждан формальный способ наказания и устрашения своих правителей. «Голосование — это навязывание одной воли другой», а не просто мнение; именно оно при отсутствии оснований для сомнения считается решением³³. Однако многое значит и то, как одна воля навязывается другой, что показывают различия между прямой и представительной демократией. Современная демократия, поскольку она является косвенной (граждане позволяют законодателям принимать решения от их имени), отмечает собой завершение политики однозначных ответов в стиле «да или нет» и превращает политику в открытую арену конкурирующих мнений и решений, которые всегда можно пересмотреть. Поэтому, с точки зрения исследователей представительного правления, косвенная сила мнения характеризует современную демократию не меньше, чем избирательное право, причем характеризует во *множестве* отношений, которые мы не всегда сразу улавливаем, если сосредотачиваемся лишь на одной компоненте диархии, а именно на власти голосования.

Фактически представительная демократия способна заменить насилие подсчетом голосов (эту способность исследователи именовали «чудесной») лишь потому, что вес голосов превышает весомость числа. Когда политика структурируется избирательными циклами и политическими предложениями, воплощаемыми в кандидатах, мнения создают нарратив, развертывающийся во времени. Поэтому выборное назначение представителей становится плодородной почвой для идео-

32. Przeworski. Minimalist Conception of Democracy. P. 34–35.

33. Ibidem.

логических описаний, которые выдают себя за взгляд на все общество в целом, на его устремления и проблемы, которые одновременно связывают и разделяют граждан. Именно этим объясняется то, что между кандидатами опознается разница, а благодаря такому опознанию они становятся предметом суждения избирателей. Основываясь на этом, я утверждаю, что политические мнения никогда не обладают равным весом, даже в гипотетическом случае двух разных мнений, получающих одно и то же количество голосов. Если бы вес голосов был равным, диалектика мнений и самого голосования не имела бы особого смысла. В представительной демократии голосование — это попытка наделить идеи весом, а не уравнивать их вес³⁴.

Следовательно, в отличие от прямой демократии, в представительной демократии голосование побуждает граждан быть всегда не только избирателями, преодолеть границы акта голосования в попытке заново оценить отношение между весом своих идей и весом голосов в межвыборный период. Только в прямой демократии мнения тождественны воле, поскольку они непосредственно выражаются в решениях³⁵. В прямой демократии суверенитет является *моноархическим*. Од-

34. Ср.: Dewey J. The Ethics of Democracy // The Early Works, 1882–1898. Vol. 1: 1882–1888 / J. A. Boydston (ed.). Carbondale-Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1969. P. 232–333, и Dworkin R. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. P. 207. Дворкин пишет, что участие требует особых структур и институтов, одним из которых является голосование. «Символические цели [эгалитарной политики] говорят в пользу равного голосования в округе, организационные цели — в пользу свободы и возможности влияния, а цель точности в отображении выбора — в пользу значительной степени равенства в воздействии».

35. О «точечной» краткосрочной логике, предполагаемой прямым голосованием по тому или иному вопросу, см.: Papadopoulos Y. Analysis of Functions and Dysfunctions of Direct Democracy: Top-Down and Bottom-Up Perspectives // Politics & Society. 1995. Vol. 23. P. 438–439.

нако представительная демократия разбивает это единство, поскольку в ней мнения приобретают власть, независимую от акта голосования или воли.

Люди, выражающие свои мнения, стремятся к тому, чтобы эти мнения были замеченными и оказали влияние не только в день выборов, и хотя эти мнения не могут претендовать на какую-либо легитимную роль в принятии решений, они создают открытый публичный форум идей, который расширяет политическую деятельность, обуславливая то, что представительная демократия в определенном отношении больше выборной демократии и при этом отлична от прямой демократии. С другой стороны, хотя выборы (вместе с референдумами) стали единственной полномочной формой прямого присутствия граждан, выбираемые кандидаты не воспринимаются в качестве назначенных должностных лиц, правящих вместо народа, да и не должны ими быть. Они хотят поддерживать (и, по сути, должны, если желают переизбраться) коммуникацию со своими избирателями³⁶. Эдмунд Берк, наиболее влиятельный теоретик политического представительства как свободного мандата, не сомневался в ценности такой коммуникации, которая, как он добавлял, должна быть откровенной и постоянной³⁷. Еще более ясно высказывались американские отцы-основатели, которые ценность для свободы этой «цепочки общения» между гражданами и институтами выводили из опыта британского владычества, утверждая, что парламент относился к колонистам точ-

36. Я обсуждала эти противоположные взгляды на выборы и представительство в работе: *Urbinati N. Representative Democracy: Principles and Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press, 2006. Chap. 1.

37. «Предлагать мнение — право всех людей; мнение избирателей является весомым и уважаемым, и представитель всегда должен быть рад его выслушать... не погрешив в общении против честности и уважения». *Burke E. Speech at Mr. Burkes Arrival in Bristol (1774)* // *The Portable Edmund Burke* / I. Kramnick (ed.). London: Penguin Books, 1999. P. 156.

но так же, как и к подавляющему большинству британского населения, поскольку его авторитет проистекал исключительно из представительства, но не из коммуникации³⁸.

Если следовать Берку и отцам-основателям, можно сказать, что именно потому, что представители не отвечают в юридическом смысле перед теми, кто выбрал их, они должны отвечать перед ними иными средствами. Свободный и непрерывно действующий канал коммуникации между ними и гражданами весьма важен для того, чтобы избиратели воспринимали их в качестве законных должностных лиц. Правовая легитимность — это лишь одна сторона медали. Мнения работают в качестве силы легитимности, связывая и объединяя людей внутри и вне институтов (в которых такая связь может также повлечь разногласия и утрату доверия). Они выполняют эту роль, поскольку предполагают не только то, что люди хотят высказываться свободно и открыто, но и то, что они хотят знать о происходящем в чертогах власти. Их значение в том, что для правительства они должны быть бременем, поскольку правление основано как раз на мнении.

Круговой характер наделения властью и проверки власти — вот причина, по которой власть мнения так сложно научно определить и нормативно регулировать, но именно это задает ее практическую необходимость. Эта сложность и уклончивость заставила Давида Юма определить «общественное мнение» как «силу», благодаря которой большинство легко управляет меньшинством, а меньшинство не может избежать контроля со стороны большинства³⁹. После бросания «бумажных камней» именно *круговое движение* мнений связывает граждан друг с другом, соединяя государ-

38. *Wilson J.* Commentaries on the Constitution of the United States of America. London: Debrett, Johnson, and Jordan, 1792. P. 30–31.

39. *Hume.* Of the First Principles of Government. P. 16.

ственные институты и общество⁴⁰. Этим определяется смысл представительной демократии как диархии. Но этим же объясняются риски, заключенные в этой диархической структуре.

Взаимодействие народа и его кандидатов (и представителей) может заставить некоторых думать, будто самые шумные граждане или публичные дебаты на телевидении, а также лоббисты имеют законное право требовать суверенной власти. Феномены популизма и плебисцитаризма зародились в демократической диархии как желание преодолеть дистанцию между волей и мнением, достичь единодушия и однородности, каковые являются идеализацией, характеризовавшей демократические сообщества со времен античности⁴¹.

С другой стороны, в силу своей диархической природы представительная демократия должна совершать дополнительное усилие ради сохранения имеющейся у граждан возможности участвовать в создании *неформального* суверена. Поскольку между общественным мнением и политическим решением существует обязательная связь, озабоченность теми непропорционально большими возможностями влияния на избирателей и правительства, которые есть у богатейших или могущественных в социальном отношении людей, является вполне обоснованной. Эмпирические исследования доказывают то, что эта обеспокоенность уместна, когда показывают, насколько экономическое и политическое неравенство «взаимно подкрепляют друг друга,

40. Выражение «бумажные камни» было придумано Фридрихом Энгельсом; я взяла его из работы Пржеворского: *Przeworski. Minimalist Conception of Democracy*. P. 49. Этот аспект я обсуждала в: *Urbinati. Representative Democracy*. P. 30–33. Проблема «кругового отношения» между мнением и правлением раньше изучалась Чарльзом Линдбломом: *Lindblom C. E. Politics and Markets: The World's Political Economic System*. New York: Basic Books, 1977. P. 15.

41. *Rosanvallon P. La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité*. Paris: Seuil, 2008. P. 47–53.

так что в результате богатство с течением времени, скорее, накапливает власть, а не рассредотачивает ее»⁴². Теоретики демократии считают такие данные аргументом, подтверждающим то, что в представительной демократии граждане могут страдать от коррупции нового рода, а именно «лицемерной коррупции», заключающейся в недопущении тех, у кого есть равные гражданские права, к осмысленному участию в форуме, причем в таком случае они не могут доказать своего исключения, поскольку сохраняют за собой право бросить «бумажный камень» в избирательную урну, что является фактическим свидетельством их равного гражданского статуса⁴³.

Основной аргумент этой главы состоит, таким образом, в том, что, когда мнение включается в нашу концепцию демократического участия, политическое представительство должно связываться с вопросом *обстоятельств формирования мнений*, то есть проблемой, относящейся к области политической справедливости и равных возможностей осмысленно применять политические права, которые должны быть у граждан⁴⁴. Равные права граждан на равное участие в определении политической воли (один человек — один голос) должны совмещаться с конкретными возможностями получать информацию, формировать, выражать, высказывать свои идеи, а также придавать им публичный вес и вли-

42. *Dawood Y.* The New Inequality: Constitutional Democracy and the Problem of Wealth // *Maryland Law Review*. 2007. Vol. 67. P. 147. О росте экономического неравенства в последние десятилетия и его негативном воздействии на демократию см.: *Schwartz J. M.* The Future of Democratic Equality: Rebuilding Social Solidarity in a Fragmented America. New York: Rutledge, 2009; *Schlozman K. L., Page B. I., Verba S., Fiorina M. P.* Inequality of Political Voice // *Inequality and American Democracy* / L. R. Jacobs, T. Skocpol (eds.). New York: Russell Sage Foundation, 2005. P. 19–87.

43. *Warren M.* What Does Corruption Mean in a Democracy? // *American Political Science Review*. 2004. Vol. 48. P. 328–333.

44. Этот тезис я выдвинула в работе: *Urbinati.* Representative Democracy. P. 226–228.

яние. Хотя влияние вряд ли может быть равным и хотя его трудно точно подсчитать, может и должна быть возможность его осуществлять. И хотя мы вряд ли можем совершенно убедительно доказать, что существует причинная связь между медиаконтентом, общественным мнением и политическими результатами или решениями (никакие данные не способны доказать то, что Берлускони три раза выигрывал выборы благодаря своей телевизионной медиаимперии), барьеры, ограничивающие равные возможности участия в формировании политических мнений, следует удерживать на низком уровне, требующем постоянной проверки. Это наиболее важное значение политического равенства как средства защиты свободы, и его-то я и буду отстаивать в этой книге, подчеркивая ту мысль, что главное для демократии — включение в политический процесс, *поскольку* она озабочена «причинами исключения людей», а деньги — это сильная причина исключения, даже если последнее не принимает радикальной формы отмены избирательного права⁴⁵. Принципиальное рассуждение, значимое для голосования, работает и для мнения, поскольку, хотя мы вряд ли может доказать, что голосование приводит к неким желательным результатам, мы не делаем отсюда вывод, что равное право на него бессмысленно. Как уже было сказано, нормативный характер демократических процедур покоится на том, что практика демократии является ее же ценностью⁴⁶.

45. *Thompson*. Just Elections. P. 22.

46. Споры в США и других демократических странах о последствиях политических кампаний и новостного телевидения весьма насыщены, а их анализ потребовал бы самостоятельного исследования; я ограничусь упоминанием нескольких солидных американских исследований: *Lemert J. B.* Does Mass Communication Change Public Opinion After All?: A New Approach to Effects Analysis. Chicago: Nelson Hall, 1981; *Page B. I., Shapiro R. Y.* The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences. Chicago: University of Chicago Press, 1992; *Herbst S.* Reading Public Opinion: How Political Actors View the Democratic Process. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Докса, политика и свобода

Греческое слово *doxa* и латинское *opinio* сочетают в себе два значения, которые стали представлять две важных традиции западной политической философии. С одной стороны, докса имеет философское значение — как идея, не восприимчивая к истине, а с другой — она имеет гражданское значение — как суждение особого рода, которое показывает, как чей-то взгляд или поступок принимается другими. В первом значении докса оценивается с точки зрения когнитивного результата. Во втором — с позиции разговора, который благодаря ей идет между людьми, которые взаимодействуют в общем публичном пространстве и, более того, создают законы. Две эти великие традиции мы можем возвести к двум величайшим философам античности — Платону и Аристотелю, выделив при этом промежуточную стратегию в прагматическом решении Цицерона, отделяющем философскую *sermo* (речь) от гражданского *eloquentia* (красноречия) в республике, дабы судить о них с точки зрения двух различных ценностей — истины в первом случае и свободы во втором⁴⁷. Концепция политики как искусства, посредством которого разные, не знакомые друг другу люди, регулируют свое поведение и отношения за счет согласованных норм, относится к аристотелевской традиции. Именно в этой традиции политический дискурс ведет к стабильности и свободе.

Серая зона

Как писал Платон, мнение — это название для взгляда или убеждения, которые не могут пройти испытание философским анализом; докса не относится

47. Превосходный анализ роли цицероновского «красноречия» в современной концептуализации свободы слова и терпимости см. в: *Remer G. Humanism and the Rhetoric of Toleration*. University Park: Pennsylvania State University Press, 1996.

к «episteme» или области знания. Мнение живет в серой зоне между истиной и ложью, а потому, как не сложно предсказать, в народных правлениях оно создает возможности для хитрых и амбициозных лидеров, которые фабрикуют доводы и идеи, чтобы с народного согласия заполучить власть, не обязательно преследуя интересы народа. Мнение, занимая промежуточное положение между знанием и невежеством, предполагает постоянное изменение, но не потому, что оно стремится к приблизительной истине, а потому, что в силу своей недостоверной и неустойчивой природы оно склоняет людей подхватывать различные взгляды и стили мышления, экспериментировать с ними, принимая или изменяя свои решения без гарантии того, что их поиск когда-нибудь завершится.

Мнение по самой своей сущности укоренено в эмоциях людей и состоит в прямой связи с действием. Поскольку оно выступает посредником между страстями и решением о поступке, Платон и его бесчисленные последователи считали, что оно опасно для политики. Мнение — это диспозиция нашего разума, которая заставляет нас смотреть на одни и те же вещи с разных точек зрения, осложняя познание истины этих вещей, поскольку чаще всего одни и те же вещи «окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными»⁴⁸. *Мнимое*, следовательно, легко соединяется (прежде всего, философами) с предубеждениями и предрассудками; оно представляет собой «то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью»; это иррациональная область «неустановок», которой должно сопротивляться правление, опираясь на независимый класс экспертов или компетентные совещательные комиссии⁴⁹. Мни-

48. Платон. Государство, 479b // Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 260.

49. Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт фонда «Общественное мнение». 2004. С. 218–223. Критический обзор это-

мое невозможно исправить, как нельзя его и отобразить в истинном виде, а когда оно укореняется в народной культуре, то приобретает характер естественной данности, наделенной авторитетом нормы⁵⁰. Мнение по этой причине может стать невидимым авторитетом («ярмом», если использовать термин Токвиля), которое заставляет людей нечто делать или от чего-то воздерживаться, поскольку на них действует сила принуждения, исходящая, как кажется, из них самих, от их предков и традиций⁵¹. Мнение делает людей одновременно деятелями и жертвами; оно создает конформизм или же, напротив, отказ от него, уклонение от форума и движение по «спирали молчания»⁵². Например, Марк Туллий Цицерон мыслил добродетели не столько качествами индивида, сколько качествами укорененного в обществе человека, которого формирует образование, выработывая в нем поведенческие привычки, о которых

го представления об общественном мнении см. в: *Shapiro R. Y., Bloch-Elkon Y. Do The Facts Speak for Themselves? Partisan Disagreement as a Challenge to Democratic Competence // Critical Review. 2008. Vol. 20. 115–118.*

50. В вводной части «Подчиненного положения женщин» (The Subjection of Women) Милля мы можем прочесть, что мнение тем сильнее, чем больше люди считают его бесспорным, чем то подобным природной данности.

51. Исходя из молчания, вызванного социальным бессилием, Токвиль объяснял упадок французской церкви при Старом порядке: «Люди, сохранившие прежнюю веру, боялись оказаться единственными, кто остался ей верен, и, опасаясь отчуждения больше, чем заблуждения, они присоединились к толпе, не разделяя ее мыслей». *Токвиль А. де. Старый порядок и Революция. СПб.: Алетейя, 2008. С. 140.*

52. «Эти наблюдения в своем кругу побуждали и других громкогласно заявлять о своих взглядах или отмалчиваться, пока — как по спирали — одни в общей картине общества явно набирали мощь, другие же полностью исчезали из поля зрения, становились немы». См.: *Нозль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М.: Прогресс-Академия, 1996. С. 34.*

судят и которые оценивают другие люди⁵³. Следовательно, репутация или отражение одной самости в сознании других, честь или наше желание соответствовать тому, что другие считают желательным, пристойным или правильным, — вот что превращает мнение в источник нового суверенитета, который соответствует характеру народного правления и может создать почву для новой формы деспотического господства, как доказывали Милль и Токвиль.

В целом мнение не может порождать истину, хотя оно может быть преодолено только истиной. И лишь просвещение рассеивает завесу предрассудков, которые представляются мнениями, повторение которых в течение какого-то времени привело к их сгущению и превращению в своеобразный осадок — именно так, как напластование, Парето будет определять тот набор мнений, который формирует всеобъемлющее повествование или идеологию. Поиск оснований вещей в области политики, а также философии и морали, требует достижения такого определения, которое схватывает «сами вещи, которые всегда одни и те же в каждом отношении»⁵⁴. Очевидно, решения, относящиеся к вопросам правильности и неправильности, не могут быть предметом голосования, поэтому любители знания вряд ли могут быть любителями демократии. Как заметил Теренс Болл, авторитет, основанный на *episteme*, стирает различие между «обладать авторитетом» и «быть авторитетом», сводя первое ко второму⁵⁵. Он связывает авторитет с качествами того или иного лица и отделяет его от институтов и процедур.

53. Cicero M. T. Letters to Atticus / D. R. Shackleton Bailey (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. Vol. 4. P. 193–199.

54. Платон. Государство, 479e–480. С. 261. Здесь Сократ также добавляет: «Так что мы не ошибемся, если назовем их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости?»

55. Ball T. Transforming Political Discourse: Political Theory and Critical Conceptual History. Oxford: Blackwell, 1988. P. 121.

Демократия, как можно было бы заключить из посылок Платона, тяготеет к релятивизму, поскольку она основана на мнениях. Вывод из этой позиции, нацеленной против доксы, состоит в *критике имманентности* (то есть характеристики, которая, как я буду объяснять в следующей главе, вытекает непосредственно из процедурной интерпретации демократии), и ее претензия в том, что ради некоторых видов блага, таких как телологическая истина, философский разум, а также авторитет харизматического лидера, можно обратиться к трансцендентности. Независимо от рода блага, ради которого это делается, такая критика имманентности демонстрирует глубокую неудовлетворенность демократией, обусловленную не тем, что демократическая политика не оставляет места для эпистемических притязаний, а тем, что она угрожает им, относясь к ним так, словно бы у них не было ни особого авторитета, ни постоянного значения. С точки зрения того же Калликла, который в платоновском «Горгии» представляется образцовым примером ангажированного гражданина, практиковать риторику — значит жить ради политики или же иметь только одну идентичность — «общественного человека», у которого нет трансцендентной точки зрения, которая отделяла бы его от мнения *фору*⁵⁶. Именно благодаря изменчивости или процедурной организации, нацеленной на возможность изменений, демократия становится правлением, основанным на мнении. Демократия — это правление посредством обсуждения, поскольку это правление мнения⁵⁷.

56. Платон. Горгий, 482b–486d. Т. 1. С. 522–526. Ср.: *Brickhouse T. C., Smith N. D. Plato's Socrates*. New York: Oxford University Press, 1994. P. 138–139.

57. Платон открыл традицию политической философии, которая считает несогласие временным, полагая, что коллективные собрания, то есть множественность мнений, либо способны уподобиться одному уму (единодушие), либо обречены породить неразумное правление; дуализм решений в стиле «одного ума» и множественности был прекрасно проанализирован Джере-

Публичное обсуждение в полисе

Несколько иная позиция была сформулирована через несколько лет после Платона Аристотелем, который построил взгляд Платона в такое определение мнения, которое можно было примирить с коллективным обсуждением и свободой. Согласно Аристотелю, мнение в собрании равнозначно тому, что римляне называли «правдоподобием», которое выступало самостоятельной разновидностью истины (*verum similes* или тем, что похоже на правду), а не серой зоной, далекой от истины и постоянно грозящей превратиться в ложь; мнение представлялось процессом приобретения знаний, которые считаются «общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к какой-либо отдельной науке»⁵⁸. Еще более важно то, что мнение выступало синонимом конституционного политического порядка или республики (или, если использовать современный жаргон, легитимного правления), а потому и свободы. Оно использовалось, чтобы выделить саму политику в качестве «диалоговой деятельности, которой заняты граждане»⁵⁹. Связь мнения и свободы — это основополагающая идея риторической традиции, открытой Аристотелем.

Аристотель различал три функции правления, с которыми он связывал три различных формы суждения. Работа «законодателя» (*nomothéton*) в существенном отношении отличалась от деятельности как «общественного собрания» (*ekklesia*), так и суда (*dikastes*). Законодатель (учредитель или, в современных условиях, конститу-

ми Уолдроном: *Waldron J. The Dignity of Legislation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 28–35. Матрицу платоновского аргумента можно обнаружить у основных теоретиков современного суверенитета в контрактной и индивидуалистической традиции, начиная с Гоббса и заканчивая Руссо.

58. *Аристотель*. Риторика, 1354a // *Античные риторика*. М.: Издательство Московского университета. С. 15.

59. *Ball*. *Transforming Political Discourse*. P. 121.

ционное собрание) применяет такое суждение, которое является «всеобщим и приложимым к будущему», то есть он создает условия для последующих суждений касательно того, что является «важным или неважным, справедливым или несправедливым» в конкретных случаях, становящихся предметом решения. Он задает критерии, правила и процедуры, каковые будут направлять законодателей (общественное собрание) и судебные органы (суд и судей), которые должны принимать решения по частным актуальным вопросам, прилагая к ним эти критерии или законы. В двух последних областях (собрания и суда) на сцену выходят страсти, поскольку обсуждаемые вопросы не записаны в законе (с которым, как предполагается, все единодушно согласны), а нуждаются в решении за счет применения закона, который, следовательно, выступает в качестве общей предпосылки суждения, а не вывода⁶⁰. Такая «конституционная» концепция полиса предполагает, что «несогласие» устранить невозможно и что «когда условия верны, весь город может иметь общее правильное понимание того, в чем состоит благополучие человека», каковое базовый закон должен передавать из поколения в поколение, создавая тем самым этос полиса и позволяя людям принимать решение в рамках конституции⁶¹.

Предположим, к примеру, что основной закон требует равного гражданского статуса для всех взрослых людей. Тогда нужны частные законы, которые бы позволяли реализовать данное положение и регулировали его применение, указывая, когда и при каких условиях этот общий критерий применяется — например, определяя возрастной порог. Решение, согласно которому частные лица должны получать избирательное право в возрасте восемнадцати лет, не является выводом, который можно было бы признать правильным или непра-

60. *Аристотель*. Риторика, 1354a4–6; 1354b7–8. С. 15–16.

61. *Kraut R. Aristotle*. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 195.

вильным, поскольку он является результатом общепринятого взгляда или же правовой и моральной традиции (полагающей, что люди должны отвечать за свои поступки и соответственно нести наказание), с которой согласна большая часть общества: все это вместе (то есть общепринятый взгляд, правовая или моральная традиция и общее мнение) можно считать «доказательством» *правдоподобия* решения касательно возраста совершеннолетия. Однако было бы бессмысленно судить о возрастном пороге совершеннолетия, пытаясь выяснить, насколько он верен или неверен. Действительно, восемнадцатилетний порог не более «верен» сегодня, когда люди согласны с ним, чем в прошлом, когда считалось, что совершеннолетие должно наступать, скажем, в тридцать или сорок лет. Это не вечная истина, а правдоподобная, поскольку она предполагает контекстуально обоснованное представление о правильном и неправильном, соотносимое с основополагающим законом, требующим равного гражданского статуса.

То же самое можно сказать о вопросах, связанных с решениями о войне и мире, — это излюбленный пример Аристотеля, который пояснял им невозможность оценивать политическое обсуждение, применяя критерии философского обсуждения, хотя это и не означает, что политика является неразумным искусством. «Рассмотрение некоторых проблем полезно для выбора или для избегания, например желательно ли удовольствие или нет. Некоторые же проблемы полезны для одного только познания, например вечен ли мир или нет»; следовательно, вопрос «Надо ли идти на войну» — первого рода, требующего политического обсуждения, а не второго, требующего эпистемической истины⁶². В проблемах, касающихся «выбора» или «избегания», под которыми Аристотель

62. Аристотель. Топика, 104b5–10 // Аристотель. Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 360; Аристотель. Эвдемова этика, 1227a12. М.: ИФ РАН, 2005. С. 69.

имел в виду вопросы пользы и справедливости, вопросы правдоподобия не уравниваются с вопросами истины, и по этой причине мы взвешиваем все «за» и «против», выдвигаем аргументы касательно осторожности или удобства и в конечном счете нуждаемся в процедурах принятия решения, которые позволяют высказывать несогласие. Работа «*ekklesia*» и «*dikastes*» — это, следовательно, работа суждения. Однако они применяют *разные* виды суждения, что мы будем объяснять в следующей главе.

Конечно, дискуссия и несогласие — внутренние качества полиса, правление которого основано на мнениях. Оно требует атмосферы свободы и публичного представления идей и одновременно поддерживает ее. В «Никомаховой этике» Аристотель говорит, что, если бы в сообществе присутствовали герои, следовало бы позволить им править⁶³. Но он тут же добавляет, что политическая ситуация, в которой живут люди, говорит о том, что в ней нет сверхчеловеков; следовательно полис должен строиться как наилучший из всех возможных полисов, учитывая то, что каждый человек может быть добродетельным, но многие на самом деле не добродетельны и при этом никто не богоподобен. Поскольку же полис состоит из обычных людей, отличных друг от друга, они должны принимать решения вместе; в силу своего несовершенства они нуждаются в сотрудничестве и общем включении в политическую жизнь. Следовательно, все они должны быть членами собрания и суда и должны искать то, что выгодно или справедливо для всех. Обсуждение — это стратегия коллективного принятия решений, которая требует признания неопределенности, с которой гражданам приходится иметь дело, и, с другой стороны, реальности их совместного существования; из нее вытекает то, что участники заранее знают, что решения не могут всегда быть еди-

63. Аристотель. Никомахова этика, 1145a15–30 // Аристотель. Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1978. Т. 4. С. 191.

ногласными и что такого единогласия вообще нельзя ожидать⁶⁴.

Из «Риторики» Аристотеля можно понять то, что политическое обсуждение имеет смысл именно потому, что вещи, о которых выносят решение, не являются предметом научного знания или философского обсуждения, и все решения (в том числе о конституционных законах) открыты для пересмотра⁶⁵. Открытое испытание мнений и несогласие — это внутренние качества политической жизни в полисе. И по тому, что открыто для риторики или мнений, нам предлагается мерить политическую свободу и, следовательно, проводить различия между формами правления. Соответственно, демократия — это правление, наиболее благоприятное для публичного обсуждения⁶⁶.

Аристотель писал, что «в некоторых государствах, и преимущественно тех, что отличаются хорошим государственным устройством, эти риторы не могли бы сказать ни слова», а с другой стороны, есть государства, в которых запрещается говорить «о вещах, не относящихся к делу» в суде, где речь должна следовать процедурам, устроенным так, чтобы судьи устанавливали истину в рассматриваемых делах⁶⁷. Здесь у нас две совершенно различные ситуации, в которых мнение неуместно. Это различие поможет нам оценить и лучше понять связь между доксой, политикой и свободой, а также то, почему свободное правление основано на мнении.

64. *Kraut*. Aristotle. P. 229–234.

65. «Мы совещаемся относительно того, что, по-видимому, допускает возможность двоякого решения, потому что никто не совещается относительно тех вещей, которые не могут, не могли и в будущем не могут быть иными, раз мы их понимаем как таковые, — не совещаемся потому, что это ни к чему не ведет». *Аристотель*. Риторика, 1357a12–13. С. 21.

66. Ср.: *Yack*. Democracy and the Love of Truth. P. 167–169.

67. *Аристотель*. Риторика, 1354a4–5. С. 15.

Полис с «хорошим государственным устройством», в котором «риторы не могли бы сказать ни слова», похож на просвещенный деспотизм или же эпистократию⁶⁸. В государстве такого рода осуществляется радикальное отрицание политики (и свободы), поскольку для публичной речи не остается пространства, ведь все решения берет на себя правитель. Напротив, полис, в котором мнения исключаются из компетенции суда, похож на конституционное правление, в котором место политического мнения должно быть очерчено, и это ограничение выражается в защите свободы. В самом деле, в этом полисе мнения не должны проникать в суд потому, что они должны свободно циркулировать в публичной сфере. Следовательно, должны быть приняты законы, ограничивающие мнения «о вещах, не относящихся к делу» правосудия.

Мы называем конституционной демократией общество, в котором судья должен отвлекаться от своей религиозной веры или своих идеологических мнений, когда он выносит правомочное суждение или судебный вердикт. Но мы, соответственно, не имеем в виду, что это требование должно распространяться на граждан и на их представителей в собрании, хотя в их случае нужны определенные оговорки. Ключевой момент, выдвигаемый Аристотелем, состоит, следовательно, в наличии внутренней связи между правлением посредством мнения и свободой. Ограничение и сдерживание мнений (отделение правосудия от политики, а суда — от собрания) имеет смысл благодаря этой связи.

68. Я использую слово «эпистократия» (обозначающее, по сути, просвещенный деспотизм или правление экспертов) в значении, близком к «эпистемократии» у Теренса Болла. Но я применяю термин «эпистократия» для обозначения правления экспертов, которое не обязательно является демократическим, тогда как Болл применяет свой термин именно к тому, что я в следующей главе буду представлять в качестве особого случая искажения демократии. См.: *Ball. Transforming Political Discourse*. P. 115–120.

Мнения требуют поиска согласия, но причина их авторитетности — не один лишь разум и, главное, не солипсистский разум, а тот, что распространяется в обществе в форме согласия людей с тем, что они считают разумным соответственно обстоятельствам своей социальной и моральной жизни, своей этической культуре и идее счастья. Закон мнения и репутации, который Джон Локк обсуждал в «Опыте о человеческом разумении», считая его производным от способности суждения (дарованной Богом, чтобы было, чем «руководствоваться при отсутствии ясного и достоверного знания»), так же как и общее мнение или то, что Иммануил Кант называл «*sensus communis*», — это общая платформа для общества, опирающегося на базовые взгляды людей, руководящих ими в рассуждениях и выдвижении разумных доводов при принятии решений и оценке тех, кто был выбран для принятия решений⁶⁹. Объединиться в политическое общество и располагать единой силой (законом) — не значит лишать индивидов их способности «быть хорошего или плохого мнения о действиях других людей», напротив, это значит наделять их способностью к моральным суждениям⁷⁰.

Мнения — это интерпретации отдельных фактов и событий, которые вытекают из применения идей или ценностей, уже разделяемых большинством людей в качестве их повседневных убеждений. Если при этом делается апелляция к основным принципам, ее цель, однако, не является эпистемической, а состоит, скорее,

69. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Собр. соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 2. С. 132. *Sensus communis*, писал Кант, «не гласит: с нашим суждением будет согласен каждый; оно гласит: каждый должен согласиться с ним. Следовательно, общее чувство... есть просто идеальная норма, предполагая которую можно с полным правом считать совпадающее с ней суждение и выраженное в нем благоволение к объекту правилом для каждого». Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 5. С. 77.

70. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. М., 1985. Т. 1. С. 407.

в преодолении несогласия и принятии решений, которые легитимны или приемлемы для тех, кто будет их исполнять. Доводы о политической легитимности выдвигаются для того, чтобы гарантировать принятие таких решений свободными гражданами и их повиновение⁷¹. Такие доводы во многом опираются на неявное общее мнение, с которым люди согласны настолько, что считают его принципиальной посылкой, поддерживающей умозаключения, признаваемые ими «истинными», «верными» или «здравыми». Позиция Аристотеля, которая нашла отклик в работах столь разных авторов, как Эдмунд Берк и Джон Ролз, указывает на такое понятие публичного или политического разума, которое поддерживает доводы в пользу политической легитимности, но не экспертного знания.

Здесь мы можем выделить следствия двух значений, содержащихся в *doxa* или *opinio*. Если судить с эписте-

71. Так, Альберт Венн Дэйси, соглашаясь с Давидом Юмом, писал, что именно «общественное мнение правит страной», независимо от того, «кто суверен — монархия, аристократия или масса народа» (см. в частности: *Humes D. Of the First Principles of Government and Whether the British Government Inclines More to Absolute Monarchy, or to a Republic // Political Essays*, nos. 3, 6). Аргумент Дэйси был нацелен на критику радикалов, прежде всего сторонников Бентама, которые постулировали существование объективных интересов, о которых они говорили как о «дурном интересе», и в конечном счете лишали политическое суждение всякой ценности. См.: *Dacey A. V. Lectures on the Relationship Between Law & Public Opinion in England during the Nineteenth Century*. London: MacMillan, 1905. P. 10–16. Взгляд Дэйси был поддержан такими теоретиками, как, например, Сартори, которые выступали против интерпретации демократических решений как предмета предпочтений и интересов. Интересы и предпочтения сами управляются мнением и, в действительности, являются результатом мнений. См.: *Sartori. The Theory of Democracy Revisited*. Vol. 1. P. 86–130. В заслугу этой позиции можно поставить то, что она объясняет силу и привлекательность идеологии в демократической политике, то есть, к примеру, тот факт, что граждане слишком часто голосуют «против своих интересов», как отмечает Пржеворский в «Минималистской концепции демократии».

мической точки зрения, мнение — это область недо-
 стоверного и предвзвешенного, а потому оно является
 условием беспорядка и споров, которые приводят
 к дестабилизации власти. Цель знания — преодолеть
 его или перейти от того, что является предметом мне-
 ния, к тому, что является предметом доказанных и более
 не оспариваемых свидетельств. Либо докса преобразует-
 ся в эпистему, либо ее необходимо исключить из поли-
 тической сферы, если последняя должна стать местом
 гармонии, чего хотели Платон и его последователи. По-
 литическая свобода совершенно чужда этой концепции
 полиса и политики, чья главная цель — это порядок,
 а не свобода. Но если судить мнение по его социаль-
 ному или коммуникативному значению, оно, как счи-
 талось в аристотелевской традиции, выступает сред-
 ством, позволяющим создавать пространство обмена
 суждениями и идеями. В этом случае свобода высту-
 пает условием мира, а не гармонии. Она существенна
 для жизни полиса, и доказывается это тем, что полити-
 ка — это дом мнений.

Однако разделение труда между доксой и истиной,
 при котором первая предназначена многим, а по-
 следняя — немногим, не оберегает мнение от критики;
 в действительности оно заставляет философов прийти
 к выводу, что ко всем мнениям следует относиться с ве-
 личайшим подозрением, если только они сами не ста-
 нут плодом их (то есть философов) критической работы
 и если только компетентная публика не будет диктовать
 верную интерпретацию политических вопросов. В сле-
 дующих трех разделах я покажу, как классический дуа-
 лизм эпистемы и доксы переходит в концептуализацию
 мнения в представительной демократии. Как мы выяс-
 ним, мнению приписывалось три функции: функция
 социальной интеграции или консенсуса, которая уни-
 фицирует общественное поведение и ориентирует поли-
 тические решения к общей для всех цели, функция вы-
 ражения частных интересов и идей, создающих входные
 данные для политической системы, наконец, функция

представления политиков и политических программ перед лицом общественного мнения. Форум мнений должен собирать и распространять информацию, стимулировать публичный разум, выражать политическое несогласие и критику, дабы политики и институты оставались на виду у людей.

Интеграция и консенсус

В «Структурной трансформации публичной сферы», являющейся, вероятно, наиболее влиятельным генеалогическим исследованием формирования и вырождения публичного духа в общественное мнение, а общего мнения — в своекорыстные мнения, Юрген Хабермас реконструировал то, как мнения в современном обществе приобретали уважение — в ходе формирования представительного правления и рыночной экономики. Эти институты нуждаются во мнении, чтобы работать в качестве средств обмена информацией и знаниями, благодаря чему продукты становятся товарами, а потребности определяются, рассчитываются и оцениваются. Следовательно, Локк был первым автором, который увидел в мире правдоподобия не только потенцию лжи и пороков, но также и условие для создания неформальной сети общественных отношений и коммуникации суждений. Локк различал три рода законов или источников власти — Бога, гражданское правление и мнение. Мнение для него было синонимом, с одной стороны, принуждения, поскольку оно представляется преходящими взглядами, которые подобно «моде» навязывают свой вердикт выбору частных лиц, а с другой — свободы, поскольку, естественно, мнение развивается и изменяется, когда частные лица могут свободно взаимодействовать и говорить. Следовательно, выступая местом суждения и чувства, мнение является локусом свободы от гражданского закона, но в то же время и источником не прямой, невидимой суверенной власти, которая одобряет

или порицает «действия людей, среди которых живут и с которыми общаются»⁷². Мнению сопутствует согласие, а потому у него есть коннотация публичной договоренности и соглашения, но в то же время ему сопутствует и закон («закон мнения и репутации»), а потому оно обладает принудительным характером, хотя, что интересно, по мнению Локка, люди могут прислушиваться к общественному мнению в большей или меньшей степени, создавая определенную дистанцию между своими умами и общим разумом⁷³.

Кульминация исторической реконструкции Хабермаса приходится на времена Просвещения, когда общественное мнение приобрело благородную способность освобождать власть и от «*auctoritas* князя, независимой от убеждений и взглядов его подданных», и от пристрастного и предубежденного мира переменчивой толпы⁷⁴. Именно Руссо первым представил разработанную концепцию общественного мнения как базовой формы власти, на которой основывается легитимность системы решения. В его «Общественном договоре» мнение выступает в качестве души общей воли, поскольку оно способно освободить закон от его механического принудительного характера и дать людям ощутить его в качестве их собственного голоса⁷⁵. Функция обще-

72. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Т. 1. С. 407.

73. «Хотя люди, соединяясь в политические общества, отказываются в пользу государства от права распоряжаться всею своей силою... они все же сохраняют право быть хорошего или плохого мнения о действиях людей». Там же.

74. Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere. P. 90.

75. Пол А. Палмер считал Руссо первым значительным мыслителем, использовавшим понятие l'opinion publique. См.: Palmer P.A. The Concept of Public Opinion in Political Theory // Essays in History and Political Theory, in Honor of C. H. McIlwain / C. Wittke (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936. P. 236. Бэйкер, однако, показала, что этот термин появился в работе Сент-Обена, опубликованной в 1735 году под названием «Traité de l'opinion, ou Mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain»

го мнения заключается в том, чтобы поддерживать признание права и даже создавать легитимность, поскольку оно выступает основой для различия между простым повиновением и повиновением с убеждением и даже энтузиазмом. Фактически внимание Руссо к повиновению, которое бы не просто следовало за решениями, принятыми в соответствии с установленными процедурами, но и было бы проникнуто воодушевлением, заставило его приписать мнению силу и всеобщность гражданской религии. Но для меня здесь важно подчеркнуть то, что, обсуждая процедуры и институты легитимного правления, Руссо чувствовал, что необходимо ввести власть, которая была бы внешней для воли и которая, однако, укрепляла бы последнюю. *L'opinion* — это позиция, необходимая Руссо, чтобы доказать то, что правление большинства является условием политической автономии всех граждан, включая тех, кто оказались в меньшинстве, или тех, кто не согласны с большинством. Это и есть вопрос легитимности, условие которой — не только *la volonté générale* (общая воля, то есть суверенная власть закона), но также и *l'opinion générale*, общее мнение.

Как объяснял Руссо, когда гражданин голосует в собрании, он должен прислушиваться к своей общественной воле (воле, которая у него есть, поскольку он сам является *частью* общей воли или гражданства),

(«Трактат о мнении, или Воспоминания, способные послужить истории человеческого духа»), а через несколько лет использовался в «Методической энциклопедии» («*Encyclopédie méthodique*») в качестве синонима универсального суда просвещенного разума; термин не был неизвестен при Старом порядке, и важную роль в распространении этой идеи сыграл Монтескье. См.: *Baker K. M. Inventing the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 167–168*; а также: *Ozouf M. 'Public Opinion' at the End of the Old Regime // Journal of Modern History. 1988. Vol. 60 supplement. P. 1–21*; *Sheehan C. A. James Madison and the Spirit of Republican Self-Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 57–83*.

а не к частной воле. У каждого гражданина две самости (и воли), но только одна имеет право говорить (голосом разума, а не риторики) и быть выслушанной в публичных условиях (на собрании), где принимаются решения. Когда голосующий гражданин чувствует, что нет ничего сложного или проблематичного в том, чтобы дать слово своей публичной самости и не дать говорить самости частной, значит общая воля действует легко и почти автоматически, подобно интуиции (или естественной эмоции), которая руководит суждением таким образом, что *гражданину* нет нужды использовать свое чувство публичности, которое бы цензурировало его частную самость. Позиция Руссо вдохновила Джеймса Брайса, который заявил, что мера соответствия общей воли общему мнению публики является термометром, который измеряет силу и состояние политической свободы⁷⁶. Чем глубже и проще соответствие, тем меньше разрыв между «легальной» страной и «реальной» страной, то есть между общей волей и общим мнением. Власть освобождается от своего проклятия — отождествления с отношением повеления и повиновения, в котором зреют конфликты и нестабильность, и связывается с согласием. «Соответственно, конфликтный аспект власти — тот факт, что она осуществляется над людьми — вообще исчезает из поля зрения»⁷⁷. Эта протогегемоническая концепция мнения представляет высший уровень прочувствованной легитимности, хотя, в отличие от правовой или институциональной власти, она не всегда тождественна с собой и может испытывать взлеты и па-

76. В этом смысле Руссо мог писать, что «чем ближе мнения к полному единодушию, тем явственнее господствует общая воля» (Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 230). См.: Bryce J. The American Commonwealth, 2 vols. Indianapolis: Liberty Fund, 1995. Vol. 2. P. 909–928, а также: Waldron J. Rights and Majorities: Rousseau Revisited // Majorities and Minorities, Nomos XXXII / J. W. Chapman, A. Wertheimer (eds). New York: New York University Press, 1990. P. 58.

77. Льюкс А. Власть: радикальный взгляд. М.: ИД-ВШЭ, 2010. С. 54–55.

дения, а потому нуждается в постоянном подкреплении со стороны граждан и институтов (Руссо считал, что цензура играет центральную роль в стабильности и единстве республики). Оба этих *проявления* суверенитета существенны, причем они находятся в отношении взаимного притяжения и отвращения, акции и реакции. Их потребность во взаимном подкреплении указывает на то, что вопрос легитимности или политической свободы — вопрос динамического, а не статического условия. Оно напоминает эластичное отношение равновесия двух полюсов (общей воли и общего мнения) — от максимального перекрывания до минимального.

В двенадцатой главе второй книги «Общественного договора» Руссо перечисляет *четыре рода законов* (где «закон» является легитимной формой, которую может принимать воля суверена), три из которых относятся к одному типу, тогда как последний является уникальным. Три первых и являются, собственно говоря, законами, а именно *судебный, формальный и процедурный* (политический закон, гражданский закон и уголовный закон). Четвертый составляет свой собственный класс, являясь странным родом суверенного закона. «Я разумею нравы [*moeurs*], обычаи и, особенно, мнение общественное. Эта область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального». Этот закон («наиболее важный из всех») — и есть то, что мы сегодня называем публикой или же общественным мнением. Он действует, скрываясь за нашим частным разумом, подобно невидимой силе (похожей на гравитационную силу у Ньютона) и косвенно влияет на решения, не властвуя над ними прямо. Это голос суверена (Руссо использует слово «закон», которым у него обозначается исключительно голос суверена), хотя он и не похож на волю и действует не в присутствии институционального суверена (собрания), а за ним посредством симпатизирующего воображения, а не рациональных умозаключений. Однако без него правовая система была бы чисто формальной нормой, сознательно никак не принима-

емой гражданами; закон бы действовал де-юре, но де-факто не поддерживался бы народом в целом, а потому некоторые ощущали бы его как нечто подавляющее, то есть как незаконный закон. Чтобы правление большинства не противоречило политической автономии, два этих уровня законности всегда должны быть связаны друг с другом. Формальный суверен не восполняет отсутствие неформального, а общая воля — отсутствие общего мнения.

Диалектика большинства и меньшинства предполагает наличие как *неформального*, так и *формального* суверена, причем гражданин чувствует себя свободным и тогда, когда он подчиняется закону, и тогда, когда он не согласен с ним. Единство политического тела поддерживается тем, что все граждане согласны с целями политического порядка, с принципами, которые позволяют средствам действовать, а также с самими средствами, которыми оперирует правительство и на которых основаны совещательные процессы (мы можем назвать это базовым согласием по конституционному этосу). При наличии этого базового согласия политическое сообщество в целом, даже если превалирует мнение большинства, должно сохранять возможность *представлять* себя в качестве свободного сообщества, поскольку оно больше воли большинства и количественного согласия как такового⁷⁸.

Следовательно, *l'opinion générale* является чувством и видением единственного инклюзивного дискурса, ко-

78. Это, я бы сказала, гегелевская сторона Руссо; ее же можно обнаружить и у Ролза, когда он проводит различие между тремя уровнями публичности и оправдания публичной концепции справедливости и приходит к выводу, что первые принципы (справедливости) «воплощены в политических и социальных институтах, а также в публичных традициях их интерпретации. Полное оправдание [публичной концепции справедливости] присутствует в публичной культуре, отражаясь в ее системе права и политических институтов, в ее главных исторических традициях их интерпретации». Rawls J. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1983. P. 71, 67.

торый объединяет страну; хотя граждане могут не соглашаться по многим частным вопросам, по которым им надо вынести решение, такое единство Руссо в конце «Общественного договора» рассматривает в качестве некоего религиозно-этического единства, поскольку, если оно действует, оно способно требовать повиновения, не прибегая к рациональному убеждению. Именно потому, что гражданское общество является сложным, конфликтным и плюральным, политическому сообществу требуется общая грамматика. Мнение, как остроумно заметил Георг Вильгельм Фридрих Гегель, — это территория, на которой индивидуальная свобода суждений и мнения встречается и сталкивается с «абсолютным универсальным» благом (общим интересом государства). Это напряжение и конфликт — конститутивный характер мнения и одновременно оправдание свободы коммуникации и прессы; в этой динамике отображается различие между органическим единством древних городов-государств и неорганической общностью современных обществ, которая столь наглядно воплощается в представительстве. Следовательно, общественное мнение является современным феноменом, и, как пишет Гегель:

Поэтому общественное мнение содержит в себе вечные субстанциальные принципы справедливости, подлинное содержание и результат всего государственного строя, законодательства и всеобщего состояния вообще в форме здравого смысла людей как той нравственной основы, которая проходит через все, что принимает форму предрассудка, а также истинных потребностей и правильных тенденций действительности. Вместе с тем, когда эти внутренние моменты... становятся в общих положениях представлением... выступает вся случайность мнения, его невежество и извращенность, ложность знания и суждения... Поэтому общественное мнение заслуживает в одинаковой степени как уважения, так и презрения, презрения — из-за его кон-

кретного сознания и внешнего выражения, уважения — из-за его существенной основы, которая, будучи более или менее замутненной, лишь светится в этом конкретном.

Гегель приходит к выводу, что свобода коммуникации и свобода прессы — это условия, которые наделяют смыслом двойственный характер мнения⁷⁹.

Ключевая проблема современных демократий заключается как раз в том, что акторы, поставляющие этот инклюзивный дискурс, являются, как правило, частными субъектами (классами, группами или медиаэкспертами), хотя они и осуществляют публичную функцию. Современные теоретики, размышляющие об этом затруднении, спорили о том, должна ли у демократий быть именно общественная система широкого вещания (вроде Би-Би-Си), целью которой была бы поддержка этой инклюзивной общности базового представления страны в целом, или же «ценность инклюзивного дискурса не имеет логического и уж точно — необходимого отношения к той или иной конкретной форме владения различными „медиаголовами“»⁸⁰. Естественно, невозможно дать универсальное предписание или норму, поскольку ответ на этот вопрос очевидным образом зависит от политического и исторического контекста. Однако в качестве общей максимы я бы предложила считать, что «общественное мнение» (название объекта, которому политологи и социологи пока еще не смогли дать бесспорное определение)⁸¹ — это множественное пространство, составленное из различных видов мнения. Эта множественность и многообразие сами играют роль объединяющего

79. Гегель Г. В. Ф. *Философия права*. М.: Мысль, 1990. С. 352–354.

80. Curran J. *Crisis of Public Communication: A Reappraisal* // *Media, Ritual and Identity* / T. Liebes, J. Curran (eds.). London: Routledge, 1998. P. 175; Baker. *Media Concentration and Democracy*. P. 9.

81. Нозль-Нойман Э. *Общественное мнение*. С. 96.

«инклюзивного дискурса», располагающегося под демократической политикой в качестве условия, соотносящего доксу и свободу.

Когнитивная роль мнения

Однако Руссо к своему анализу суверенной роли общего мнения добавил то, что *нерефлексивное мнение общей воли не обладает компетенцией* и не может выявлять и распознавать то, что нужно сделать, а потому должно опираться на мнение мудрого меньшинства, поскольку, хотя общее мнение всегда право, его суждение легко искажается невежеством и предрассудком⁸². Решение, предложенное Руссо, состояло, как мы знаем, в создании собрания граждан, которые непосредственно и молча голосовали бы «за» или «против» предложений, поступающих из совета или сената. Общественное мнение удерживалось в тайне (и в этом смысле оставалось частным), как рациональное умозаключение, не выходящее за пределы внутреннего сознания каждого гражданина, не вступающее во внешнюю коммуникацию или публичность. Оно было записано в сердцах и умах людей и тщательно охранялось, оберегалось от «зрения» и «голоса» — двух чувств, которые могли сделать мнение действительно публичным, но также мобилизовать эмоции и риториков, а потому исказить естественный разум и чувства⁸³. «Бессловесные» недискурсивные события,

82. «Взрачивая искусство убеждения, мы утратили искусство возбуждения» и обратились к «разумным» логическим формам взаимодействия, которые убеждают нас, но не до конца. Rousseau J.-J. *Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de limitation musicale* // *Oeuvres complètes* / B. Gagnebin, M. Raymond (eds.). Paris: Gallimard, 1964. Vol. 5. P. 425; в том же томе см.: *De limitation théâtrale*.

83. Он предпочитал язык музыки языку театра и риторики, поскольку первый заставляет разум направить внимание внутрь самого себя, от вымышленного мира представления и театраль-

такие как фестивали, парады или арифметическая гармония музыки, — вот публичные формы коммуникации и действия в республике Руссо. То есть они были скорее культурными, а не политическими. В противоположность зрелищам, основанным на подражательных чувствах, таким как театральное представление с персонажами и речами (представительное собрание относится именно к этому театральному жанру), они стимулировали ненаправленный поток идей и эмоций, конечной точкой которых выступал разум индивида. Неприемлемой альтернативой был бы бесконечный кругооборот и вечная изменчивость мнений, два необходимых фактора представительной политики, против которых Руссо, как мы знаем, решительно выступал. Публичная жизнь должна учить интроспективному рассуждению (основанному на том, «чем действительно являются вещи», а не на «мнениях других людей»), которое позволяет гражданам голосовать на собраниях⁸⁴.

Чтобы включить в республику всех, Руссо пришлось заставить всех замолчать — это был компромисс, который он заключил с платоновским эпистемическим представлением об общей воле («l'opinion générale» должна опираться на мудрость и компетенцию меньшинства). Как мы увидим в следующей главе, предписание Руссо относительно молчания, которое на самом деле было *топосом* республиканской традиции до Просвещения, возвращается в современной эпистемической теории демократии, а также в неореспубликанской теории правления, пытающейся сузить роль предста-

ного действия. Ср.: Dugan C.N., Strong T.B. Music, Politics, Theater, and Representation in Rousseau // The Cambridge Companion to Rousseau / P. Riley (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 342–344.

84. Rousseau J.-J. Émile / B. Foxley (trans.). New York: Everyman Library, 1993. P. 179. Образцом для предлагаемого Руссо (гражданского) образования выступает Эмиль, который получил «воспитание в одиночку» (p. 82).

вительных собраний по причине пристрастности рассуждений, которые в них проводятся, и заражения республиканского разума страстями и интересами⁸⁵.

Конечно, в картине Руссо «мнение» и «общее мнение» существенно отличались друг от друга: первое все так же несло на себе оставленное Платоном клеймо, изгладить которое могли только компетентность и знание (а потому граждане были лишены власти предлагать законы), тогда как последнее выступало в форме полноправной веры, убеждения или нерушимого мнения (квазирелигиозного по своему типу), настолько нереклексивного, что только законодатель мог истолковать его, расшифровать и перевести в конституционные принципы⁸⁶. Его нереклексивный характер являлся условием его подлинности и всеобщности, но также и неспособности выявить проблемы, а потому такое мнение не подходило для подготовки законодательных предложений — эту задачу в собрании избирателей не решали. Люди «всегда любят благо», инстинктивно знают различие между правильным и неправильным, они могут правильно судить об общем интересе, но кто-то должен привлечь их внимание к тому, что нужен какой-то определенный закон или программа, поскольку «именно в этом суждении они [люди] совершают ошибки». Следовательно, разделение сердца и мозга наносит ущерб народу, а не должностным лицам или мудрому меньшинству, поскольку убеждение — это язык сердца, но убеждением намного проще манипулировать, чем разумом. В конце концов, правительство — это и *есть* «сердце политического организма», поскольку оно является его мозгом⁸⁷.

85. Эту традицию наряду с другими я рассматриваю в статье: *Urbinati N. Competing for Liberty: The Republican Critique of Democracy // American Political Science Review. 2012. Vol. 106. P. 607–621.*

86. Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре // Тракаты. С. 190.

87. Там же. С. 217; *Shklar J. Men and Citizens: A Study of Rousseau's Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. P. 201; Rousseau J.-J. Du contrat social (première version, Manuscript de Genève*

Это означает, что, хотя в теории Руссо общее мнение — это всё, на самом деле оно не правит. *Doxa* и *episteme* остались столь же далекими, как *voluntas* и *ratio*. В том, что Руссо отстранил *l'opinion* от публичных споров, в которых должны приниматься решения, мы находим доказательство его резкого неприятия политического представительства, которое является наиболее важным институтом создания публики и превращения политики в дело, которое совершается публикой и на публике, потому что граждане должны судить предложения своих представителей, выдвигаемые от имени граждан, то есть должны говорить и слушать, а не только голосовать. Представительная система преодолевает все пережитки платонизма в делиберации и узаконивает открытое и публичное оглашение мнений, и в то же время она использует компетенцию, не лишая обычных «некомпетентных» граждан их власти уполномочивания. Компетентные мнения, даже когда они нужны, не получают в таком случае особого веса в государстве, всегда оставаясь вспомогательными для политических мнений — и тогда, когда они обращены к законодательному собранию, и тогда, когда они свободно циркулируют в обществе. Речь, которую Руссо изгнал из пространства политических решений, должна получить свою полную власть. Общественное мнение, следовательно, является публичным не только потому, что относится к суждениям о «занимающих публичный пост», но и потому, что оно существует в открытом публичном пространстве, вне государства, и потому что оно, как отметил Гегель, возвращается свободной речью граждан, которая им по нраву.

ve) // *Oeuvres complètes*. Vol. 3. P. 294. Однако институциональное действие не является прерогативой народа. Делегированная политика является местом жизни и одновременно смерти или коррупции политического тела, поскольку, хотя она поддерживает его жизнь, единство и силу, она же может привести к его болезни, расчленению и ослаблению. Источник жизни республики может стать и источником ее смерти.

Изменение источника власти, которым становится уже не компетентное мнение немногочисленного меньшинства, а политическое мнение, в формировании которого участвуют все без разбора, а также обогащение значения «публичного» как одновременно государственного (то есть относящегося к правовому и институциональному порядку) и открытого всем, а потому находящегося под присмотром публики, нашли свое полное выражение в представительном правлении. Оно несло в себе ряд позитивных и негативных качеств, поскольку, хотя, с одной стороны, публика может стать судом, контролирующим деятельность избранников и присматривающим за нею, с другой стороны, она неизбежно теряет свою критическую и бесстрастную позицию, которой Просвещение желало наделить публику, когда утверждало ее легитимность, противостоящую *arcana imperii* князя. Это именно тот момент, который порицают современные теоретики эпистемической демократии, когда указывают на партийную природу политики, порождаемую электральной конкуренцией и представительной политикой.

Однако интересно отметить, что именно в те годы, когда идея необходимой связи между конституционным правлением, общественным мнением и принципом публичности получила распространение среди политических философов в континентальной Европе, в Великобритании, где представительная система уже устоялась, возник еще один образ мнения и публики, в котором подчеркивалось как раз благо «разделения» в политическом общественном мнении, то есть идея партийной политики.

Политические разделения и партийные мнения

Политические и партийные мнения начали приобретать легитимность в Великобритании вместе с защитой Парламента, «существа британской свободы... свободы выборов, периодической организации работы, целостно-

сти и независимости парламентов»⁸⁸. Генри Сент-Джон Болингброк был активным защитником политических мнений как проявлений суждения (как хорошего, так и дурного) о деятельности правительства, каковое суждение должны выносить избиратели и члены парламента⁸⁹. Он полагал, что существенно важно создать политическое мнение (и он сам участвовал в его создании) как оппозиционный и партийный вид публичного присутствия, целью которого была бы выработка политических программ, ориентация взглядов и решений граждан, а также оформление выборной борьбы. Болингброк освободил политическое разделение и партийность от традиционного неприятия, которое они встречали в политической мысли начиная с Аристотеля, который, как известно, в пристрастных расхождениях и фракциях видел наиболее важный фактор упадка конституционного правления, выступающий первым признаком неумеренности. В своем «Рассуждении о партиях» (*A Dissertation upon Parties*), которое на протяжении 1733–1734 гг. публиковалось по частям в еженедельном политическом журнале *The Craftsman*, основанном им же, Болингброк выделил три формы партийности или, как он сам называл их, «возможного разделения», которое может возникнуть в «свободном правлении» (или правлении, которое основано на согласии избирателей): первое — это разделение «людей, недовольных правительством, но при этом уверенных в необходимости сохранить конституцию», второе — «людей, настроенных против правительства, поскольку они против конституции», третье — «людей, привязанных к правительству, или, если говорить точнее, к лицам, которые правят, или, если еще точнее, к власти, прибыли и защите, получаемым ими благодаря расположению этих лиц,

88. *Bolingbroke H. St J. A Dissertation upon Parties // Political Writings / D. Armitage (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 101.*

89. *Ibid.* P. 88.

хотя сами они являются врагами конституций»⁹⁰. Партийность была объявлена не только легитимной, но и, более того, положительной составляющей — при условии, что она не ставит под вопрос конституционный договор и не служит частным или классовым интересам. Причастность общей грамматике (поддержка конституции) стала условием критики политических решений и занятия политикой вне институтов, то есть на постоянном «суде», как через несколько десятилетий после Болингброка скажет Иеремия Бентам.

Итак, вместе с представительным правлением мнение приобретает дополнительное значение: оно отождествлялось уже не просто с тем, что людям казалось справедливым или хорошим (как у Руссо и Канта), но и с размышлениями и суждениями граждан о работе правительства, о своих социальных условиях, потребностях или бедах. Из предписания Болингброка, запрещавшего пристрастность, основанную на соображениях выгоды или расположения, следовало, что выборы заставляют граждан размышлять над интересами их страны с точки зрения их собственных проблем. В самом деле, Болингброк требовал не патриотизма без «разделений», а патриотизма с хорошими разделениями, которые бы «развивали свободу». В этот момент понятие мнения усложняется, поскольку в слове «мнение» мы теперь замечаем три значения: *l'opinion générale* как объединяющая сила в духе Руссо (или, как у Болингброка, мнение людей, «уверенных в необходимости сохранить конституцию»); политическое мнение или неизбежные «разделения» среди граждан ради создания политических программ, в которых их собственные интересы, обусловленные конкретным социальным местом, сочетаются с интересом страны; наконец, частные мнения или личные интересы, которые не утруждают себя согласованием с общим интересом, поскольку, напротив,

90. Ibid. P. 85.

желают подстроить его под себя. Как мы можем легко понять, частные мнения и интересы — это опасная ложь (по Аристотелю и Цицерону, они представляют собой источник смертельно опасного разделения на фракции), а если они претендуют на то, чтобы их услышали в правительстве, они становятся главными факторами коррупции («Частные мотивы никогда не должны влиять на массы»)⁹¹.

Однако политическое мнение является хорошим «разделением», которое наделяет смыслом голосование, а суждение граждан — публичной легитимностью, не потому, что граждане являются «окультуренной публикой» или же обладают особой мудростью и знанием, а потому, что они избиратели. Как отмечает Хабермас, Болингброк использовал даже разные термины для обозначения двух легитимных видов мнения: «чувство народа», которое сохраняло характер всеобщности, и «общественный дух», который приобрел пристрастный характер политического/партийного мнения⁹². Как только институт выборов внедрен, отделить последнее от первого становится сложно. Эта трансформация, вызванная представительством, позднее будет отождествлена с упадком республиканского общественного духа и ростом, напротив, заинтересованного общественного мнения. Здесь стоит упомянуть критическую оценку буржуазной трансформации республики, превратившейся из полиса добродетели в полис интересов и подсчета предпочтений, — если следовать интерпретации Ханны Арендт (а вместе с ней и Хабермаса), кото-

91. *Bolingbroke H. St J.* Op. cit. P. 86.

92. *Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere.* P. 93. Об инновационной роли, сыгранной Болингброкром в понимании места политического действия и партий в парламентской политике см.: *Skinner Q. The Principles and Practice of Opposition: The Case of Bolingbroke versus Walpole // Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society in Honor of J. H. Plumb / N. McKendrick (ed.). London: Europa Publisher, 1974. P. 93–128.*

рая, соответственно, весьма настороженно относилась к представительному правлению⁹³.

Эдмунд Берк — теоретик, которому удалось наиболее точно схватить сложность и неизбежно конфликтный характер композиции общественного мнения в представительном правлении: с одной стороны, это выражение общего чувства, которое объединяет всех управляемых на протяжении веков поколений вокруг неких общих ценностей (которые Руссо называл *l'opinion générale*), с другой — политическое мнение, которое через выборы просачивается из общества в законодательное собрание (и это позволяет нам понять, почему Руссо отвергал представительство или *политическое мнение*)⁹⁴.

Именно этот вид мнения — *политического и общественного*, хотя и *не общего* — современные политические теоретики списывают со счетов, когда выдвигают обвинения в пристрастности представительных собраний и в равной мере граждан, предлагая сузить область, в которой действуют демократические процедуры, чтобы расширить пространство для компетентного знания и беспристрастного рассуждения, которым заняты, к примеру, экспертные комиссии, собрания граждан, отобранных для достижения беспристрастных результатов, судебные органы, претендующие на некую власть, превос-

93. *Арендт А.* Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 114–115; *Арендт Х.* О Революции. М.: Европа, 2011. С. 378–392. Анализ этой трансформации см. в: *Коэн Д. О., Арато Э.* Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь Мир, 2003. С. 263–264.

94. *Burke E.* Speech on a Committee to Inquire into the State of the Representation of the Commons in Parliament // *The Portable Edmund Burke*. P. 174–182 (в этом же сборнике см. также: *Speech on Economic Reform*. P. 160). Точно так же Гегель и Токвиль были готовы защищать политические партии и ту «партийность», которая, с их точки зрения, усиливала единство в обществе, глубоко разделенном классовыми и экономическими интересами. См., соответственно: *Hegel G. W. F.* *The English Reform Bill* // *Political Writings* / Т. М. Кнох (trans.). Oxford: Clarendon Press, 1964. P. 295–330; *Гегель Г. В. Ф.* Философия права. С. 342; *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 144–146.

ходящую авторитет избранных органов. Кроме того, именно на *политическое мнение* мы должны ссылаться, когда оцениваем популистские и плебисцитарные формы, которые может принимать демократия и которые представляют собой крайнее проявление свойственное здравому смыслу представления о том, что выборы приносят политическое суждение и пристрастность в законотворчество. Придерживающиеся этой точки зрения политические теоретики (Вебер, Моска, Парето) пришли к невыгодному для политики выводу, поскольку считали ее войной, ведущейся иными средствами, но при этом упустили из виду то, что как раз «иные средства» и имеют главное значение в мире, так что политика — это *не* война, и выигрыш в конкурентной борьбе посредством убеждения *противоположен* избавлению от врага. К этому аргументу я вернусь в следующей главе.

Обвинение, утверждающее, что представительная демократия не допускает к власти ни беспристрастных мнений, ни компетентного знания, созвучно с желанием современных философов освободить демократию от доксы, чтобы гармонизировать ее с истиной (согласно платонистской посылке, обнаруживаемой у Руссо)⁹⁵. С одной стороны, как я буду объяснять в третьей и четвертой главах, реалистское заявление о том, что демократию нужно принимать такой, как есть (то есть в ее весьма несовершенном виде, запятнанном беспрепятственной игрой интересов), побуждает нас видеть в политической конкуренции не выражение автономии или свободы, а зрелище, которое достойно римского форума или Колизея, телевизионную игру, разыгрываемую немногими для забавы многих и заканчивающуюся коронацией лидеров, завоевавших расположение аудитории⁹⁶. Мнение в таком случае, хотя оно и осво-

95. Waldron. The Dignity of the Legislation. P. 16. Классификацию аргументов против партийности см. в: Rosenblum. On the Side of the Angels. Chaps. 1, 2.

96. Green. The Eyes of the People. P. 25.

бождается от «власти князя», не смогло бы освободить себя от клейма непереводаемости в истину. Платонистская и плебисцитарная идеи политики отражаются друг в друге и являются в каком-то смысле взаимодополнительными, поскольку эпистемическое искажение политики лишает диалог ценности, так как он лишен технических знаний, а в результате такого опустошения область мнения становится плодотворной почвой для демагогической риторики.

Из этого краткого обзора трех функций, которые докса приобретает в представительном правлении, можно сделать следующий вывод: чтобы реабилитировать доксу (и демократию) мы должны поставить под вопрос как эпистемическую амбицию превращения публичного обсуждения в территорию компетентного знания, чьи достижения должны оцениваться так же, как наука решает техническую задачу, так и реалистское искушение, превращающее политическое мнение в некую военную арену, на которой сила прокладывает себе путь посредством слов, образов и согласия масс. Короче говоря, задача в том, чтобы опровергнуть Парето.

Правление опирается на мнение

Суверенитет мнения обычно понимался как эвфемизм, поскольку в конечном счете иметь мнение — не то же самое, что хотеть. Мнение считалось не самостоятельной властью, а «негативной». То есть оно анализировалось и трактовалось в качестве прерогативы частного лица, позволяющей ему свободно оказывать давление на правительство и искать защиты от него (при посылке, что государство является обладателем неограниченного потенциала для произвольного вторжения в жизнь индивида). Его неформальная природа говорила в пользу частного характера свободы слова, поскольку пытаться влиять на политических деятелей — это в конечном счете не то же самое, что правомочно принуждать их к дей-

ствию. Как уже отмечалось, сам этот факт подталкивал теоретиков представительного правления к тому, чтобы сузить участие [граждан в политической жизни] до одних лишь выборов, поскольку это единственный институт, который позволяет нам бесспорным образом «доказать» демократический характер политических решений. Но с этой точки зрения было бы сложно разработать критерии для выявления (и блокирования) угрозы, возникающей из-за сосредоточения в области формирования мнения экономической власти и коррумпированных практик. Само предложение расширить значение демократического обсуждения, включив в него неформальный дискурсивный характер плюралистического форума ассоциаций, политических движений и мнений, рискует предстать неким идеологическим прикрытием, служащим новым коммуникативным стратегиям отбора элиты. Именно эта точка зрения заставила теоретиков плебисцитарной демократии усомниться в том, что мнение является формой контроля власти, пусть даже оно, бесспорно, является средством построения авторитета.

Конечно, свобода слова может оказывать неприглядное и даже разрушительное воздействие, особенно когда она вооружена мощью прессы: она способна распространять слухи и фабриковать факты, пользуясь недомолвками; она может нарушить право на неприкосновенность частной жизни и повредить чьей-то репутации. Кроме того, форум мнений, как раз потому, что он владеет умами людей, можно мобилизовать на объединение миллионов под одним флагом⁹⁷. Поэтому-то Алексис Токвиль писал об этой свободе так: «Я люблю ее го-

97. «В противоположность материальной силе сила мысли часто возрастает и благодаря малому количеству тех, кто ее выражает. Слово влиятельного человека, произнесенное твердо, в разгар страстей, перед замолкшим собранием, воздействует на общество сильнее, чем неясные выкрики тысячи ораторов». Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 149.

раздо больше за то, что она мешает злу осуществляться, нежели за те блага, которые она приносит»⁹⁸. Однако он тут же добавлял, что государственный контроль нельзя оправдать, поскольку власть, имеющая полномочия отделять плохую информацию от хорошей, неизбежно станет тиранической. Для обуздания свободы распространения новостей понадобился бы монопольный орган власти. Когда политическая власть ограничивает свободу слова и прессы, не остается пространства для умеренности, так что любое лекарство хуже болезни. Поэтому из своего анализа свободы прессы в США Токвиль сделал вывод, что единственная легитимная стратегия контроля власти прессы — это поддержка ее «невероятного распространения».

Следуя за Токвилем, в оставшейся части этой главы я буду руководствоваться такими критериями: плюрализм и широкий форум является условиями контроля правительства и в то же время защиты частного лица от «негативной» власти мнения; эти условия предполагают равное распределение среди граждан авторитета суждения и одновременно воли; наконец, свобода мнения не должна оправдываться своими результатами, сколь бы благими или желательными они ни были. Как и в случае защиты права, ее защита должна быть принципиальной, или за нее вообще не стоит браться. Это значит, что любое правовое вмешательство должно быть направлено на гарантию и, если нужно, восстановление условий плюрализма и равных возможностей граждан участвовать своими голосами и идеями в политической жизни своей страны. В последнем разделе главы я, соответственно, буду доказывать то, что процедурная интерпретация демократии содержит в себе нормативные условия, которые удовлетворяют этим критериям, а именно равной политической свободе, имманентности и самодостаточности.

98. Там же.

Политическое гражданское право

Хотя отношение между представительной демократией и свободой мнения «не очевидно», эта форма правления показала наличие «внутренней связи между свободой мнения и политической ролью гражданина»⁹⁹. Отправляясь от этой точки зрения, я буду доказывать то, что отождествление свободы слова и мнения с негативной свободой или свободой, не имеющей связи с характером правления, неудовлетворительно, поскольку оно ничего не говорит о том, что позволяет гражданам оказывать давление на правительство и контролировать его или призывать его к ответственности. Однако когда мы говорим, что представительная демократия — это правление, опирающееся на мнение, мы имеем в виду, что мнения играют политическую роль. Если парафразировать Макиавелли, князь должен «чувствовать», что на него воздействует народ, а народ должен «чувствовать» то, что он воздействует на князя¹⁰⁰.

Если проследить логику диархии, мы поймем, что, в противоположность другим негативным свободам, свобода слова — это та свобода, защита которой может потребовать наличия активного государства (разумеется, даже обычные негативные права, например, право на собственность, требуют государственного действия или «ощутимой поддержки налогоплательщиков», а также сложного институционального аппарата)¹⁰¹. Оуэн М. Фисс несколько лет назад написал, что невмешательство, возможно, не является лучшей стратегией

99. *Manin*. Principles of Representative Government. P. 168–169.

100. *Макиавелли Н.* Государь // Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М.: Пушкинская библиотека, АСТ, 2004. С. 106.

101. *Sunstein C. R.* Designing Democracy: What Constitutions Do. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 222–223.

в случае права, которое, несомненно, является индивидуальным, но при этом обладает прямым политическим значением: «Защищать автономию, выстраивая зону невмешательства вокруг индивида... — это примерно то же, что проводить публичный спор, в котором господствуют, а потому и ограничивают его некоторые силы, доминирующие в социальных структурах, так что такой спор не может быть „непринужденным, здравым и широким“»¹⁰². Следовательно, важное следствие диархического характера демократии в том, что свобода слова — это двойственное право, у которого, как у Януса, два лица — негативное и индивидуальное (защита от власти), а также позитивное и политическое (формирование политических мнений).

Конечно, призыв к свободе мнения первоначально был направлен на защиту индивидуальной свободы. В частности, он родился в качестве способа отстоять религиозную свободу или свободу совести перед лицом секулярной и церковной власти, выступая в качестве условия не только общественного мира, но также свободной и искренней религиозной или духовной практики¹⁰³. К этому праву обращались, чтобы установить негативную свободу особого рода, которая бы ограничивала власть через утверждение того, что определенная часть жизни индивида относится исключительно к его частной юрисдикции или воле. Однако приобретение этой первой негативной свободы превратило общество в место различных мнений, религий и т.д. Тех-

102. *Fiss O. M.* Free Speech and Social Structure // *Iowa Law Review*. 1986. Vol. 71. P. 786.

103. *Locke J.* A Letter Concerning Toleration (1685) // *Political Writings* / D. Wootton (ed.). New York: Merton, 1993. P. 396. Cp.: *Forst R.* Pierre Bayle's Reflexive Theory of Toleration // *Nomos XLVIII*. P. 78–113; *Waldron J.* Locke: Toleration and the Rationality of Persecution // *Justifying Toleration: Conceptual and Historical Perspectives* / S. Mendus (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 61–86; *Katznelson I.* Liberalism's Crooked Circle: Letters to Adam Michnik. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 145.

нологическое изобретение — книгопечатание — усилило воздействие индивидуальной свободы, позволявшей формировать идеи по религиозным и иным вопросам, выражать их и обмениваться ими¹⁰⁴.

Мне не нужно заново излагать историю борьбы за свободу вероисповедания и свободу слова, чтобы доказать свой тезис. Достаточно напомнить о том, что с началом гражданской войны в Англии право на свободу слова и свободу прессы приобрело подлинное политическое значение — как раз в тот момент, когда эти свободы были утверждены в качестве гражданских прав. Республиканцы и революционеры придали этим правам смысл политического сопротивления официальной власти, представили их в качестве средства разоблачения и развенчания *arcana imperii*, а также инструмента исследования и поиска истины. Их негативный или защитный характер положил начало контролю над правительством и давлению на него, став политическим правом гражданина. Джон Милтон, один из наиболее авторитетных участников ранних битв вокруг свободы мнения, защищал свободу нелицензированной печати во имя открытого процесса дискуссии, который должен изменить природу власти, как политической, так и религиозной, а также и саму природу свободы¹⁰⁵. В «Ареопагитике» он включил аргумент о свободе слова в республиканскую парадигму, противопоставляющую свободу рабству: «Когда споры предаются свободной огласке, когда они всесторонне рассматриваются и быстро удовлетворяются, значит достигнут высший предел гражданской свободы, к которому стремятся разумные люди»; противоположностью является тирания, подавление голоса обществен-

104. Ср.: *Starr P.* The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications. New York: Basic Books, 2004, особенно P. 23–46.

105. «Это совершенно нетрадиционная идея — считать общественное несогласие творческой силой». См.: *Holmes.* Passions & Constraint. P. 33.

ности¹⁰⁶. Задачей Мильтона была защита гражданских свобод, и хотя его нарративная стратегия была классически республиканской, его предложение оказалось вполне современным — он требовал защищать динамику несогласия как условие и признак свободы и одновременно интеллектуального совершенствования как индивида, так и общества.

С тех пор гражданские права играют важную политическую роль, хотя они никогда напрямую не превращались в политическое участие¹⁰⁷. Их косвенная или «негативная» власть с самого начала рассматривалась как качество, которое по своему характеру является антиитерационным, поэтому с политической точки зрения они требовали отстаивать такое правление, которое должно проверяться и контролироваться — как институтами и правилами, так и силами граждан, его инспектирующих. Через несколько столетий после Мильтона Ганс Кельзен, а потом и Хабермас подчеркнули необходимую связь между негативной и политической свободой, доказывая наличие внутреннего отношения между индивидуальными правами и демократией¹⁰⁸. Следова-

106. *Milton J. Areopagitica // Areopagitica and Other Works / C. E. Vaughan (ed.). London: Dent and Dutton, 1950. P. 2.*

107. Объясняя то, как сторонники республики использовали понятие гражданской свободы в «строгом политическом смысле», Скиннер привлек внимания к тому, что обычно они относят к таким свободам «свободу слова, свободу передвижения и свободу заключать договоры и часто обобщают их в форме требования, чтобы граждане имели равные права на законное наслаждение своими жизнями, свободами и состоянием». *Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. С. 29–30.*

108. Права, нужные, чтобы демократическая процедура работала правильно (то есть в соответствии с базовыми процедурными условиями анонимности, нейтральности, положительной ответственности и решаемости), должны считаться внутренними для демократии. См.: *Habermas J. Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy / W. Rehg (trans.) Cambridge, MA: MIT Press, 1996. P. 82–131 (Chap. 3).* Хотя,

тельно, классические гражданские свободы, от свободы религиозной совести до свободы речи и собраний, являются основанием для демократии, поскольку они существенны для формирования двух условий, без которых демократий не было бы, а именно: наличия у граждан доступа к политической информации и возможности всегда, а не только во время избирательной кампании или же в случайном совпадении с отправлением их суверенной воли, свободно выражать и распространять свои мнения о правительстве (то есть критиковать его и открыто выражать свое несогласие)¹⁰⁹.

Из того факта, что представительная демократия является правлением посредством мнения, вытекает два следствия, одно запрещающее, а другое утверждающее: мнение ограничивает правление и в то же время основывает его на свободе. Публичное обсуждение превращает общий интерес в коллективную конструкцию граждан, в результат непрерывного переубеждения и компромисса, который никогда не приводит к окончательному вердикту (неважно, насколько хорошему или правильному). В этом всеобщем процессе несогласие столь же важно, как согласие; критика действует в качестве стабилизирующей силы политической свободы не меньше, чем общая убежденность в некоторых базовых принципах, например тех, что были воплощены в Билле о правах или конституции. Следовательно, «негативную» власть мнения можно описать и как укрепляющую силу, и как индикатор положения «объединяющей силы», связывающей граждан с избранниками.

будучи увековечены в конституции, они ограничивают работу демократии и ее результаты, но тем не менее гарантируют демократическую природу процесса и его непрерывность. Аргументацию такого рода см. в: *Ely J. H. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980; *Holmes S. Precommitment and the Paradox of Democracy // Constitutionalism and Democracy / J. Elster, R. Slagstad (eds)*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 195–240.

109. *Kelsen. General Theory of Law and State*. P. 287–288.

Как говорит Бэйкер, функция публичного форума мнения в современной демократии — это «эгалитарное распределение» (которое выражает принцип плюрализма и антимонопольности) и в то же время «инклюзивный общий дискурс»¹¹⁰. Это посылка, на которую опирается двойное значение общественного мнения — с одной стороны, критической и контролирующей силы, а с другой — объединяющей силы легитимности. И это та самая посылка, которая оправдывает правовое вмешательство ради защиты равной свободы на форуме.

Барьеры, возможности и самоустранение

Демократия началась с заявления Солона о том, что побеждать следует посредством убеждения, а не денег, силы или семейных связей. «Граждане выходят на форум, не имея ничего, кроме своих аргументов»¹¹¹. В современной устоявшейся демократии «мы можем считать само собой разумеющимся, что демократический режим предполагает свободу слова и собраний, а также свободу мысли и совести»¹¹². Такое отношение к ним как к данности способно скрыть их силу и одновременно хрупкость. В считающемся сегодня классическом исследовании места единогласия и конфликта в функционировании небольших демократических организаций Джейн Дж. Мэнсбридж указала на то, что условия, в которых равная власть считается необходимостью, возникают тогда, когда ясно, что эти свободы отсутствуют или сокращаются и когда есть соответствующее их восприятие. Мэнсбридж добавляет к этому, что неравенства сами по себе не являются проблемой,

110. *Baker. Media Concentration and Democracy.* P. 9.

111. *Walzer. The Spheres of Justice.* P. 304.

112. *Ролз Дж. Теория справедливости.* Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. С. 202.

если никто не воспринимает их в качестве проблемы и если у каждого есть возможность «осуществлять равную власть», то есть если все члены [организации] считают, что обладают «равной властью, которую они могут применить, „стоит им только захотеть“»¹¹³. Именно поэтому процедуры представляют ценность, а люди считают себя независимыми даже тогда, когда повинуются законам, которые были приняты большинством или выборным парламентом¹¹⁴. Я предлагаю применять различие между «равными возможностями» и «достижением» равенства к процессу формирования мнений. Как и в случае полномочного волеизъявления, чем слабее возможность граждан участвовать в фору-ме или чем более слабой она ощущается, тем важнее им эта возможность.

Проблема — не конфликт сам по себе или неравная власть как таковая. Гораздо более тревожная проблема — ощущение гражданами того, что у них нет «равных шансов направить движение своей организации в предпочтительную для них сторону», что у них нет власти или что их действия не влияют на публику в той же мере, что и действия других¹¹⁵. Снижение в устоявшихся демократиях доли граждан, принимающих участие в выборах, — тревожный сигнал: гражданам, вероятно, кажется, что у них нет шанса повлиять на политическую жизнь в своей стране; что они не равны в управлении властью мнения, хотя у них и есть равные избирательные права, а также свобода слова

113. *Mansbridge J. J. Beyond Adversary Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 1983. P. 234–235.

114. Общая воля у Руссо опирается на детерминистское использование нормы, которое похоже на использование у Монтескье понятия духа (*esprit*) или Конституции. Прекрасный анализ гипотетического основания общей воли у Руссо см. в: *Leoni B. Scritti di scienza politico, e teoria del diritto* / M. Stoppino (ed.). Milan: Giuffrè, 1980. P. 70–72.

115. *Mansbridge. Beyond Adversary Democracy*. P. 235.

и печати; другими словами, что власть избирателя оказывается в любом случае пустой, если эта власть изолирована¹¹⁶. Они стремятся не к уравниванию социальных условий, но к блокированию их *перевода* в политический голос и власть. И это урок, который демократия преподнесла еще в самом начале, когда Солон, освободив задолжавших граждан своего города от власти кредиторов, попытался дать им равные шансы на участие в политической власти, поскольку полагал, что это лучший способ гарантировать то, что они не подпадут под владычество богачей. Следовательно, демократические решения должны воздействовать именно на препятствия, мешающие политическому равенству и участию, разоблачая их и стремясь их устранить. В своем обращении 1920 года о «Новом национализме» Теодор Рузвельт сформулировал похожие идеи, когда он, заметив, что право на собственность «не дает избирательного права какой бы то ни было корпорации», заявил: «Необходимо, чтобы были приняты законы, запрещающие прямое или косвенное использование корпоративных средств для политических целей... Если бы наши политические институты были совершенны, они бы вообще не допускали политического господства денег в любом из наших дел»¹¹⁷.

Барьеры, мешающие участию, как прямые, так и косвенные, должны быть не слишком высокими, хотя их и не следует арифметически уравнивать; важно, чтобы люди знали и верили в то, что при некотором усилии они могут преодолеть их (именно это Руссо имел в виду, утверждая, что *l'opinion*, записанное в «сердцах» людей, является движущей энергией общей воли, записанной в институтах и процедурах). Добровольный характер участия в политической жизни должен

116. Przeworski A. Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 218–221.

117. Roosevelt T. The New Nationalism / E. H. Abbott (introduction). New York: The Outlook Company, 1910. P. 13–14.

работать в качестве стимула и напоминания об имеющейся у граждан власти, а не как фаталистическое препятствие действию. Конечно, неравенство в богатстве не должно быть слишком большим. Однако чтобы политическое равенство сохранялось, его не обязательно устранять, главное, чтобы люди знали и верили в то, что их неравные экономические силы не станут причиной того, что их политический голос не будет услышан. Не должно быть ощущения, что использовать процедуры бесполезно; самоустранение с форума и из процесса выборов не должно казаться удобным решением.

Превращение политики в форум мнений усиливает значение политического присутствия (или отсутствия) граждан. Поскольку мнения могут влиять на решения людей, они становятся весьма привлекательны для политических лидеров, которые пытаются использовать форум лишь для того, чтобы завоевать популярность, а не для обнародования собственных поступков: мир мнения может превратить публичность в стратегию сокрытия и в средство укрепления идеологического согласия, которым политики пользуются в обход электорального согласия. С другой стороны, он может стать привлекательной силой для социальных и экономических групп, которые надеются задать политическую повестку, повлиять на дискуссии в рамках институтов и на законодателей. Неизбежное расхождение, порождаемое тогда, когда присутствие определяется голосом, может значительно увеличиться вследствие неравных возможностей использовать средства информации и коммуникации. Рональд Дворкин придал этому аргументу элегантную форму, указав, что сегодня ключевой вопрос — уже не свобода слова как право частного лица, но свобода слова как участие в работе демократии. Если мы соглашаемся с тем, что демократия — это диархия, тогда следует предусмотреть правовое вмешательство, которое сократит влияние частных денег в политике и восстановит принцип равенства

в политической свободе, помешав могущественным частным лицам и корпорациям приобретать слишком влиятельный голос¹¹⁸.

Несбалансированная власть голоса

Существующие социально-экономические барьеры для диархического гражданства противоречат демократическому принципу равенства политической свободы, даже если мы не можем совершенно убедительно «доказать» то, что они так или иначе влияют на политические решения, поскольку именно «согласие большинства, а не дискуссия, определяет закон»¹¹⁹. Федералисты, несмотря на свое чрезмерное внимание к угрозе, которую для стабильности представляли неимущие, ясно понимали то, что различия в богатстве и культурное неравенство могут оказывать огромное влияние на положение дел в республике, поскольку представительство структурно опирается на различие или неравенство граждан в ораторских навыках и способностях. Джеймс Мэдисон высказывал озабоченность угрозой, исходящей от бедных, но он же упоминал и ту опасность для здоровья республики, которую представляют собой богатые¹²⁰. Но поскольку он был республиканцем, больше всего его беспокоила коррупция, а не политическое неравенство.

Однако в демократии защита политических институтов от коррупции — это защита политического равенства, и отсюда вытекают два момента: защита «до-

118. *Dworkin*. Sovereign Virtue. P. 351–354.

119. *Manin*. Principles of Representative Government. P. 190.

120. *Madison J.* Speech in the Federal Convention on Suffrage (1787) // Writings. New York: Library of America, 1999. P. 132–133; Property and Suffrage: Second Thoughts on the Constitutional Convention (1821) // The Mind of The Founder: Sources of the Political Thought of James Madison / M. Meyers (ed.). Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1981. P. 399–400.

стоинства системы политического представительства» и гарантия «честного доступа к публичной арене на каждой стадии политической конкуренции, предоставляемая кандидатам, имеющим право участвовать на этой стадии»¹²¹. На эти моменты указывает озабоченность ходом споров вокруг реформы финансирования кампаний в США, заметная, когда Верховный суд и федеральные суды используют аргумент о коррупции для описания «разрушительного влияния корпоративного богатства» или «ненадлежащего влияния», которое может оказывать неравное «политическое присутствие» в форуме, пусть даже у корпораций нет явного плана или намерения использовать такое присутствие и даже если речь не равнозначна голосованию¹²². «Ненадлежащее влияние» обозначает диспропорциональное неравенство ресурсов, имеющихся у некоторых кандидатов вследствие диспропорционального неравенства ресурсов, которые есть у некоторых граждан. Ощущение бессмысленности демократических институтов, которое может появиться у ущемленных граждан, следует интерпретировать не как разоблачение дефицита демократии, но как признание нехватки власти или же как доказательство того, что социальное неравенство переводится в неравное политическое влияние¹²³. Как показал Чарльз Бейц, вопрос о неравенстве политического влия-

121. *Beitz*. Political Equality. P. 203.

122. *Dawood J.* Democracy, Power, and the Supreme Court: Campaign Finance Reform in Comparative Context // *International Journal of Constitutional Law*. 2006. Vol. 4. P. 278. Дэйвуд, в частности, ссылается на решения Верховных судов США по делам «*Bukley v. Valeo*» и «*McConnell v. EEC*», а также на другие решения судов штатов по делам, касающимся роли корпоративных финансов в политике.

123. «Система финансирования кампаний посредством частных взносов ставит в невыгодное положение граждан, которые и так уже ущемлены». *Gutmann A., Thompson D. F.* Democracy and Disagreement. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University, 1996. P. 134.

ния является сложным и открытым для различных интерпретаций, сталкивающимися друг с другом — во-первых, по причине сложности принципов «политического равенства» и «политического влияния», а во-вторых, потому, что он приобретает разный смысл в зависимости от того, как его рассматривать, в связи с гражданами, желающими выразить свое мнение, или же кандидатами, которые претендуют на равные конкурентные условия¹²⁴.

Если Верховный суд США использовал выражение «ненадлежащее влияние», значит предполагалось, что основание демократии — это политическое равенство, и не только в сфере голосования. Выражение «ненадлежащее влияние» указывает также на то, что должна существовать *максима демократического влияния*, ориентирующая политические суждения и решения. Опираясь на эти посылки, Ч. Эдвин Бэйкер предложил убедительный в теоретическом плане аргумент, оправдывающий защиту правительством плюрализма в области информации и коммуникации: «Та самая эгалитарная ценность, что воплощена в равном праве людей на самоуправление и... в урне для голосо-

124. *Beitz*. Political Equality. P. 194–195. Бейц подверг детальному анализу следствия, вытекающие из двух подходов к защите равенства политического влияния — того, что соответствует «обособлению» институтов от социальных интересов, и того, что стремится противодействовать формированию социального неравенства, чтобы уже в самом начале блокировать потенциал неравного политического влияния. Как он верно заключает, процедурная концепция демократии больше соответствует первому подходу, чем второму. Однако если мы следуем этому первому подходу, то должны выбирать между поддержанием равновесия среди кандидатов, которое позволит им состязаться честно, и предоставлением избирателям шанса вступить в борьбу, если они решатся на это. Споры о финансировании избирательных кампаний в США сосредоточены на первом варианте, тогда как более радикальная концепция политического равенства в представительном правлении заинтересована также и во втором. См.: *Ibid*. P. 196–197.

ния, имеет значение также и для публичной сферы»¹²⁵. Такова цель, которая задается максимой демократического влияния, которую можно расширить на оценку участия граждан в сфере формирования мнений в целом, ради защиты плюрализма медиа от концентрации собственности и одновременно ради защиты политического равенства от «ненадлежащего» влияния. «Медиа, как и выборы составляют главный шлюз между формированием общественного мнения и формированием „государственной воли“». По этой причине «страна является демократической только в той мере, в какой и медиа, и выборы являются структурно эгалитарными и политически значимыми»¹²⁶. То же самое можно сказать о финансовом вкладе в политические кампании или о частных деньгах в политике, которые выступают попыткой монополизировать ресурсы мнения. Максима демократического влияния согласуется с диархическим характером представительной демократии, поскольку она обращает внимание на защиту «цепочки общения» между гражданами и институтами, создающей публичное и политическое мнение. Задача этой максимы — заставить граждан и законодателей признавать и разоблачать «ненадлежащее влияние»; она утверждает, что демократическое правление должно требовать равного внимания и уважения со стороны законов и должностных лиц, а также равного внимания к возможностям граждан оказывать «влияние» на политический процесс. В соответствии с предпосылкой о мнении как форме суверенитета, максима демократического влияния выступает руководящим принципом для суждений и решений по вопросам, которые относятся к обстоятельствам формирования мнения и являются вопросами политической справедливости.

125. *Baker. Media Concentration and Democracy. P. 7.*

126. *Ibidem.*

У каждой страны есть своя история посягательств на равенство, которые нуждаются в выявлении, разоблачении и устранении. Применение максимы демократического влияния к США повлекло бы перемены в логике невмешательства, которая родилась из «романтического представления о Первой поправке» как условия «рынка идей»¹²⁷. Этот вывод можно признать обоснованным, если рассмотреть вышеупомянутый аргумент Верховного суда о том, что «ненадлежащее влияние» — это причина коррупции, поскольку оно является нарушением равного «политического присутствия». И здесь выявляется и разоблачается та коррупция, что подрывает саму ценность равного гражданского участия, а не добродетель или какое-то иное благо, которое превосходит положение каждого гражданина в республике. В демократии коррупция — это, собственно говоря, нарушение принципа равенства политической свободы.

Кроме того, неравные возможности политической защиты интересов и идей должны оказать негативное влияние на убежденность граждан в равных возможностях участия. Это может привести к разрушению ценности демократии в мнениях граждан, а также убедить их в том, что бессмысленно идти на выборы, что, проголосовав за кандидата, они не почувствуют, что их взгляды стали более известными и более влиятельными. Подрыв доверия к работе институтов способен стать заметной угрозой представительной демократии, которая не может опираться на «глашатая» как средство информации и коммуникации, а должна, напротив, опираться на множество агентов-посредников. В силу косвенной формы политического неравенства (вытекающей из косвенной формы политической свободы), граждане, в социально-экономическом плане ущемленные и маргинализированные, порой лишаются того, что должно давать им голосование, а именно опоры в обществе и в ин-

127. *Barron J. Access to the Press — A New First Amendment Right // Harvard Law Review. 1966–1967. Vol. 80. P. 1643.*

ститутах, в которых принимаются законы¹²⁸. Сегодня количество людей, которые «вынужденно молчат», поскольку они «социально исключены» и лишены политического значения, достаточно велико, чтобы граждане начали беспокоиться о будущем демократии. То, что Роберт Э.Гудин написал об иммигрантах, лишенных избирательного права, можно распространить на бедных и беспомощных граждан, которые в своем собственном политическом мире находятся на той же дальней периферии, что и иммигранты в большом мире: «Те, кто больше всего нуждаются в праве на высказывание, на кого больше всего влияют наши действия и решения, слишком часто оказываются в положении, в котором им труднее всего донести до нас свои чаяния. Действие на расстоянии (вред, который мы им причиняем) оказывается в современном мире гораздо более простым, чем голос на расстоянии (жалобы на причиненный ущерб, с которыми они к нам обращаются)»¹²⁹. Тре-

128. Основываясь на это размышление, распространенное в современном конституционализме, который больше заботится об ограничении бедного большинства, а не богатого меньшинства, Джон П. Маккормик подчеркивал необходимость разработки новых институциональных форм, например, таких как «трибунал», для защиты первого не столько от государственных властей, сколько от богатых граждан. См.: *McCormick J. P. Contain the Wealthy and Patrol the Magistrates: Restoring Elite Accountability to Popular Government // American Political Science Review.* 2006. Vol. 100. P. 143–147.

129. *Goodin R. E. Reflective Democracy.* Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 14. Как было доказано в одном глубоком исследовании роли общественного мнения в росте равенства в США, тезис, согласно которому американская публика против программ по снижению неравенства, ничем не подкрепляется. В действительности, в исследовании того, как голосуют сенаторы в отношении к требованиям избирателей, Ларри Бартелс показал, что и сенаторы-республиканцы и сенаторы-демократы значительно более ответственны перед группами с высоким доходом, чем перед группами со средним или низким доходом: «Нет никаких доказательств реагирования на взгляды беднейшей трети их избирателей, даже среди демократов». См.: *Bartels L. V. Eco-*

важный факт устоявшихся демократий состоит в том, что многие граждане похожи на бесправных иммигрантов, если говорить об эффективности их «голоса на расстоянии», а также «действия на расстоянии».

Следовательно, в представительной демократии легко формируется политическое исключение: граждан не слышат, они на самом деле не представлены, хотя у них есть равное избирательное право, а силу влияния на законодателей едва ли можно «проверить»¹³⁰, притом что, как недавно заявил в своем мнении большинства по делу «SpeechNow.org v. Federal Election Commission» судья Верховного суда Энтони Кеннеди, нет доказательств того, что частные деньги в избирательных кампаниях «порождают коррупцию или видимость коррупции», поскольку «влияние на избранных официальных лиц или доступ к ним не означают, что эти лица коррумпированы»¹³¹. Однако «существует значительный объем систематических, хотя и косвенных данных, подтверждающих, что финансовая поддержка со стороны групп интересов связана с законодательными результатами, работающими на эти интересы»¹³². Кроме того, хотя судья Кеннеди ставит под вопрос причинно-следственную связь между влиянием и коррупцией, следует вспомнить о том, что замена добродетели и социально-исторической случайности нормативными принципами и процедурами была величайшим вкладом современного конституционализма в демократию, который противники регулирования финансирования кампаний в США,

conomic Inequality and Political Representation // *The Unsustainable American State* / L. Jacobs, D. King (eds). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 181.

130. См.: Plotke D. Representation Is Democracy // *Constellations*. 1997. Vol. 4. P. 19; Young I. M. Deferring Group Representation // *Ethnicity and Group Rights: Nomos XXXIX* / I. Shapiro, W. Kymlicka (eds). New York: New York University Press, 1997. P. 352.

131. New York Times, March 26, 2012 (editorial).

132. Beitz. Political Equality. P. 205.

похоже, недооценивают, когда требуют, чтобы им предоставили эмпирические подтверждения коррупционного влияния этого финансирования на избранных официальных лиц. Средства *post factum* не были мудрой политикой, а потому были созданы процедуры, чтобы дать политической системе условия *ex ante*, позволяющие нейтрализовать дурное поведение. Однако эти противники — в показательном деле «Buckley v. Valeo» (1976), в котором рассматривалось финансирование кампаний, за которым последовали дела «Citizens United v. Federal Election Commission» (2010), а потом и «Speech Now.org v. Federal Election Commission» (2012) — постоянно отрицали то, что рассматриваемое поведение, связанное с деньгами и политической властью, ведет к коррупции.

Таков подход судьи Кеннеди в деле «Citizens United», но его утверждение, что значительные независимые расходы корпораций, создающие видимость особого доступа к официальным лицам, «не заставят избирателей потерять веру в нашу демократию», несколько не убеждают¹³³. Однако «угроза коррупции, проистекающая из зависимости от частных пожертвований, состоит именно в том, что выполнение важной представительной

133. Citizens United v. Federal Election Commission. 2010. Р 44. Среди недавних критических комментариев по этому решению см.: Dworkin R. The Decision that Threatens Democracy // New York Review of Books. 2010. May 12; Toobin J. Annals of Law: Money Unlimited: The Chief Justice and Citizens United // The New Yorker. 2013. May 21. Р. 36; Bezanson R. P. No Middle Ground? Reflections on the Citizens United Decision // Iowa Law Review. 2011. Vol. 96. Р. 649–667. Верховный суд несколько раз передавал дело в суд Остина, который отменил решения по делам «Buckley v. Valeo» (1976) и «First National Bank of Boston v. Bellotti» (1978) и «определил новый интерес правительства к ограничению политического слова — интерес к отсутствию искажений». Остин признал убедительным государственный интерес к предотвращению «разлагающего и искажающего влияния огромных богатств, накопленных при помощи корпоративных инструментов и способных соотноситься с поддержкой обществом политических идей корпорации лишь в малой мере или не соотносится вовсе» (Р. 31–32).

функции [законодательное обсуждение] будет нарушено. Тот факт (если он имеет место), что пожертвования влияют на голоса законодателей лишь частично, вряд ли может стать причиной для благодушия»¹³⁴. Деннис Ф. Томпсон предложил поэтому понимать эти изощренные способы коррумпирования представителей без очевидных свидетельств коррупции, как «опосредованную коррупцию», при которой официальные политики не имеют личной выгоды, однако, будучи представителями нации, активно участвуют в обслуживании частных интересов. Такое участие наносит демократическому процессу вред как на стадии избирательной борьбы (поскольку оно создает условия для искажения результатов выборов), так и на стадии парламентского решения¹³⁵.

Судья Кеннеди не приводит никаких данных, которые были бы получены Конгрессом или другими источниками и подтверждали бы его заверения; тем не менее он приходит к выводу, что единственная причина, по которой корпорации или кто-либо другой готов тратить деньги, чтобы повлиять на публику, состоит в том, что последняя обладает «окончательным влиянием» на официальных политиков. Его вывод нацелен на уравнивание корпораций в гражданских и политических правах с гражданами как физическими лицами. Однако он не может доказать полное отсутствие данных о том, что американцы в последние годы потеряли веру в демократический потенциал своей политической системы и сомневаются в том, что их равные избирательные права дают им возможность сколь-нибудь ощутимо влиять на институты и представителей¹³⁶. Кроме того, общеизвестным историческим фактом является то, что билли

134. *Beitz*. Political Equality. P. 205.

135. *Thompson D. F.* Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business, and Healthcare. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 162.

136. Ср., например: *Hibbing J. R., Theiss-Morse E.* Stealth Democracy: Americans Beliefs about How Government Should Work. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

о правах и конституции были написаны и приняты, когда отношение между политической властью и гражданским обществом, наконец, укрепилось и устоялось, так что такие конституции были признаком появления у субъекта возможности свободно влиять на власть выборных должностных лиц и в то же время контролировать ее.

Отношение между решением и обсуждением, составляющее диархию демократии, достаточно очевидно указывает на то, что, хотя только голоса имеют значение, а «само по себе публичное обсуждение ничего не решает», законодатели и граждане могут найти немало исторических и эмпирических данных, если пожелают доказать наличие этой связи между социальной властью и политическим влиянием вне и за пределами формального события выборов. Решение Верховного суда США от 2003 года, одобряющее проводимую Конгрессом реформу финансирования кампаний, подтверждает идею диархической природы демократии и максимум демократического влияния. Если говорить словами верховных судей Стивенса и О'Коннора, хотя тайное голосование не позволяет нам получить «конкретные подтверждения» того, что «деньги покупают влияние», это голосование не является достаточным индикатором состояния демократии, поскольку, собственно, это не единственная форма, которую принимает голос народа. «Конгресс не обязан игнорировать исторические данные, относящиеся к той или иной особой практике, или рассматривать поведение отдельно от его контекста». Короче говоря, мнение — это власть и тогда, когда оно используется для продвижения политической программы или финансирования кандидата, и тогда, когда оно применяется гражданами для выражения своего несогласия с мнением большинства или для запроса более полной информации по деятельности правительства. В результате всего этого равные возможности участия в суверенитете мнения становятся щекотливым вопросом, хотя нет доказательств того, что влияние на мнение отражается в решениях.

Максима демократического влияния основывается на идее представительной демократии как диархии. Она признает то, что политическое участие в представительной демократии является комплексным и означает не только выбор законодателей, но и опору на эффективных представителей, выступающих проводниками интересов как вне, так и внутри государственных институтов; короче говоря, оно означает наличие равных возможностей участия в публичном форуме в роли избирателей и граждан¹³⁷. Кроме того, она закрепляет нормативное значение демократического процедурализма в его безупречной способности опираться на равную свободу и воспроизводить ее. Наконец, она указывает на то, что демократическое правление должно ощущать ответственность за такое регулирование публичного форума мнений, которое наконец гарантировало бы всем равные возможности оказывать определенное влияние на политическую систему, даже если:

- а) не все желают использовать эту возможность;
- б) те, у кого больше материальных средств для оказания политического влияния, воздерживаются от их применения;
- в) избранные политики достаточно добродетельны, чтобы не отвечать на давление влиятельных граждан.

Коммуникативная власть

«Для того чтобы общественный форум был свободен, открыт для всех и заседал постоянно, каждый должен иметь возможность получать от него пользу... Свобо-

137. *Strolovitch D.* Affirmative Advocacy: Race, Class, and Gender in Interest Group Politics. Chicago: University of Chicago Press, 2007. P. 200–212. О формировании выборов, позволяющих гражданам контролировать политических деятелей и влиять на них, см.: *Powell G. B. jr.* Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New Haven, CT: Yale University Press, 2000. P. 4–7.

ды, защищенные принципом участия [то есть всеобщим избирательным правом], теряют значительную часть своей ценности, когда тем, кто имеет большие личные средства, позволяется использовать свои преимущества для контроля над ходом общественного обсуждения. Дело в том, что в конце концов эти неравенства позволят людям, находящимся в лучшем положении, оказывать большее влияние на ход законодательного процесса»¹³⁸. Этой чеканной формулировкой Джон Ролз в 1971 году определил идею политической справедливости. В рассуждении Ролза перефразирована мысль, которая была широко распространена в первые десятилетия после Второй мировой войны и которую можно заметить в обсуждавшемся у Роберта Даля условии, необходимом для достижения политического равенства, а еще раньше — в позиции Джерома Баррона, полагавшего, что «существует неравенство в способности сообщать свои идеи, точно так же как есть неравенство в экономической силе; признавать последнее и отрицать первое — попросту идеализм». Баррон развивал эту мысль так: если мы признаем то, что политическое участие в демократии включает в себя и «коммуникацию идей», а не только голосование, мы должны также признать, что «публичная информация жизненно важна для появления информированных граждан», а демократический подход к свободе информации и к силе влияния должен предполагать не невмешательство со стороны государства, а политику регулирования или вмешательства, нацеленное на устранение барьеров, закрывающих гражданам доступ к этим средствам. Применяя к медиакоммуникации или силе влияния принцип Ролза, согласно которому процедурные правила являются самостоятельной и независимой ценностью, поскольку в качестве «чистого процесса» они обеспечивают возможность равной свободы, Бэй-

138. Ролз Дж. Теория справедливости. С. 202.

кер разрабатывает принцип демократического рассредоточения для коммуникативной власти, требующий «максимального рассредоточения собственности на медиа»¹³⁹. Это нормативное требование, которое не обязательно обосновываться эмпирическими данными. Его оправдание «состоит в том, что оно допускает формирование публичного форума, на который опирается демократия, то есть в признании того, что власть денег — это фактор, который дает нечестное преимущество в отправлении политической власти, несмотря на то, что каждый голос формально обладает одним и тем же весом, а каждый гражданин формально может распоряжаться одним и только одним голосом. Демократический политический порядок *отчасти* предполагает борьбу разных групп, у каждой из которых свои проекты и интересы, свои нужды и своя концепция желательного общественного мира»¹⁴⁰. Эгалитарные условия важны для того, чтобы у всех граждан была возможность участвовать в формировании, обнародовании и разработке этих взглядов.

Все теоретики демократии, какова бы ни была их концепция — чисто процедурная, конституциональная или партиципативная, утверждают, что конкуренция идей и политических взглядов является фундаментальным условием для формирования мнений граждан и их выбора. Поскольку демократическое государство не должно интересоваться регулировкой количества поданных голосов, оно должно быть заинтересовано в обеспечении того, что «в республике, где суверен — народ, главную роль будет играть способность граждан делать информированный выбор между кандидатами»¹⁴¹. То, что Уолтер Липпман неодобрительно именовал «псевдосредой», расположенной «между че-

139. Baker. Media Concentration and Democracy. P. 7–9.

140. Ibid. P. 8.

141. «Citizens United v. Federal Election Commission» (2010). P. 23.

ловеком и его средой»¹⁴², в демократии является политическим благом, областью, в которой осуществляется политическое участие; также это парадигматическая территория конфликта между политикой и сферой публичного и частными интересами и сферой социального. Именно на этой территории в современной демократии идет борьба — скорее за политическое равенство, чем за избирательное право.

Цепочка косвенности

Таким образом, мы прояснили политическое значение свободы слова, причины, по которым мнение в современной демократии является политической силой, а правовое вмешательство ради равной свободы на форуме является оправданным. Теперь мы можем обратиться к вопросу о «качестве» доксы или средствах, на которые опираются, формируясь и сообщаясь, мнения. В противоположность родственной суверенной власти, а именно избирательному праву, для формирования и выражения мнений граждан необходимо нечто большее их решения действовать.

Хотя мнение отождествляется с голосом и решением индивида высказать то, что он думает, на самом деле оно опирается не только на голос и решение индивида его использовать. Права свободы слова и свободы мнения отправляются при помощи технических средств, и эти *косвенные материальные средства* способны стать новым источником неравенства¹⁴³. В самом деле, чтобы

142. Липпман У. Общественное мнение. С. 38.

143. Необходимость материальных ресурсов как основы любой публичной сферы и, соответственно, проблема новой формы неравенства, определяемого экономическими преимуществами, влияющими на выработку общественного мнения, были подчеркнуты уже Хабермасом в его «Структурной трансформации публичной сферы». В этом заключается значение введенного

мнения были услышаны и стали влиятельными, граждане должны сделать некоторое дополнительное усилие помимо решения отточить свои риторические способности, мыслить свободно и говорить честно и открыто. Традиционно эти индивидуальные качества считались доказательством существования определенных форм естественного неравенства, которые не только не устраняются равным правом на участие в политической жизни, но еще больше усиливаются, получая возможность проявить себя и даже развиваться¹⁴⁴. Классическое описание демократии как правления, в котором индивиды используют *только* аргументы, является, следовательно, неадекватным, поскольку, хотя граждане не могут использовать деньги напрямую, средства, необходимые, чтобы их мнения получили публичный отклик, довольно дороги и для них нужны деньги. Если следовать идее Ролза о том, что пользование свободой состоит в пользовании одновременно «основными свободами и ценностью этих свобод», мы можем сделать вывод, что «без финансовых средств для осуществления права на свободу слова это право, судя по всему, не будет иметь никакой действительной ценности»¹⁴⁵.

Неравные личные качества, такие как хорошие риторические способности и приобретенные обучением на-

им различия между публичной сферой, с одной стороны, и государством и рынком — с другой. Как было отмечено Гарнемом, мы вынуждены спросить, «какие новые политические институты и новая публичная сфера могут оказаться необходимыми для демократического контроля глобальной экономики и политики». См.: *Garnham N. The Media and the Public Sphere // Habermas and the Public Sphere / C. Calhoun (ed.). Cambridge, MA: MIT Press, 1997. P. 362.*

144. Cp.: *Dworkin R. What is Equality? Part 4: What is Political Equality? // University of San Francisco Law Review. 1987. Vol. 22. P. 1–30.*

145. *Rawls J. Justice as Fairness: A Restatement / E. Kelly (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. P. 149.* Cp.: *Brettschneider C. When the State Speaks, What Should It Say? The Dilemma of Freedom of Expression and Democratic Persuasion // Perspectives on Politics. 2010. Vol. 8. P. 1014.*

выки политической игры, бледнеют в сравнении с неравной собственностью и контролем над средствами коммуникации. Хотя граждане демократии признают и приобретают равное право на политическое участие, это не гарантирует того, что они будут оказывать равное влияние на политическую повестку и лидеров, если их голоса не слышны за пределами узкого круга друзей и, кроме того, если у них нет сил выйти за этот круг¹⁴⁶. Технологические средства, действующие между правом на свободу слова и действительной «заметностью» мнений, — это ключевой фактор, который дополняет уникальность представительной демократии как правления посредством мнения¹⁴⁷. Вопрос о геополитическом размере современных государств — это важный фактор, который помогает объяснить эту уникальность: как известно, Аристотель полагал, что слишком большой полис не мог бы быть политическим сообществом, по-

146. «Совершенно определенно то, что политическое содержание масс-медиа, особенно сообщения о мнении демонстративно беспристрастных комментаторов и экспертов, обычно влияют на приоритеты общества и его предпочтения в политике... По меньшей мере важно помнить о той возможности, что более богатые и могущественные члены американского общества могли повлиять на мнения менее состоятельных, снизив общественную поддержку программ, которые позволили бы бороться с экономическим неравенством, а потому усилили неравенство в выражении политических мнений». *Schlozman, Page, Verba, Fiorina. Inequalities of Political Voice. P. 27.*

147. Хотя это не единственный фактор, из-за которого не равные в экономическом отношении граждане чувствуют, что их голоса «скорее всего ничего не значат», поскольку их представители больше прислушиваются к более могущественным в социальном плане гражданам. Так, Бартелс и другие авторы доподлинно установили, что выборные официальные лица придают «больше веса предпочтениям состоятельных избирателей из среднего класса, чем избирателей с низкими доходами», словно бы голос оценивался пропорционально экономической силе того социального класса, к которому принадлежит его носитель. *Bartels L. M. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. New York: Russell Sage Foundation; Princeton: Princeton University Press, 2008. P. 285–288.*

сколько не бывает глашатая с таким громким голосом, чтобы его услышал весь народ. Но тот тип косвенности, о котором мы говорим, не связан с размером.

Высказать мнение — не то же самое, что сделать его коммуникативным. «Коммуникация, — писал Никлас Луман, — возникает лишь тогда, когда кто-то видит, слышит, читает и постольку понимает, что здесь могла бы последовать дальнейшая коммуникация. Одно только действие, передающее сообщение, следовательно, еще не является коммуникацией»¹⁴⁸. Мнения, следовательно, связаны не только с самой речью, но и с совместной речью с другими, а когда общество достаточно широко, нам нужна кое-какая дополнительная помощь, чтобы сделать коммуникацию возможной. Как писал Кант: «Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообщая с теми, с кем обмениваемся своими мыслями!»¹⁴⁹. Кантовское обоснование коммуникации нашло дополнительную поддержку в словах судьи Верховного суда Таргуда Маршалла, который, выступая по делу «Kleindienst v. Mandel» (1972), заявил, что «свобода говорить и свобода слушать — неразделимы; это две стороны одной и той же медали... Но сама медаль — это процесс мышления и обсуждения. Деятель-

148. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 12. С точки зрения Эко и Бодрийяра, технологическая массовая коммуникация полностью ускользает от нашего контроля, так что мы в определенном смысле лишаемся коммуникации с другими, поскольку теряем способность занимать критическую дистанцию; коммуникация в большей степени поглощает нас, чем заставляет в чем-то участвовать. *Eco U. Travels in Hyperreality*. London: Picador, 1997. P. 140–51; *Бодрийяр Ж.* К критике политической экономики знака. М.: Академический проект, 2007. С. 240–260.

149. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 8. С. 102–103.

ность, в которой говорящие становятся слушателями, а слушатели — говорящими в живом обмене мыслями, — это средство, необходимое для открытия и распространения политической мысли»¹⁵⁰. Публичный форум — это такое средство коммуникации, и он предполагает не просто желание говорить и слушать. «Если людей не слышат и если они не говорят, и демократия, и дискуссия в опасности»¹⁵¹.

Право на свободу слова требует некоторых внешних материальных условий, которые позволяют нашим мнениям быть переданными в коммуникации, если последняя — это то, что мы желаем достичь посредством речи, то есть если речь должна служить публичной цели, а не ограничиваться дружеским кругом. (Таков же был смысл использованного Цицероном различия между *sermo* и *eloquentia*.) Для существования публики в большом полисе нужны определенные технические инструменты. Но средства коммуникации, являясь техническими устройствами, приносят с собой немалое затруднение, поскольку они зависят от денег, технических знаний и материальных факторов, которые в значительной мере обуславливают принцип прав и возможностей. В ранее процитированном решении судья Маршалл предполагал, что в вопросе о коммуникации не следует упускать из виду то, что «возможно, является частными качествами, присущими последовательным, проходящим при личном участии спору, дискуссии, опросу»¹⁵². Никто лучше Аристотеля не поможет нам понять

150. В решении по делу «Kleindienst v. Mandel» (1972), которое исследователи считают поворотным для интерпретации Первой поправки, поскольку оно предполагало рассмотрение коммуникации как права, хотя «защита» этого права не оказала «большого влияния в Суде». *Bezanson M. E. Kleindienst v. Mandel // Free Speech on Trial: Communication Perspectives on Landmark Supreme Court Decisions / R. A. Parker (ed.). Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2003. P. 181.*

151. *Sunstein. Designing Democracy. P. 155.*

152. *Bezanson. Kleindienst v. Mandel. P. 180.*

отношение между автономией суждения и «поведением», средствами коммуникации и конституционным правлением.

Аристотель, как известно, утверждал, что небольшой размер полиса и непосредственные отношения между гражданами в повседневной жизни — это ключевые условия политической свободы: «Государство с чрезмерно большим населением... скорее племенная единица, нежели государственная, так как ему нелегко иметь какое-либо правильное устройство. Действительно, кто станет военачальником такого до чрезвычайных размеров возросшего множества, кто будет глашатаем, если он не обладает голосом Стентора?». Глашатай считался ключевой фигурой, поскольку суждения граждан, не менее важные, зависели от него. Античная демократия отличалась не только тем, что ее граждане непосредственно участвовали в политике, но и тем, что они непосредственно судили и принимали решения в соответствии со своими «идеологическими предпосылками, стремясь к наиболее полному осуществлению своего собственного интереса и интереса государства»¹⁵³. Технические средства не вступали между людьми и их мнениями. Если парафразировать заявление Верховного суда по делу «Miami Herald v. Tornillo», существовал «подлинный рынок идей» с «достаточно легким доступом к каналу коммуникации». В современной же демократии «рынок идей» не открыт и не является действительно свободным рынком. «Газеты стали крупным бизнесом, причем их количество сильно уменьшилось, тогда как количество грамотных людей увеличилось», так что эти «средства» — это уже не просто

153. Аристотель. Политика, 1326b5–10. Т. 4. С. 597–598. См. также: Finley M. I. Democracy Ancient and Modern. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1985. P. 17–18; и Ober J. Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989. P. 118–119, 123–127, 134.

проводник, переносящий идеи и мнения, а силы, находящиеся «в руках у немногих», «информирующих» и «оформляющих общественное мнение» граждан. Вопрос теперь уже не просто в том, что не у всех есть равный доступ к «рынку идей», но в том, что у некоторых голос громче, чем у других, благодаря *материальному богатству*, которое у них есть и которое они могут использовать для усиления своих голосов и продвижения своей повестки. Равенство, таким образом, понесло существенный урон, и это вызов политической свободе¹⁵⁴.

Заявление Аристотеля о том, что население и территория должны быть ограниченными по размеру, происходило из его требования социальной и политической самодостаточности граждан. Этим может объясняться то, почему *isegoria*, «всеобщее право говорить на собрании, иногда использовалось греческими авторами как синоним „демократии“»¹⁵⁵, поскольку и это право, и демократия должны были отправляться непосредственно. Согласно Аристотелю, понятие самодостаточности относилось как к производству идей и мнений, так и к их выражению на собрании. Гражданам, чтобы действовать в качестве самодостаточных субъектов, нужно было как независимое суждение, так и экономическая независимость. Для свободного и ответственного выбора им были нужны как материальные блага, так и знание. По Аристотелю, в двух публичных сферах, для которых характерна власть выносить решения — распределение политических постов и при-

154. Demaske C. Modern Power and Free Speech: Contemporary Culture and Issues of Equality. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2009. P. 39–41 (там же см. цитату из дела «Miami Herald v. Tornillo»). Положение, гласящее, что свобода слова — это право гражданина, и что она напрямую связана с принципом самоопределения, уже выдвигалось судьей Верховного суда Луисом Брандейсом в 1920 г., а недавно было заново рассмотрено Робертом К. Постом: *Post R.C. Recuperating First Amendment Doctrine*// Stanford Law Review. 1995. P. 1249.

155. Finley. Democracy Ancient and Modern. P. 19.

менение законов — граждане должны были формулировать свои суждения в частном порядке, а не сообщая. И распределение власти (при выборе гражданами должностных лиц), и отправление правосудия (когда судьи судили людей за их поступки) требовали непосредственного знания. Так же, как судьи в своих делах не могли работать с косвенными или полученными из вторых рук знаниями, граждане не могли выбрать достойных должностных лиц или принимать хорошие законы без знания качеств кандидатов.

Если в античных республиках единственным посредником между гражданами и институтами был глашатай, в современной демократии коммуникация и информация — это конструкция, создаваемая акторами-посредниками, которые также управляют системой выбора кандидатов, разработки политической повестки и формирования мнений по многим вопросам, которые могут стать предметом общественного суждения. В античной демократии граждане могли узнать о личных качествах лидеров или ораторов, самолично проверить их и вынести о них суждение. В современной демократии качества кандидатов и информация о действиях выборных официальных лиц искусственно конструируются и передаются гражданам. Более того, такая информация превращается в спектакль, который должен забавлять, отвлекать, провоцировать или успокаивать аудиторию, которая по этой причине превращается в реактивных, но пассивных граждан¹⁵⁶.

Следовательно, современные граждане более пассивны не просто потому, что выбирают политических лидеров, а не принимают решения непосредственно, но и по-

156. Прямая демократия была политикой личности, поскольку она основывалась на непосредственном знании и заслушивании: единственным опосредованием было повседневное взаимодействие граждан, обменивающихся друг с другом мнениями по поводу своих лидеров и по другим вопросам. *Finley M. I. Politics in the Ancient World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 97.

тому, что они не имеют равных возможностей видеть и быть увиденными, выносить на обсуждение свои идеи и делать так, чтобы их услышали. Еще в 1861 году Милль сетовал на то, что в представительной демократии Фемистокл и Демосфен, чтобы их услышали, должны были бы победить на выборах в парламент, но чтобы стать кандидатами, им пришлось бы прибегнуть к помощи партии¹⁵⁷. Более того, им понадобилась бы достаточно дружественная медиасистема, чтобы они могли понравиться аудитории или мощным лобби, финансирующим их избирательную кампанию в надежде на то, что они помогут принять выгодные тем законы. В современной демократии политическое суждение как самостоятельная косвенная власть является косвенным еще и в силу тех условий, которые делают его эффективным. Цепочка косвенности — вот что должно поддерживать внимание граждан к качеству их равных прав, когда они оценивают вопросы свободы мнения в публичной сфере информации и коммуникации.

Два понятия свободы

Если парафразировать Аристотеля, современным гражданам не хватает самодостаточности в сборе и интерпретации информации, в достижении эффективной коммуникации. Эта нехватка автономии значительно сокращает возможность принятия автономных политических решений и, более того, осуществления контроля над теми, кто был выбран править. То есть здесь страдает не только их участие в политике. Слабой и беззубой становится сама их свобода. Нарушение принципа равной свободы в области мнений — это нарушение системы сдержек и противовесов; оно выражается в концентрации власти на одной стороне, а на другой — в не-

157. *Mill. Considerations on Representative Government. P. 457–460.*

достаточной силе противодействия, которая могла бы либо остановить деспотическую или чрезмерную власть, либо сопротивляться ей.

В демократии, в которой наиболее важная власть граждан является, по существу, «негативной», поскольку это в большей мере власть суждения и влияния, а не каких-либо действий, тот факт, что их косвенная власть осуществляется через сеть опосредования, которая в значительной мере опирается на деньги, а потому отличается структурным неравенством, означает то, что она, возможно, уже не является эффективной контролирующей силой. Скорее, косвенная власть представляется источником новой, вездесущей власти, неподконтрольной гражданам. В деле, которое было признано «поворотным» и стало прецедентом для политики государственного невмешательства как лучшего способа сдерживания монополизации в медиаиндустрии, судья Верховного суда Байрон Уайт заявил, что «самым главным является право зрителей и слушателей, а не право телеканалов. Цель Первой поправки — сохранить свободный рынок, не ограничиваемый ни государством, ни частными лицензиями»¹⁵⁸.

Хотя возможны аргументы в пользу ограничения монополии, которые бы защищали интервенционистскую стратегию законодательной власти, здесь мне важно привлечь внимание к тому важному признанию, что правило государства — защищать поток информации от концентрации власти и что свобода тех, кто находится в состоянии пассивности, например, аудитории, — это первейшее благо, которое должно защищаться правом. Косвенность, укрепляемая в политике технологиями и деньгами, усугубляет неравное положение оратора и слушателя, предполагавшееся уже традиционным риторическим стилем коммуникации, а потому слушатель больше нуждается в защите, чем оратор.

158. «Red Lion Broadcasting Company v. FCC» (1969), цитируется по: *Bezanson. Kleindienst v. Mendel*. P. 176.

Кроме того, она проясняет столкновение между правами частной собственности и простым наличием доступа к коммуникации¹⁵⁹.

Следовательно, коммуникация — это территория нового конфликта в представительной демократии между негативной и позитивной свободой¹⁶⁰. Будучи благом, которое наделяет «содержанием» принцип самоуправления, она должна защищаться. Это, если следовать традиции Брандейса, важная функция Первой поправки¹⁶¹. В традиционной либеральной концепции свободы слова ее защита рассматривается на основе представления об индивиде как автономном суверене, которому противостоят все остальные индивиды и общество. Нежелание рассматривать ее в качестве *еще и части политического права* или как право на участие в политической жизни обосновывается той посылкой, что свобода слова не должна вступать в конфликтные отношения с другими благами, например, такими как равенство, иначе не избежать риска ограничения или принудительного вмешательства.

Однако здесь вопрос не в конфликте между свободой и равенством, а в двух концепциях свободы, одна из которых выстроена по модели чистого невмешательства,

159. Ср. мнение большинства, представленное судьей Верховного суда Блэком по делу «Marsh v. Alabama» (1974), когда речь шла о распределении литературы в городе, являющемся собственностью компании: «Чтобы поступать как добропорядочные граждане, они должны быть информированы». И права собственности этой корпорации не должны превалировать над политическим правом граждан получать информацию. См.: *Bezanson. Kleindienst v. Mendel*. P. 174.

160. *Goodman E. P. Media Policy and Free Speech: The First Amendment at War With Itself // Hofstra Law Review*. 2007. Vol. 35. P. 1211–1217.

161. Прекрасный теоретический и исторический анализ основания права на коммуникацию в интерпретации Первой поправки стал главным моментом в «Лекциях Тэннера» (The Tanner Lectures on Human Values) Роберта К. Поста, прочитанных в Гарвардском университете 1–2 мая 2013 г.: *Post R. Citizens Divided. Campaign Finance Reform and the Constitution*. Harvard: Harvard University Press, 2014.

тогда как другая говорит о свободе взаимодействия и политического участия. Вмешательство со стороны государства должно быть ориентировано не на содержание (как совершенно справедливо подчеркивается в аргументах о невмешательстве и непринуждении), а, скорее, на поддержку действия основных политических прав: цель свободы мнения *еще и в том*, чтобы позволить гражданам участвовать в споре по политическим вопросам таким образом, чтобы никто из них не получал привилегий и не был ущемлен по причине отсутствия материальных ресурсов¹⁶². Конституционная демократия преодолела либеральный подход XIX века, устранив расхождения с принципом самоуправления и его нормами. Критерии демократической политики коммуникации — это ответственность и равные возможности. Выборные политики и органы должны отвечать перед гражданами, а чтобы это было возможно, необходимо точное отображение политических вопросов и интересов, а не просто регулярные выборы. Распределение возможностей высказываться и быть услышанным — это также центральная проблема, поскольку только на основе такого распределения граждане могут участвовать в определении политической повестки и в то же время в контроле и проверке политиков и институтов. Эти критерии согласуются с диархическим взглядом на демократию, согласно которому граждане играют две роли — как участники, выдвигающие представляющих их кандидатов, и как «конечные арбитры или судьи в политических спорах»¹⁶³. Цель — выпол-

162. Cp.: *Fiss O. M. Liberalism Divided: Freedom of Speech and the Many Uses of State Power*. Boulder, CO: Westview Press, 1966. P. 9–12.

163. *Dworkin R. The Course of American Politics* // *New York Review of Books*. 1997. October. Vol. 43. No. 16. Идея Петти о контроле и критике также согласуется с этим взглядом, хотя она основана на предубежденности по отношению к представительным институтам. См.: *Pettit P. Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: Clarendon Press, 1997. P. 171–205.

нить основное обещание демократии, а не создать некую образцовую демократию или какую-то этическую концепцию хорошего общества.

Этим дополняется аргумент, утверждающий, что область политического мнения требует стратегий контроля, похожих на те, что были приняты конституционной демократией ради регулирования отправления власти. В современной демократии, чтобы публичный форум был открыт для всех, для формирования мнения и коммуникации требуется нечто большее защиты свободы выражения или классической либеральной стратегии государственного невмешательства. Конституционной политики (невмешательства правительства), возможно, больше недостаточно, так что, вероятно, требуется демократическое законодательство, которое не воздерживается от действий, а, напротив, применяет активную стратегию противодействия экономической власти на публичном форуме. Более активная стратегия нужна потому, что, апеллируя к частному праву на самовыражение, классический либеральный подход не может привлечь должного внимания к политической несправедливости, которая возникает из огромного неравенства в возможности быть услышанным¹⁶⁴.

Новая проблема

Осознание воздействия технологии на формирование суждения и на политическое влияние было достаточно четким уже в XVIII веке, когда прогрессивные интеллектуалы и политические мыслители предложили распро-

164. Ларри М. Бартелс нашел доказательства того, что правительству не удастся учитывать интересы нижних слоев населения и что общая произвольность его действий растет пропорционально числу граждан, которых не слышат или просто исключают, отделяя от средств коммуникации, которые могли бы усилить их голос. См.: *Bartels. Unequal Democracy*. P. 252–282.

странить образование на всех граждан, внедрив общенациональную систему школьного образования, которая дала бы им возможность воспринимать печатные тексты и участвовать в демократическом процессе отбора, а также ответственно и умело выносить суждения. Роль образования в социальной философии прогресса и политического равенства Николя Кондорсе — один из наиболее заметных примеров, хотя и не единственный, нового внимания к условиям формирования мнения. Это примеры, подтверждающие то, что право гражданина в представительной демократии не сводится к избирательному праву. Кондорсе полагал, что добиться массового компетентного участия в политике за счет образования — наиболее важная задача, которую должно преследовать республиканское правление, вместе с защитой свободы прессы и развитием научного знания¹⁶⁵. Обучение граждан практическому применению информации и научного образования стало необходимым условием укрепления современной демократии. В середине XX века Джон Дьюи приспособил этот просвещенческий гражданский взгляд к требованиям демократии в индустриальном обществе, проведя различие между знанием и пониманием. «Я использую слово „понимание“, а не „знание“, поскольку, к сожалению, знание для многих людей означает „информацию“... Я не хочу сказать, что мы можем понимать, не имея знаний и информации; я лишь говорю, что нет гарантии... что приобретение и накопление знаний создадут условия, порождающие разумное действие»¹⁶⁶. Основываясь на этой интуиции, современные демократии сделали из образования право и обязанность гражданина, выполнение которой требует государственного вмешательства, а не воздержания от него.

165. См., в частности: *Condorcet N. de. Rapport sur l'instruction publique* / C. Coutel, C. Kintzler (eds.). Paris: Edilig, 1989.

166. *Dewey J. The Challenge of Democracy to Education* (1937) // *Problems of Men*. New York: Philosophical Library, 1946. P. 48–49.

Сегодня же проблемы формирования мнения и коммуникации требуют, похоже, новой культурной позиции, поскольку, с одной стороны, новые средства, дарованные нам технологией, должны, как предполагается, стимулировать сознание и критическое мышление индивидов, а не прививать заранее сфабрикованные мнения и доктрины, а с другой — они предусматривают такой рост экономической власти, что, если правительство будет просто стоять в стороне, для демократии это будет означать поражение. Для сохранения равной свободы нужны стратегии, чувствительные к социальной структуре классов, а концентрация экономической власти — это обстоятельство, которое необходимо учитывать при обсуждении свободы формирования мнений. Проблема сегодня — это не провозглашение прав, а их внедрение и защита, то есть задача, решение которой лучше дается законодательным собраниям, а не конституционным судам, поскольку она требует государственного вмешательства — институциональных нововведений и денег; она требует воли, которая бы заставила права работать, причем работать эффективно и справедливо для всех¹⁶⁷. Капиталистическая организация общества и бюрократическое государство делает «верховенство закона» скорее желаемым результатом, чем фактом, и не только потому, что ни одно государство, каким бы либеральным и демократическим оно ни было, «не относится ко всем гражданам как равным перед законом», но и потому, что социальное неравенство влияет на применение закона: «Закон может быть

167. O'Donnell G. *Democracy, Agency, and the State: Theory with Comparative Intent*. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 105–109. Дэйвуд писал о том, какая ветвь власти больше подходит для решения проблемы превращения неравенства по богатству в политическое неравенство: Dawood. *Democracy, Power, and the Supreme Court*. P. 272.

весьма предсказуемым для привилегированных слов и при этом оставаться совершенно беспорядочным для менее обеспеченных»¹⁶⁸.

Распределение и концентрация

Общество является демократическим, когда люди, считая неравенство препятствием для своей свободы, организуют правовую и институциональную систему так, чтобы преодолеть его, «когда всем членам сообщества она предоставляет право свободно и в полной мере участвовать в политике, голосовать, собираться, получать информацию, высказывать несогласие, не боясь преследования, и занимать политические посты самых высоких уровней»¹⁶⁹. Следовательно, для правления посредством мнения требуются дополнительные усилия, необходимые чтобы поставить граждан в условия простого доступа к информации и средствам коммуникации, а также для развития умственных привычек к критике, которые приучают их внимательно относиться к общественно значимым событиям и не слишком доверять широко распространенным мнениям, что позволит им сохранить свою негативную власть контроля над устоявшимися убеждениями, институтами и государственными чиновниками. Усилия правительства, следовательно, направлены на две цели — защиту равных прав как условия плюрализма и противодействие концентрации власти. Ориентируясь на схожую ли-

168. Holmes S. Lineages of the Rule of Law // *The Rule of Law* / J. M. Maravall, A. Przeworski (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 21–22. О значении экономического неравенства для работы государственных институтов и законов см. обзор: *Stepan A., Linz J. J. Comparative Perspectives on Inequality and the Quality of Democracy in the United States* // *Perspectives on Politics*. 2011. Vol. 9. P. 841–856.

169. *Winters J. A. Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 4.

нию мысли, либеральные авторы начиная с XIX века полагали необходимым укреплять негативную роль свободы слова, представляя ее щитом от тирании нового типа, тирании мнения большинства. Они с подозрением относились к наделению государства положительной ролью по защите равных условий публичного диалога, поскольку источник этой новой вездесущей власти они усматривали в демократическом государстве с его естественной склонностью к единообразию идей, позволяющему формировать большинство.

Как уже было сказано, либеральная традиция, заложенная Миллем и несколькими поколениями американских судей, юристов и теоретиков, интерпретировала текст Первой поправки в соответствии с политической ценностью «рынка идей» и связанной с ней моделью свободы слова как «крепости», которую государство охраняет, не вторгаясь в нее. Соответственно, как заметил Ли К. Боллинджер, сохранение этого права требует иных техник, которые «выходят за пределы конструирования правовой власти, считавшейся неизменной» и которые позволят работать с проблемами, поставленными перед свободой слова частными деньгами в политике и медиакоммуникации¹⁷⁰. Однако роль рынка в медиатехнологии и частных денег в скупке телевизионных станций, в обеспечении средствами информации и спонсировании избирательных кампаний — все это опасные вызовы, брошенные либеральной парадигме невмешательства. Фактически, поскольку перед современными демократическими обществами стоят проблемы концентрации власти, необходимо вмешательство государства ради уравнивания власти, позволившего бы эффективнее охранять основное право на свободу слова¹⁷¹. Кон-

170. *Bollinger L. C. The Tolerant Society. Oxford: Oxford University Press 1986. P. 215–218.*

171. О нарастании концентрации в американских медиа см. первое и второе издание работы: *Bagdikian B. H. The Media Monopoly. Boston: Beacon Press, 1983, 2004.* Сравнительный анализ ситуа-

центрация медиа [в руках немногих], как и любая иная форма концентрации власти, — это угроза демократии, поскольку она является угрозой равной свободе¹⁷². Следовательно, сопротивление деградации политической свободы — это либеральная задача.

Уже в 1947 году в «Докладе комиссии Хатчинсона» было указано на внутреннюю связь между концентрацией власти и «сокращением доли людей, которые могут выражать свои мнения и идеи в прессе». В конце доклада заявлялось, что концентрация вредит демократии и угрожает свободе прессы¹⁷³. Интерпретации этого феномена расходятся. В последнее время американские исследователи общественного мнения отказались от доводов против концентрации собственности, посчитав, что в силу фрагментации информации и коммуникации, обеспечиваемой интернетом, это больше не проблема¹⁷⁴. Более того, нет согласия и относительно средств сдерживания угрозы концентрации (не все со-

ции в Европе см. в: *Humphreys P. J.* Mass Media and Media Policy in Western Europe. New York: Manchester University Press, 1996; а также весьма информативное исследование *Hallin D. I. C., Mancini P.* Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. New York: Cambridge University Press, 2004.

172. *Bagdikian.* Media Monopoly. 2004. P. 3.

173. Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press: A General Report on Mass Communication. Chicago: University of Chicago Press, 1947. P. 1, 5, 17, 37–44, 83–86.

174. *Shapiro R. Y., Jacobs L. R.* The Democratic Paradox: The Waning of Popular Sovereignty and the Pathologies of American Politics // Oxford Handbook of the American Public Opinion and the Media / L. R. Jacobs, R. Y. Shapiro (eds). Oxford Handbooks Online: September 2011. Однако этот аргумент представляется слабым или неполным, поскольку свобода интернета сама является предметом спора и одновременно политическим вопросом. Господство частных компаний в области программного и аппаратного обеспечения, а также в интернет-сервисах, дает этим компаниям и правительству огромное преимущество в сфере слежения и контроля, не являясь при этом признаком распределения власти. См.: *Morozov E.* The Dark Side of Internet Freedom: The Net Delusion. New York: Public Affairs, 2011. P. 236.

гласны с тем, что для сокращения или ограничения концентрации в сфере медиа следует использовать непосредственно закон)¹⁷⁵. Однако факт состоит в том, что в устоявшихся демократиях наблюдается концентрация (при том что в разных государствах могут быть разные антимонопольные законы в сфере телевидения; некоторые чувствительнее других к этой растущей силе) и что она может стать местом новой формы «косвенного деспотизма», если использовать остроумное выражение, придуманное Кондорсе в 1789 году.

Некоторые исследователи ставили под вопрос доводы защиты многообразия, указав на то, что невозможно сказать, сколько именно разных взглядов необходимо для того, чтобы общество считалось плюралистическим¹⁷⁶. Однако такая консьюмеристская точка зрения является ущербной, поскольку рассредоточение власти обосновывается не содержательно, а процедурно. Как было отмечено Бэйкером, с точки зрения [информационного] содержания «положительный вклад рассредоточения собственности — или, говоря в целом, разнообразия *источников* разных типов — должен зависеть от эмпирического предсказания, что подобное рассредоточение даст аудитории большой выбор (желательного) содержания и точек зрения»¹⁷⁷. Но эмпирически

175. См., например: *Chafee Z. Jr. Government and Mass Communication: A Report from the Commission on Freedom of the Press*. Chicago: University of Chicago Press, 1947. Vol. 2. P. 647–677; и *Baker C. E. Advertising and a Democratic Press*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. P. 15–20.

176. Как писал Стейнер несколько десятилетий назад, при особых обстоятельствах монополия может дать даже более разнообразное освещение событий или точек зрения — именно потому, что она желает обыграть всех возможных конкурентов. *Steiner P. O. Program Patterns and Preferences, and the Workability of Competition in Radio Broadcasting // Quarterly Journal of Economics*. 1952. Vol. 66. P. 194–195.

177. *Baker. Media Concentration and Democracy*. P. 15. О влиянии медиа на качество дискуссии см. в том числе: *Barber B. The New Telecommunications Technology: Endless Frontier or the End*

невозможно доказать, действительно ли рассредоточение приведет к такому содержанию. Это возможно, но не обязательно. Однако проблема, как я доказываю в этой и следующей главе, не в результате (или вмешательстве в информационное наполнение (content)), а в демократических нормах и процедурах.

Демократия не требует того, чтобы «ораторы представляли, а слушатели выбирали максимальное (или близкое к тому) разнообразие на рынке информационного контента. С другой стороны, отсутствие разнообразия содержания или точек зрения, которое отражает независимые, но сходящиеся друг с другом точки зрения множества разных людей... фундаментально отличается от такого же отсутствия, навязанного несколькими могущественными авторами». Эта проблема является чисто процедурной, поскольку разнообразие источников — это «*процессуальная ценность*», а не содержательная или «*товарная ценность*»¹⁷⁸. Опора на нормативную трактовку демократического процедурализма позволяет нам последовательнее отстаивать курс, направленный против концентрации в области формирования мнения. Действительно, совершенно верно то, что лучше увидеть значение этой проблемы нам позволяет не перфекционистское представление о демократии, а позиция, строго обоснованная понятием демократии, которое Боббио определял через «правила игры» (*democrazia delle regole del gioco*).

Две точки зрения

Демократические общества усвоили две стратегии со-противления концентрации и контролю медиа силами корпораций: посредством законов о конкуренции, таких

of Democracy? // *Constellations*. 1997. Vol. 4. No. 2. P. 208–238; в том же номере см.: *Buchstein H. Bytes the Bite: The Internet and Deliberative Democracy*. P. 248–263.

178. *Baker*. Media Concentration and Democracy. P. 16.

как антитрестовое законодательство или особые законы о средствах информации, и посредством договоренностей о субсидиях или программах финансовой поддержки разнообразия медиа и плюрализма газет¹⁷⁹. Эти стратегически разные подходы ориентированы на достижение одной и той же цели — защиты разнообразия в сфере медиакommunikации или недопущения его исчезновения. Разнообразие или плюрализм, с одной стороны, противоположны концентрации и монополии, а с другой — они выступают характеристикой открытого общества¹⁸⁰. Избирательное право и выборные процедуры согласуются с принципом наделения граждан властью посредством распределения власти среди них и недопущения перевода социального неравенства в неравенство политическое. Как я буду объяснять в третьей главе, этот принцип лежит в основании антипопулистских доводов, поскольку они отправляются от той мысли, что протажонистом демократии является отдельный гражданин, а не народ в его совокупности. Демократия наделяет граждан властью, распределяя ее среди них.

Это возвращает меня к двум точкам зрения, одна из которых ориентирована на содержание, а другая — на процедуры, поскольку они соотносятся с моим предложением рассматривать мнение как место «негативной» формы политической власти, благодаря которой свобода слова и собраний — это права не только индивида, но и гражданина, что в конечном счете оправдывает правовое вме-

179. По закону штата Нью-Йорк политические партии должны размещать свою рекламу в равной мере на телевидении и в местных газетах; похожая стратегия применяется в европейских странах. См.: *Hallin, Mancini. Comparing Media System.*

180. О ценности когнитивного различия (с эпистемической точки зрения) см. недавнюю работу Элен Ландемор: *Landemore H. La raison démocratique: Les mecanismes de l'intelligence collective en politique // La saggesse collective, special issue of Raison Publique.* 2010. April. No. 12. P. 35–39. Об отношении между распределением информации и разнообразием точек зрения см. также: *Sunstein. Infotopia.* P. 46–55.

шательство, а не воздержание от действий. Какую цель мы намереваемся достичь, когда защищаем эту свободу в качестве политической, а не просто гражданской?

Демократические мыслители, следовавшие позиции, при которой наиболее важно содержание, утверждали, что свободный и многообразный форум — это благо, поскольку он допускает достижение лучшего решения посредством изложения мнения и коллективного обсуждения. В 1948 году Александер Мейклджон выдвинул новаторский аргумент, поддерживающий перфекционистский взгляд на демократию. Мейклджон полагал, что защита свободы слова должна проводиться ради создания политической среды, в которой граждане как «политически равные» открыто и публично участвуют в разработке лучших решений для своего сообщества. В блестящем анализе лекции судьи Верховного суда Холмса от 1897 году «Путь закона» он критикует «механистическую» концепцию права, отправляясь от этической концепции. И если Холмс приглашал своих читателей смотреть на закон глазами «плохого человека» или правонарушителя, Мейклджон, прежде всего, предлагал взглянуть на него глазами «хорошего человека», чтобы понять права и законы в качестве средств построения самоуправляющегося сообщества. Выступая против философии федералистов, Мейклджон полагал, что, если мы будем принимать людей за тех, кем они и являются (то есть считать их потенциально плохими людьми, а не добродетельными), это не значит, что мы будем лучше понимать конституцию. Лучший способ — считать «судью или гражданина... хорошим человеком, который в своей политической деятельности не просто борется за то, что может получить, подчиняясь закону, а охотно и с открытым сердцем служит общему благу»¹⁸¹. Кон-

181. *Meiklejohn A. Free Speech and Its Relation to Self-Government*. Clark, NJ: Lawbook Exchange, 2004. P. 77. Проницательный комментарий относительно позиций Холмса и Мейклджона см. в: *Bollinger. The Tolerant Society*. P. 145–174.

ституция как средство достижения более совершенной демократии — вот в чем заключался взгляд Мейклджона на форум мнений. Его моделью была демократия городских собраний в Новой Англии, куда люди приходили не для того, чтобы поговорить, а чтобы «сделать дело»¹⁸². «Теперь же, при этом методе политического самоуправления, наиболее интересны не слова ораторов, а умы слушателей. Конечная цель собрания — голосование за разумные решения. Благосостояние сообщества требует того, чтобы люди, принимающие решения по различным вопросам, понимали их. Они должны знать, что именно они решают своим голосованием. А для этого, соответственно, нужно, чтобы на собрании были в полной мере и, насколько это позволяет время, совершенно открыто представлены все факты и интересы, относящиеся к проблеме»¹⁸³.

Мейклджон ставил свободу слова в причинно-следственное отношение с достижением определенного блага — разумным и компетентным обсуждением, которое, с его точки зрения, было осуществлением суверенной власти народа и, по сути, обещания демократического правления. Если резюмировать проведенный нами анализ различных аспектов доксы, я бы сказала, что из всех них он подчеркивал лишь объединение и консенсус, считая свободу слова политической лишь в той мере, в какой она служит формированию «публичного разума»¹⁸⁴. В его взглядах на самоуправление содержалась эпистемически-перфекционистская компонента, поэтому он наделял свободу слова этической ценностью, а не только политическим значением, ведь она должна позволить коллективу, состоящему из разных людей, совместно действовать и принимать решения, которые были бы не просто обоснованы или формально

182. *Meiklejohn*. *Free Speech*. P. 23.

183. *Ibid*. P. 24–25.

184. *Ibid*. P. 70.

легитимны, но и хороши. Мейклджон предлагал стремиться создать не только демократическое общество, но и рациональное сообщество, которое, как он считал, дало бы лучшие результаты. Чтобы избежать «механизма», он предложил функциональную трактовку форума идей, ведь цель состояла в достижении более совершенного сообщества¹⁸⁵.

В рассуждении Мейклджона мы можем распознать отзвуки свойственного XVIII веку идеала власти разума, перенесенного на коллективные собрания (сегодня это называют «мудростью толпы»): если разработаны хорошие процедуры и правила (среди которых свобода слова на публичном собрании) и если они выполняются, коллектив не в меньшей степени способен на хорошие рассуждения или корректные решения, чем эксперт или царь-философ. Как мы выясним в следующей главе, важная часть современной демократической теории следует этому рационалистическому и эпистемическому выбору. Однако является ли эта ориентированная на результат трактовка демократии единственным способом защитить свободу слова как политическое право? Какой можно было бы предложить ответ, который бы не воспроизводил либеральную «частную» парадигму и в то же время не отказывался от политической процедурной концепции демократии, не являющейся перфекционистской?

Давайте сначала заново рассмотрим либеральное возращение на рассуждение, предложенное Мейклджоном. Либерализм постулирует дуализм индивидуальной свободы и политического участия, так что первая выступает локусом основной свободы, а второй — формой или методом принятия решений. По логике либерализма, если индивидуальная свобода является принципи-

185. Он, таким образом, мог защищать свободу слова в годы «охоты на ведьм», когда преследовали коммунистов. Его аргумент состоял в том, что никаким ложным идеям нельзя преграждать выход на публичный форум. Ibid. 44–46.

альной и фундаментальной, то политическое участие — прагматическим и инструментальным. Следовательно, хотя право на основную свободу должно гарантироваться всем в равной мере, отправление политической власти, в принципе, не обязано тоже распределяться в равной мере, чтобы эта основная свобода существовала. В рамках либеральной позиции, авторитет которой был подкреплён Исайей Берлиным, эпистемическая угроза демократического просвещения нейтрализована за счёт того, что демократия сводится к методу отбора элиты, а билль о правах вместе с системой сдержек и противовесов защищают индивидуальную свободу, ограничивая власть политической свободы.

В историческом плане именно Йозеф А. Шумпетер предложил лучшую иллюстрацию либерального ответа на перфекционистскую интерпретацию (или «классическую доктрину») демократии, а именно интерпретацию демократического метода как «институционального устройства, необходимого для достижения политических решений, реализующих общее благо»¹⁸⁶. В его доводах фигурировала концепция свободы мнения, которая опиралась на воздержание государства от вмешательства, поскольку он предполагал, что свободная конкуренция за политическое лидерство сама по себе выступает достаточным ограничением власти, ведь конкуренция «в обычных условиях означает значительную степень свободы прессы»¹⁸⁷. Развивая ту же самую логику, Сартори писал, что мы должны ссылаться на правление посредством мнения не потому, что благодаря свободному обсуждению на публичной арене мы якобы можем прийти к лучшим решениям. Мы должны ссылаться на него на том основании, что открытая и свободная конкуренция является основой функционирования электорального метода отбора.

186. *Schumpeter*. Capitalism, Socialism, and Democracy. P. 250.

187. *Ibid.* P. 272.

Инструментальность составляла ядро этой интерпретации демократических процедур, которая основывалась на той посылке, что народ как коллектив не способен принимать решения, не говоря уже о мудрых решениях. Свобода мнения была нужна для того, чтобы компенсировать эту слабость демократии.

Однако можно выдвинуть иной довод против перфекционистской позиции, который, опираясь на процедурную интерпретацию демократии, не рассматривает право на свободу слова исключительно в качестве выражения негативной свободы и не ограничивает роль политического участия только лишь выборами. Именно в такую рамку я помещаю довод о свободе мнения как компоненте политических прав гражданина и, по сути дела, условия, которое оправдывает вмешательство государства, направленное на предотвращение или устранение концентрации власти на публичном форуме. Такая интерпретация поддерживается взглядом на демократию как диархию.

Назад к демократическим процедурам

Благодаря технологическим средствам, которые нужны для осуществления свободы мнения в современном обществе, экономическая власть проникает в политику и оккупирует ее за счет своего могущества. Политические мнения могут стать и в действительности уже стали во многих демократических странах товаром, который можно купить и продать за деньги, так что неравенство в политике все более закрепляется. Неравенство в возможностях пользования своими политическими правами и экономическое неравенство обычно идут рука об руку, подкрепляя друг друга¹⁸⁸. Благодаря собственности на средства коммуникации или контро-

188. *Dawood. The New Inequality. P. 147.*

ля над ними у тех граждан, которые обладают большей экономической властью, может быть больше шансов выбрать предпочтительных для них представителей и, соответственно, упростить принятие решений, им выгодных. Это нарушение правового и политического равенства, которое способно стать угрозой демократическим процедурам, понизив барьеры, защищающие от произвола. С точки зрения Джефффри Уинтерса, власть медиаресурсов может способствовать стабилизации властной олигархии, и именно по этой причине она столь привлекательна для тех, кто хотят использовать свою «личную харизму, статус, смелость, слова или идеи, чтобы мобилизовать массы людей, которые в противном случае остались бы пассивными, создав из них мощные социальные или политические силы»¹⁸⁹.

Оуэн М. Фисс разработал, пожалуй, наиболее убедительную концепцию, объясняющую, почему рынок ограничивает равенство и почему демократическое государство не должно считаться исключительно врагом, когда рассматриваются вопросы формирования мнения.

Роль государства в защите демократии становится, однако, очевидной, как только мы поймем, что рынок сам по себе является ограничительной структурой. Хотя реприватизированная пресса может называться «свободной», поскольку государство не владеет газетами, теле- и радиостанциями и не контролирует их, медиа не действуют в социальном вакууме. Собственники стремятся максимизировать прибыли, максимизируя доходы и минимизируя расходы... Таковы железные законы капиталистической экономики; для реприватизированной прессы они действуют так же, как и для любой иной фирмы. Поэтому, чтобы противодействовать этим ограничениям, налагаемым на прессу рынком, возможно, потребуются государство¹⁹⁰.

189. *Winters. Oligarchy*. P. 16.

190. *Fiss O. M. Building a Free Press* (1995) // *Liberalism Divided*. P. 143–144.

Главная цель — это защитить условия, благодаря которым работают демократические процедуры. На последних страницах этой главы я предложу *три аргумента*, развивая следующую мысль: последовательная процедурная интерпретация демократии лучше отвечает на перфекционистский аргумент о правовом вмешательстве, чем либеральная концепция невмешательства. Кроме того, я буду доказывать, что в области формирования мнения нужно государственное вмешательство, которое бы устраняло барьеры, мешающие равным возможностям политического участия.

Первый аргумент связан с признанием политической свободы как условия индивидуальной свободы. В прошлом, осмысляя феномен деспотических режимов и популистских форм демократии, либеральные теоретики пожелали отделить обладание индивидуальной свободой от демократической формы правления или политического равенства. Например, Берлин утверждал, что свобода от вмешательства [извне] может одинаково и соблюдаться, и нарушаться как в автократии, так и в демократии; в самом деле, индивидуальной свободой можно обладать (а также утратить ее) и в демократии, и в автократии, и в этом смысле «она не связана, по крайней мере логически, с демократией или самоуправлением... нет необходимой связи между индивидуальной свободой и демократическим правлением»¹⁹¹. Однако он не говорил, что эта истина сохраняется и в отправном для нас случае — *равной свободы* от произвольного вмешательства власти, свободы, которая должна быть у каждого индивида. Для доказательства своего аргумента Берлин должен был ограничить понятие индивидуальной свободы случаем индивида, практическому волеизъявлению которого препятствует внешнее произвольное препятствие. Ссылка на публичное отношение индивида к другим гражданам

191. *Berlin I. Two Concept of Liberty* (1958) // *Four Essays On Liberty*. Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 29–30.

оставалась внешней для понятия свободы как невмешательства, которое, следовательно, не зависело от какой бы то ни было формы правления¹⁹².

Однако, если мы следуем принципу равной политической свободы, если, иными словами, полагаем, что политическая свобода опирается на действия, регулируемые законом и на [равное] распределение легальной возможности быть свободным, тогда характер правления становится крайне важным вопросом. Тогда уже невозможно согласиться с выводом, будто политический порядок безразличен для защиты индивидуальной свободы. Политические свободы являются «особыми», поскольку, чтобы их «действительная ценность» была гарантирована, все граждане «должны быть достаточно равны в том смысле, что у всех должна быть реальная возможность» делать то, что им позволяют делать их политические права: голосовать, конкурировать за официальные посты, а также осмысленно участвовать в «публичном форуме»¹⁹³.

Свобода среди тех, кто в равной мере обладает политической властью, — это довод против деспотизма и олигархии, поскольку это довод против концентрации власти над волей и мнением. Со времен древних Афин именно таково демократическое значение свободы: это добровольные публичные отношения среди равных, которые могут заставить принести в жертву волю одного (например, когда надо повиноваться законам) ради цели, которая считается выгодной всем, поскольку она не приводит к неравному распределению власти, навязывающему повиновение, или к господству некото-

192. О различии между отсутствием господства и невмешательством, а также республиканский довод относительно неслучайного вмешательства см., в особенности, в: *Pettit P. A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency*. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 125–151; и в: *Скиннер К.* Свобода до либерализма. С. 15–56.

193. *Rawls.* Justice as Fairness. P. 149–150.

рых. Следовательно, гражданин демократии готов принять республиканское различие между «нерегулируемым действием и действием, регулируемым законом», но лишь при том условии, что оно проводится с уточнением, согласно которому действие должно «регулироваться автономным законом (который принимается добровольно)»¹⁹⁴.

Такое понимание свободы, в котором политический порядок считается основным договором, который граждане заключают, чтобы разрешать разногласия относительно того, как регулировать свои взаимодействия, подходит для описания равной политической свободы, поскольку им постулируется, что, если я не хочу подчиняться власти другого, я должен так или иначе участвовать в принятии решений, которым я должен повиноваться. Это представление о свободе отражается во втором условии процедурной демократии и оно позволяет наделить смыслом тот факт, что у демократии нет внешнего, каких-то специфических целей, которые она должна была бы достичь за пределами самого процесса принятия решений, осуществляющегося благодаря политической свободе — по причинам, которые определяются ее природой.

Второй аргумент относится к имманентной природе демократической легитимности. Наиболее влиятельные современные теоретики демократии от Дьюи до Кельзена, Хабермаса и Боббио отмечали это условие имманентности, доказывая, что демократии не нужно домысливать наличие дополитической природы как места неотчуждаемых прав, чтобы оправдать и соблюсти их. Напротив, демократия проявляется (а ее история начинается) тогда, когда сообщество людей начинает заявлять о неотчуждаемых правах; то есть когда оно применяет инструмент прав, чтобы решить свои внутренние

194. *Bobbio N.* Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri (1954) // *Politica e cultura*. Turin: Einaudi, 2005. P. 144 (перевод мой. — *Н.У.*).

проблемы и разногласия, ради регулирования своих общественных отношений¹⁹⁵.

«Воля сообщества в демократии всегда создается за счет дискуссии между большинством и меньшинством, через свободное обсуждение аргументов за и против определенного регулирования рассматриваемого вопроса. Это обсуждение осуществляется не только в парламенте, но и, прежде всего, на политических собраниях, в газетах, книгах и других проводниках общественного мнения. Демократия без общественного мнения — это противоречие в определении. Поскольку общественное мнение может развиваться только там, где гарантированы интеллектуальная свобода, свобода слова, прессы и религии, демократия совпадает с политическим, хотя и не обязательно экономическим, либерализмом»¹⁹⁶. Хабермас парафразировал идеи Кельзена, создав концепцию обсуждения, которая не мешает тому, что «классические свободы рождаются вместе с политическими правами», поскольку без этих прав, которые «гарантируют частную автономию» каждого гражданина, не может быть «среды, легально учреждающей условия», при которых граждане «могут использовать свою публичную автономию»¹⁹⁷.

У нас не может быть демократии, которая бы не зависела от индивидуальной свободы и того, что мы называем основными правами; демократия невозможна без правовой системы, которая задумана для внедре-

195. Но это также был и взгляд Мэдисона, который четко понимал то, что «в той мере, в какой на правительство влияет мнение, так и должно быть, каково бы ни было влияние. Этим решается вопрос конституционной Декларации прав, которая требует, чтобы на правительство оказывалось влияние, становящееся частью общественного мнения». *Madison J. Public Opinion* (1791) // *Writings*. P. 501.

196. *Kelsen. General Theory of Law and State*. P. 287–288.

197. *Habermas J. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory* / C. Cronin, P. De Greiff (eds.). Cambridge, MA: MIT Press, 1998. P. 260–261.

ния верховенства закона. Два этих уровня — индивидуальные прав и демократической политики — предполагают друг друга, если верно то, что в демократии политика создается на широком, плюралистическом, публичном форуме мнений, в рамках которого только и может возникнуть или измениться политическое согласие, а несогласие обладает полным правом на существование и публичность; внутри которого к тому же принимается различие между политическим большинством и политическим меньшинством, обусловленное демократической процедурой, благодаря которой мнения должны считаться каждое по отдельности и в соответствии с принципом большинства.

Получается, что демократические решения легитимны (и на деле лучше недемократических), поскольку обычно они создают более совершенное самоуправляющееся сообщество, приближаются к более надежным результатам или же к тем, которые близки к правильным решениям. Эта точка зрения, свойственная перфекционистской концепции демократии, опирается, насколько можно судить, на скрытую апорию, поскольку политическую легитимность она обосновывает «постфактум-логикой», которая должна оправдать повиновение результатом, каковой еще нужно доказать, что абсурдно.

Но демократия как диархия наделяет демократический процесс самостоятельной нормативной ценностью как раз потому, что ни одно мнение не может претендовать на непререкаемый авторитет, даже то, что получило поддержку большинства, поскольку оно открыто для оспаривания и изменения. Я использую термин «имманентизм» для передачи той мысли, что демократия принимает конфликт, задаваемый процедурами и политическими институтами, в качестве нормы политического участия, а не ради результатов, им обещанных, поскольку она дает всем гражданам шанс свободно и открыто высказывать свои мнения и организовываться ради изменения или критики существующих законов и выборных официальных представителей. Демокра-

тия — это и *есть* ее процедуры, с тем лишь уточнением, что у нее нет никакой внешней инстанции, которая могла бы оценить «содержательное качество ее решений». В этом смысле она «не факт и никогда им не будет»¹⁹⁸. Ее процедуры обладают нормативной ценностью, поскольку они позволяют заменить насилие политической конкуренцией за управление, причем возможно это за счет защиты и укрепления равной политической свободы. Из этого следует, что неопределенность результата и открытость политической игры — и есть наиболее ценные «результаты» демократии, благодаря которым мы можем свободно и по своей воле участвовать в политике, голосуя и формируя политические мнения¹⁹⁹. Клод Лефор весьма убедительно подчеркнул бесосновную, имманентную природу современной демократии, тот факт, что она перестает отождествлять власть с конкретными людьми и делает ее вездесущей: «Благодаря дискурсу... [представительная демократия] показывает то, что власть никому не принадлежит; что те, кто отправляют власть, не обладают ею; что они, на самом деле, не воплощают ее; что отправление власти требует периодического, повторяемого оспаривания, а авторитет людей, наделенных властью, создается и пересоздается в результате проявления воли народа»²⁰⁰.

Это приводит меня к третьему аргументу, который относится к самодостаточности и внутренне связан с двумя предыдущими. В демократии, как ни в одной другой политической системе, крайне важно, чтобы средства

198. Dewey J. The Public and Its Problems. Athens, OH: Swallow Press/Ohio University Press, 1991. P. 148.

199. Интересную интерпретацию процедурной концепции, которая не является минималистской, поскольку в ней рассматриваются права на участие в политике посредством голосования и формирования мнений, см. в: O'Donnell. Democracy, Agency, and the State. P. 13–29.

200. Lefort C. Democracy and Political Theory / D. Macey (trans.). Cambridge: Polity Press, 1988. P. 225.

и цели были согласованы друг с другом. Демократия — это согласованность средств и целей, поскольку она является одновременно и целью, и процессом ее достижения. И она не допускает простых путей именно потому, что не является всего лишь функциональным способом достижения определенной цели или какого угодно рода целей (пусть и благих). Благо цели не оправдывает нарушения демократического процесса принятия решений. Материальные и формальные аспекты всегда следует рассматривать вместе, если процесс принятия решений должен проводиться демократически.

Рассмотрим некоторые исторические примеры применения плохих средств (то есть нарушения равенства) ради достижения благой цели. Либералы первыми поняли, что мнение может действительно приобрести качества позитивной власти (подавляющей или навязывающей), тогда как его природа не изменяется (оставаясь негативной, невидимой и лишенной возможности прямого принуждения). Также они попытались разработать возможные решения этой проблемы. Например, Милль вернулся к идее Цицерона об открытом голосовании как средстве, благодаря которому мудрейшие, наиболее компетентные и добродетельные граждане могли бы осуществлять свое гипотетически благотворное влияние на обычных, предположительно некомпетентных или немудрых граждан²⁰¹. Более современным и менее наивным, однако не менее проблематичным с демократической точки зрения было предложение, выдвинутое Уолтером Липпманом в 1922 году: создать независимый класс экспертов по политическим и социальным вопро-

201. *Mill. Representative Government. Chap. 10.* Милль предложил также ввести право голосовать несколько раз (за счет распределения количества избирательных бюллетеней соответственно социальному и интеллектуальному статусу), хотя потом отказался от этой стратегии (chap. 8). Прекрасную критику обмена политического равенства на определенные социальные выгоды см. в: *Ролз Дж. Теория справедливости. С. 208–209.*

сам (то есть выпускников университетов или докторов политических наук), которые должны «делать скрытые факты понятными и известными для тех, кто принимает решения»²⁰².

И если Милль предложил вмешиваться в дела управляемых путем сдерживания или усмирения их страстей и предрассудков посредством электоральной системы, которая давала более компетентным и добродетельным больше возможностей повлиять на выборы (это предложение никак не подтверждается эмпирически и само является результатом предрассудка, согласно которому более высокий уровень образованности ведет к большей политической добродетели), Липпман, напротив, предложил вмешаться в дела правящего класса, облегчить выполнение его функций с помощью компетентных специалистов-технократов. Скептически относясь к возможности склонить публику в целом к формулировке мудрых или компетентных решений и не поставив при этом под удар индивидуальную свободу, Липпман, как он сам писал, обратил внимание на тех, у кого в руках были инструменты власти. Однако и Милль, и Липпман обратились к стратегиям, которые я буду называть «платонистскими», поскольку они были нацелены на увеличение политического неравенства, а не на противодействие ему. Их решения не согласовывались с условиями демократии, поскольку они пытались достичь легитимной цели (контроля власти мнения большинства) нелегитимными средствами (введением элементов неравенства среди граждан). Они нарушили правило демократической согласованности — в основном потому, что усмотрели угрозу свободе в политическом равенстве.

В противоположность этим ориентированным на содержание стратегиям, предполагающим, что демократия не может быть самодостаточной, я предлагаю наде-

202. *Lippmann W. Public Opinion* (1922) / R. Steel (new foreword). New York: Free Press, 1997. P. 19–20.

лить нормативной ценностью демократические процедуры и интерпретировать их так же, как Брайан Барри интерпретировал теорию правосудия как непредвзятости: оно не «только должно вершиться, но и должно быть видно, что оно вершится. А это значит, что решение должно быть получено честно. Даже если решение само по себе совершенно справедливо, оно все еще запятнано, если метод, которым оно получено, был нечестным»²⁰³. Точно так же демократия является самодостаточным режимом, если интерпретировать ее в качестве множества процедур, скрепленных конституцией, поскольку она внутри себя самой обладает условием собственного ограничения. Однако корректные процедуры без надежных принципов, на которые они опираются и которыми не может выступать пустая возможность участвовать в принятии решений и влиять на них, способны вести, как мы отмечали, к упадку доверия в демократической диархии. Чтобы не допустить этого нужно, как объяснил Кельзен, считать конституцию не «внешним» ограничением власти, которую люди могут легитимно отправлять по отношению к самим себе, а первичным условием отправления этой власти, которое требует постоянного исправления и перестройки²⁰⁴.

Следовательно, вопреки традиционному взгляду, который поощрялся критиками демократии еще с античных времен, она не является аморфным режимом, который должен усмиряться внешне разработанными стратегиями. Как было ясно с момента рождения демократии в Афинах, она содержит внутри себя свои собственные основания и средства самоограничения, как конечно, и свои искажения. Это означает, что в рамках самой демократии могут происходить изменения — не случайно Аристотель описал шесть возможных форм демократического режима, начиная с конституционно-

203. *Barry B. Justice as Impartiality. Oxford: Clarendon Press, 1996. P. 111.*

204. *Kelsen. General Theory of Law and State. P. 259–260.*

го полиса и заканчивая демагогическим. Эти изменения можно объяснить как изменения внутри диархического отношения воли и мнения, происходящие, когда одна из частей получает власть над другой. Они способны изменить сам облик демократии.

Сохранять равновесие между демократическим процессом принятия решений и властью мнения — это задача, которую должна ставить себе представительная демократия, если желает защитить себя. Она может решаться не только за счет того, что гражданам позволяется играть в игру политики (то есть так или иначе участвовать в принятии законов, которым они подчиняются), но и за счет того, что им демонстрируется: игра, в которую они играют, честна, поскольку она ведется по правилам, в равных для всех условиях, предполагающих равное отношение ко всем участникам.

Три этих условия вместе — равная свобода, имманентность и самодостаточность — позволяют наполнить смыслом максимуму Токвиля, согласно которой демократия не дает нам гарантии превосходных или хороших решений (на самом деле, ее решения порой оказываются плохими или глупыми); она дает нам гарантию того, что мы можем исправить или изменить все решения, не ставя под вопрос и не упраздняя политический порядок, то есть без утраты нашей свободы. В целом демократические решения должны исправляться демократическими средствами; они должны изменяться посредством прямых и косвенных стратегий, которые задуманы так, чтобы по возможности снизить риск искажения и превращения в средства, служащие целям, отличным от равной политической свободы.

Заключение

В этой главе я очертила диархический облик представительной демократии. Также я утверждала, что демократическое правление гарантирует гражданам,

что все они получают равные права и на голосование, и на выражение своего мнения и что для этого, возможно, понадобится вмешательство законодателей, которые бы следили за тем, чтобы социально-экономические и культурные барьеры не оказались столь высокими, что это станет угрозой равным возможностям граждан осуществлять равное политическое влияние. Дисбалансы в диархической структуре демократии — самая неотложная из всех проблем, требующих решения в современных устоявшихся демократиях. Они свидетельствуют об экспоненциальном росте социального неравенства и его фактическом переходе в политическую власть посредством механизмов политического влияния, которые не требуют [формального] изменения конституционных правил игры. В результате процедурная правильность оказывается неподходящей для выполнения демократического обещания равного гражданского статуса, превращаясь, по сути, в стратегию, которая скрывает политические последствия социального неравенства. Дисбалансы в демократической диархии могут быть исправлены за счет восстановления и контроля границ между волей и мнением, то есть восстановления эгалитарных условий, которые требуются для верной работы демократических процедур. Демократия как форма правления нуждается в системе постоянной самонастройки.

В следующих трех главах я проанализирую те случаи, когда предлагались такие решения проблемы неравновесного отношения между диархическими властями, которые, напротив, стирают границы или же меняют функцию одного из двух компонент, а именно мнения. Такого результата они достигают разными способами: заставляют доксу сойти на нет в неполитической трансформации публичного форума; поддерживают формирование сильного гегемонического мнения, которое стремится воплотить в себе власть суверена; наконец, видоизменяют роль мнения в эстетическом спектакле, исполняемом лидерами, которым пассивно внимают

граждане. Все эти случаи (представленные влиятельными интерпретациями современной политической теории) — примеры упадка ценности и значения демократических процедур. В самом деле, предлагаемые ими решения не нацелены на возвращение диархической власти гражданам, которую они фактически делают ответственной за сбой политической системы. Напротив, они нацелены на замену этой дуальной власти одной-единственной властью — будь то истина, народ или аудитория. Таким образом, они ослабляют и искажают демократию.

Неполитическая демократия

ПЕРВЫЙ источник дисбаланса диархических властей, который я выделю и проанализирую, состоит в том, что я считаю неполитической интерпретацией процедурной системы демократии. Этот феномен не является исключительно академическим, хотя я, в основном, ограничиваюсь научной литературой и рассматриваю его в качестве теоретической проблемы. Неполитическая демократия — это название сложного семейства, к которому относятся как предложения расширить область непартийных решений, так и проекты, развивающие концепцию демократической власти, легитимность которой определяется качеством результатов, допускаемых ее процедурами. Я отношу все эти подходы к рубрике «неполитической демократии», поскольку они стремятся нейтрализовать характерные черты демократической политики — ее связь с дискуссией, несогласием, обсуждением и решениями большинства, которые открыты для изменения. В предыдущей главе я пояснила, что под политикой имею в виду искусство публичного обсуждения, как оно понималось в традиции Аристотеля. Теренс Болл писал: «Политика, по существу, является не инструментальной или целенаправленной деятельностью, предпринимаемой ради достижения некоторой отдельно стоящей цели, а, напротив, средой нравственного образования гражданина»¹. «Среда» — это публичные

1. Ball. Transforming Political Discourse. P. 119.

действия, регулируемые правами, демократическими процедурами и институтами; однако, хотя она и служит нравственному образованию граждан, делает это не преднамеренно. Именно в этом смысле я использовала и буду использовать выражение «демократический процедурализм», подчеркивая, что основой политической легитимности он является потому, что обеспечивает должную реализацию процесса, а не потому, что дает некоторые содержательные (или желательные) результаты, которые, если они и достигаются, то непредумышленно, пусть даже акторы хотят использовать их для достижения каких-то частных целей. Цели акторов легитимны до тех пор, пока они не подрывают базовых посылок общего договора, в который вписано соблюдение процедур. Неполитические версии демократии я буду исследовать, соотнося их с этой идеей. Но прежде чем приступить к этому исследованию, нужно сказать несколько слов о контексте, в котором неполитическая концепция демократии стала в наши дни популярной.

Аргументы относительно таких решений на правительственном уровне, которые обходили бы узкопартийные требования политических организаций, отражают определенное течение в общественном мнении, которое в наши времена глубокого экономического кризиса широко распространилось в демократических государствах, особенно в европейских странах. Они склоняют нас к мысли, будто избиратели и выборные представители не подходят для принятия правильных решений, поскольку их суждения по самой их природе нагружены стратегическими соображениями и не нацелены на достижение правильных или желаемых результатов (причем желательность понимается как соответствие резонам, которые не зависят от политической власти демократии). Я не хочу сказать, что в неполитических интерпретациях демократии смешиваются технократическая и эпистемическая версии, то есть что эпистемическая демократия ничем не отличается от технократического правления. Как мы увидим, теория эписте-

мической демократии требует равного распределения базового потенциала знания среди граждан и высоко ценит мудрость толпы. Однако ее привязанность к результату, судя по всему, предполагает, что работа демократических процедур легитимна лишь в той мере, в какой она способна направлять знания многих на решения, которые удовлетворяют критериям, превосходящим их мнения и принцип равной политической свободы, являющийся тем благом, который процедуры отражают, развивают или обещают. Соответственно, я утверждаю, что несмотря на различия между разными способами использования «эпистемы» в политике, признание результатов в качестве того, что может быть важнее процедур или достигаться независимо от них, способно подготовить почву для технократической ревизии демократии.

Интересно то, что во времена глубокого экономического кризиса, с которым демократические институты, похоже, не способны окончательно справиться, ценность эпистемы снова притягивает внимание, представляясь заместителем доксы, а проблема оптимального решения и повиновения, оправданного знанием, становится более привлекательной для исследователей политики в целом и теоретиков демократии в частности. Подобно тому как в 1920-е годы слабые либеральные государства в Европе подверглись испытанию кризисом, который они, казалось, не могли пережить, сегодняшние демократические государства сталкиваются с новой волной антипарламентских настроений, говорящих о том, что благодаря выборной процедурной демократии в политику проникают пристрастные суждения и интересы избирателей, в основном поддерживающих ту установку на компромисс и инструментальность, которая не способна привести к сильным, справедливым и компетентным решениям². Связь воли и мнения, предполагаемая

2. См. близкую к этой теме работу: *Goulard S., Monti M. La democrazia in Europa: Guardare lontano*. Milan: Rizzoli, 2012, в которой доказывается, что спасение Европейского союза зависит от реши-

диархической системой представительного правления, оказывается вроде бы главной причиной неспособности демократии добиться хороших результатов. Диархия переписывается — теперь она размещается между волей и истиной, а не между волей и мнением.

Различные чрезвычайные обстоятельства (в прошлом война, а сегодня — долговой кризис) требуют разных специальных знаний, однако при этом они рождают удивительно схожие аполитичные взгляды, согласно которым от граждан иногда требуют стремиться к достижению верных результатов, а иногда говорят о том, что на такие результаты способно лишь компетентное меньшинство. Недавняя замена в некоторых европейских странах выборных представителей исполнительной власти технократами демонстрирует общераспространенную веру в то, что избираемые демократическим путем институты не способны достичь рациональных политических решений в области финансов и экономики или же приходят к этим решениям слишком медленно. Следовательно, они признаются дестабилизирующими факторами. Мнение граждан может быть разным, и не всегда это означает, что решения касательно строгой экономии бюджета невозможны, просто требуется, чтобы их сторонники потратили определенное время, доказывая обществу, что такие решения необходимы, и убедили граждан в их пользе³. Но как только эписте-

мости государств-членов найти новые способы принимать решения, которые были бы меньше подчинены давлению со стороны избирателей и общественного мнения, что как раз противоположно предписаниям демократического представительства.

3. В процессе написания республиканской конституции Франции Кондорсе обратил внимание на риск, проистекающий из того, что система коллективного принятия решений, не имеющая одного руководителя, является препятствием для быстрых и компетентных решений. Поэтому он полагал, что временные рамки становятся существенным фактором свободы. *Urbiniati N. Representative Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2006. P. 201–207.

ма проникает в область политики, сразу же намечается возможность поставить под вопрос политическое равенство, поскольку критерий компетентности по самой своей природе является неэгалитарным. Сегодня именно расширение области неполитических решений грозит упрочением этой трансформации, наряду с перестройкой политического суждения, которое теперь ориентируется на образец юридического метода поиска истины. В недавно сложившихся теориях демократии политическому обсуждению, если оно не мотивируется целью достижения консенсуса, были противопоставлены решения неполитических акторов, таких как судьи, суды присяжных или экспертные комиссии, что оправдывается возможностью защитить общее благо от воздействия предрассудков, неточностей и партийности. Цель такой теоретической критики, как мы увидим, — не преодолеть демократию, а усилить ее. Однако неполитический путь, которым она идет, приводит к обесцениванию демократии и в конечном счете к ее искажению.

В этой главе я буду анализировать примеры неполитической установки, которые возникли внутри теории демократии. Как уже было указано во введении, я считаю, что с теоретической точки зрения неполитические интерпретации демократии и популистская политика представляются двумя сторонами одной медали, уже потому, что они в равной мере нетерпимы к демократической диархии и хотят чего-то большего, а не только решений большинства, партийного плюрализма, искусства компромисса и широкого публичного форума, в котором могут участвовать граждане, со всеми их неточными идеями, громкими голосами, различающимися мнениями и требованиями, отражающими их социальные условия и интересы. Наблюдение за современной политикой в Европе дополняет эти теоретические соображения и иллюстрирует параллельное развитие популизма и стремления к «эпистемным» подходам среди правительств — эти явления подпитывают друг друга, в равной мере обесценивая демократические

процедуры, если только те не признаются способными достигать определенных, внешних им целей, причем планомерным, а не случайным образом.

Миф о неполитическом

Хвала неполитическому едва ли может считаться чем-то новым для критиков и скептиков демократии, и особенно громкой она становится во времена кризиса. В своих «Размышлениях аполитичного», провокативной критике демократии, написанной в 1918 году, Томас Манн утверждал, что есть внутренняя связь между «политикой и демократией». Он писал в тот год, когда Германия была близка к принятию своей первой демократической конституции, а его цель состояла в исследовании ценности демократии, которая выступала для него названием не просто определенной формы правления, но целостного понимания общества. Демократия, по мысли Манна, обязательно делает всю человеческую жизнь «политической». «Политико-интеллектуальная установка является демократической; вера в политику — это вера в демократию»⁴. Демократия представлялась неизбежно политической, поскольку она превращает все вопросы в предмет общественной оценки и заставляет людей принимать решения путем голосования. Демократия обесценивает ценности, превращая их в предмет мнения и согласия. Следовательно, это метод не просто решения проблем и принятия решений, но и превращения всего на свете в проблемы, которые должны обсуждаться публично и решаться по правилу большинства. Демократия представляет всю общественную реальность искусственной и подчиненной мнениям людей.

Манн верно связал демократию с доксой, что стало для него основанием критики ее успеха в современном

4. *Mann T. Reflections of a Nonpolitical Man / W.D. Morris (trans.). New York: Frederick Ungar, 1983. P. 16.*

обществе. Главный и неисправимый изъян демократии, по его мнению, как раз и был причиной, по которой люди любят ее как режим, открытый для постоянных изменений и подстраивающийся под их преходящие интересы или желания. Политика, основанная на согласии, является в таком случае изъяном, поскольку ни одно неполитическое благо не может перенести разьедающего воздействия правления, осуществляющегося посредством обсуждения (и уж точно не нация, основанное на ценности сообщество, упадок которого оплакивал Манн, считая, что это результат демократии)⁵. Такой изъян нельзя устранить, поскольку демократия не могла бы существовать без него. Когда, как объяснял Манн, критики демократии принимаются обличать разлагающее влияние радикальной политизации общественного этоса, они сами вынуждены поступать политически; чтобы продвигать свои неполитические требования, они должны занять партийную позицию, то есть стать демократами. «Не бывает политика „демократического“ или, скажем, „консервативного“. Ты либо политик, либо нет. А если ты политик, значит ты демократ»⁶.

Аргумент, использованный Манном для доказательства того, что укрепляемая демократией политическая позиция является «свободой от оценки», напоминал рассуждения Макса Вебера о политике как призвании и этике ответственности. Политика представлялась «свободной от оценки», поскольку все ценности она привязывает к мнениям обычных людей, у которых нет специальных знаний⁷. Однако только политическая деятельность, подчиненная высшему благу (например, истине или этической ценности), могла бы достичь ре-

5. Критическое обсуждение различных сторон релятивизма см. в: *Lukes S. Moral Relativism*. New York: Picador, 2008.

6. *Mann*. *Reflections of a Nonpolitical Man*. P. 169–170.

7. *Cacciari M. The Unpolitical: On the Radical Critique of Political Reason/ A. Carrera (ed.), M. Verdicchio (trans.)*. New York: Fordham University Press, 2009. P. 94.

зультатов, которые служили бы сообществу, по своему духу независимому, стоящему выше партийных интересов. Вторя веберовской критике деструктивной парламентской политики, Манн противопоставлял «политику» как этику ответственности и компетентности «политической установке», основанной на электоральной конкуренции за официальные посты.

Обвинять в политизации — дело для критиков демократии не новое⁸. Фактически XVIII век, известный как век возрождения демократии, стал столетием жестких и радикальных нападок на правление большинства. В этом столетии были разработаны две важных формы критики демократии: одна критиковала ее во имя рациональности, а другая — во имя традиции. Обе приобрели влияние благодаря Французской революции. Центральная роль выборной ассамблеи и политизация — явления, сопутствующие друг другу и ставшие факторами, против которых разрабатывались обе формы критики.

Первая форма критики, отправляясь от априорно высших благ, таких как истина или нравственная ценность, поставила под вопрос демократический принцип народного согласия. Начиная с Платона и заканчивая современными теоретиками эпистемической демократии «большинство любителей истины [считали] демократические выборы тяжелой пищей для желудка» — по причине их неизбежно партийного характера, а потому пытались разработать процедуры принятия

8. Здесь можно уловить нотки проводимой Ратцингером критики демократического желания заменить этическое благо законами: «Принцип большинства неизменно оставляет открытым вопрос об этических основаниях закона. Вопрос в том... существует ли то, что по самой своей природе является непреложным законом, тем, что предшествует любому решению большинства и что должно соблюдаться в любом подобном решении». См.: *That Which Holds the World Together: The Pre-political Moral Foundations of a Free State* // Ratzinger J., Habermas J. *The Dialectic of Secularism: On Reason and Religion*. San Francisco: Ignatius Press, 2007. P. 60.

решений, которые были бы более рациональны и могли бы примирить демократию с целями, превосходящими простую политическую победу, какими бы ни были конкурирующие мнения — здоровыми или предвзятыми⁹. Следуя этой традиции, которая заявляет о своем согласии с ценностью равенства, теоретики эпистемического подхода пытаются снять с толпы обвинение, превратив ее в собрание принимающих решения людей, которые, если собрать их в должном порядке и если руководить ими будут правильные процедуры и умные наставники, смогут достичь результатов, которые верны и даже будут «лучше» тех, что достигаются недемократическими процедурами. Толпа наделяется способностью сводить друг с другом небольшие группы разумных индивидов, которые, очевидно, остаются стандартным образцом источника хорошей политики. Она реабилитируется за счет того, что уподобляется мудрому «меньшинству» (или «одному» [человеку]), в соответствии с посылкой, утверждающей, что основанием политической легитимности является именно знание. Такой демократический платонизм — или поддержание мифа о царе-философе, пусть и переодетом в коллективные эгалитарные одежды, — это подход, который, как объяснил Джереми Уолдрон, следует образцу юриспруденции, которая, рассуждая о законодательстве, «находит наиболее удобным трактовать [его], взяв за образец одного индивида»¹⁰. Как я буду доказывать в этой главе, отождествление суждения в юридическом смысле с политическим суждением — один из наиболее надежных признаков эпистемического заражения демократического процедурализма. Это главный аргумент, который я выдвигаю против «благого намерения» наделить мудростью толпу и тем самым доказать, что демократия превосходит олигархию с точки зрения знания.

9. *Yack*. *Democracy and the Love of Truth*. P. 166.

10. *Waldron*. *The Dignity of Legislation*. P. 29.

Использование эпистемического равенства в качестве политического и, более того, демократического аргумента представляется, однако, проблематичным, независимо от благого намерения наделить толпу царственным достоинством, поскольку эпистемическая парадигма выносит критерий суждения о благом или правильном за пределы политического процесса, который в таком случае играет, так сказать, вспомогательную функцию, лишаясь своего авторитета. Неслучайно, что Николя Кондорсе (один из учителей теоретиков эпистемической демократии), пожелав доказать рациональность обсуждения в больших группах людей, за образец коллективного решения взял коллегию присяжных, а не законодательное собрание, показав тем самым, что вопросы истины и лжи уместны не для любых, а лишь для неполитических решений, — этот весьма важный вывод часто упускался из виду. Однако, когда Кондорсе надо было разработать конституцию Французской республики, он не стал ориентироваться на коллегию присяжных. Постулировав *несогласие* в качестве организующего принципа политических решений и предусмотрев возможность расхождений в толковании как статей конституции, так и законодательных предложений, он попытался придумать набор правил, которые позволили бы демократическому процессу достигать определенной точки (решения) без применения недемократических стратегий и без возможности подрыва всего процесса в целом. В своем исследовании Кондорсе отпирывался от той мысли, что демократия — это правление посредством мнения, а не истины. Основание его конституционализма состояло в том, что легитимный закон похож на коллективный труд, который опирается на «общие положения», независимые по своему значению (права — это «независимая истина»), и стремится к результату, всеобщему по своему содержанию и авторитету. Цель конституции — заставить людей прийти хотя бы к частичному согласию по толкованию этой «независимой

истины»¹¹: «Эти общие правила, возможно, не найдут согласия у всех и каждого. Поэтому они должны определяться взглядом большинства. Сохранение свободы требует от каждого частного лица равного вклада в выражение этого взгляда большинства»¹².

Второе направление нападков на демократию, начавшихся с Французской революции, было более радикальным, более жестким и откровенным. В этом случае принцип народного согласия громили сторонники коммунитарных ценностей, антирационалисты и антиэгалитаристы, идеологи, выступавшие против процесса политической эмансипации, за историческую преемственность и традицию, как критерии общественного распределения почета, власти и условий нравственной стабильности, то есть, по сути, авторитета¹³. Эдмунд Берк и Жозеф де Местр порицали демократически избранные собрания, считая, что они вытеснили из сферы политики не только почитавшиеся прежде знание, мудрость и добродетель, но и сам авторитет, столь охотно привечавшийся религией и традицией, древними источниками

11. *Condorcet M. J. A. N. de. Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens (1789) // Oeuvres: Nouvelle impression en facsimilé de l'édition Paris 1847–1849, 12 vols. / M. F. Arago, A. Condorcet-O'Connor (eds.). Stuttgart-Bad Cannstatt, Germany: Friedrich Frommann, 1968. Vol. 9. P. 427–428; Aux amis de la liberté. Vol. 10. P. 178–179; Project de Déclaration de Droits (art. 28). Vol. 10. P. 16; Sur la nécessité d'établir en France une constitution nouvelle (March 1793). Vol. 12. P. 353.*

12. Затем он добавляет: «Необходимо провести следующее различие: ограничения, налагаемые большинством, не должны зайти так далеко, что будут созданы условия, которые меньшинство может счесть подавляющими, противными его правам и несовместимыми со справедливостью». *Condorcet M. J. A. N. de. On Freedom: On the Meaning of the Words Freedom, Free, a Free Man, a Free People (1793–1794) // Political Writings / S. Lukes, U. Urbinati (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 184.*

13. Критический обзор контрреволюционной идеологии и ее проявлений в различных направлениях антилиберальной мысли см. в: *Holmes S. The Anatomy and Anti-Liberalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.*

верований, предписывавших поклонение и почитание, а не обсуждение и согласие — правление собрания превратило политику в раздираемую распрями область партийных стычек, где могли обсуждаться любые вопросы, ценность которых становилась поэтому относительной, ведь они были подчинены мнениям общества, отображающимся в численном большинстве¹⁴. Демократию обвинили в том, что она свергла авторитет и легитимировала анархию вместе с нравственным релятивизмом.

В течение двух столетий после Французской революции 1789 года тема некомпетентности масс, которыми умело манипулируют амбициозные политики, стала общеизвестной, но при этом усложнилась, поскольку, естественно, чтобы вскрыть манипуляцию, люди должны быть способны не только распознать различие между истиной факта и идеями (а эта способность не всегда есть даже у самых искушенных умов), но и отличить риторическую мишуру от объективности. За обвинением в том, что демократическая политика манипулирует реальностью, поскольку такая политика основана на словах, а потому ведет к риторике, скрывается неявная посылка, утверждающая, что политика в своей чистой форме имеет (или должна иметь) дело с «политическим дискурсом истины и ничем кроме истины», который вообще списывает политику со счетов. Парадокс в том, что лучшей системой оказывается тирания, поскольку она наименее подвержена манипуляциям, ведь при ней вообще не допускается публичного обсуждения, которое могло бы направлять действия и мнения¹⁵. Очевидно, что здесь политика не имеет никакого

14. *Maistre J. de. Considerations on France (1797) / R.A. Lebrun (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Chap. 7; Burke E. Reflections on Revolution in France (1790) // The Portable Burke. P. 438–444.*

15. *Ball T. Manipulation: As Old as Democracy Itself (and Sometimes Dangerous) // Manipulating Democracy: Democratic Theory, Political Psychology, and Mass Media / W. Le Cheminant, J.P. Parrish (eds.). New York: Routledge, 2011. P. 42–46.*

отношения к достижению истины и не должна оцениваться с этой точки зрения, но также она не имеет никакого отношения и к гарантии свободы. Следовательно, не сама манипуляция является проблемой, а различие между демократической и недемократической манипуляцией. Первая гарантирует то, что все могут возражать и требовать поправок, критики и согласования, тогда как вторая не допускает этого и, кроме того, институционализирует утаивание информации, делая само критическое исследование невозможным¹⁶. В целом различие между манипуляцией и истиной является на деле различием не между истиной и ложью, корректными данными и доксой, а между свободой и несвободой, как мы уже выяснили в предыдущей главе.

Обвинение, утверждающее, что демократия манипулирует истиной, поскольку она основана на речи и риторике, — порочно и опасно. Оно характерно для широкого спектра позиций. В различных вариациях оно развивалось такими разными авторами, как Ипполит Тэн, Габриэль Тард, Гюстав Лебон, Карл Шмитт, Уолтер Липпман и Лео Штраус. И если теоретики, подходящие к демократии с эпистемической точки зрения, хотят дать массам знание и заставить большинство рассуждать *подобно* единому философскому уму, антидемократы исключают саму возможность того, что большинство способно подняться столь высоко, а потому считают требование соблюдения правила большинства доказательством ущербности самого этого большинства. Попытка опровергнуть подобный подход тем, что большинство действительно может рассуждать как один и достичь истинного результата, небезопасна для демократии, поскольку она переносит защиту политического равенства на территорию того источника власти, кото-

16. В демократии манипуляция может стимулировать активное вмешательство уже потому, что она подталкивает людей к разоблачениям и поиску истины, чего не может быть при недемократическом режиме. *Ball. Manipulation*. P. 46.

рый является внешним для компромисса между множеством возможных решений или, говоря точнее, превосходящим его, так же как разум превосходит доксу.

И рационалистская, и традиционалистская критика демократии как правления мнения, пусть их цели и противоположны, в равной мере основаны на платоновском мифе о трансцендентном источнике политического знания как условия легитимности. Обе они приписывают политике задачу, которая относится к другим областям, таким как философия или теология, и требуют от нее результатов, которые, к примеру, может преследовать правосудие. Их недоверие к демократии обосновано тем, что она и в самом деле является областью мнения, которое, хотя его и можно защищать как постепенное приближение к истине, не предполагает никакого неизменного результата или неоспоримой истины. Демократические процедуры требуют возможности постоянного пересмотра, на которой покоится личная свобода участия в процедурах принятия и изменения законов. Ценность демократической легитимности, как пишет Роберт К. Пост, «определяет то, что, согласно доктрине Первой поправки, публичный дискурс конструируется как область мнения, поскольку она не позволяет государству опираться на стандарты надежности, которые мы связываем с экспертным знанием... Создание надежного дисциплинарного знания, следовательно, должно стать задачей институтов, которые не контролируются конституционной ценностью демократической легитимации»¹⁷. Хотя Манн отождествил «политику» и «демократию» ради того, чтобы подвергнуть такое положение критике, это было правильно. В самом деле, такое тождество вызывает больше всего нареканий, так что любая попытка согласовать политику с истиной приводит к деполитизации демократии. Это аргумент против диархии, который я буду разбирать в данной главе.

17. Post. Democracy, Expertise, Academic Freedom. P. 31.

Что касается двух намеченных мною направлений критики, озабоченность политизацией представляет больший интерес, чем традиционные антидемократические стенания. В действительности деполитизация внутренне присуща процессу демократического преобразования общества, которое стремится к идеалу справедливости как устранения привилегий, реализуясь во имя равного отношения ко всем, независимо от партийных соображений и, следовательно, политических решений. Желание неполитического как беспристрастного рассуждения внутренне присуще демократии; по сути, оно составляет одно из ее первых возражений на правосудие меньшинства¹⁸. Распространение бюрократии и расширение тех сфер, где решения принимаются без демократического агона, свидетельствуют об этом двусмысленном отношении между демократией и мнением в устоявшихся демократических обществах.

Учитывая этот момент, я перехожу теперь к критическому анализу возродившегося идеала освобождения демократии от господства доксы. В частности, я проанализирую работы трех мыслителей, чью роль в критике места партийной политики и политической интерпретации процедурной работы демократии вряд ли можно оспорить. Критику стремления демократии политизировать все решения можно выявить в проведенном Дэвидом Эстлундом эпистемическом усовершенствовании процедурной демократии, в предложении Пьера Розанваллона расширить область неполитических решений и в призыве Филипа Петти к «республике разума»¹⁹.

18. Weber M. From Max Weber: Essays in Sociology // H. H. Gerth, C. W. Mills (eds.). New York: Oxford University Press, 1958. P. 231–34.

19. Rosanvallon P. Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust / A. Goldhammer (trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 2012; Pettit P. Depoliticizing Democracy // Ratio Juris. 2004. Vol. 17. No. 1. P. 52–65; Pettit P. Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory // Debating Deliberative Democracy / J. S. Fishkin, P. Laslett (eds.). Oxford: Blackwell, 2003. P. 138–162; Estlund. Democratic Authority.

Конечно, стремление этих авторов к неполитическому не связано с теми мотивами, которые были у Манна или антидемократов-традиционалистов. То есть было бы серьезной ошибкой понимать эти критические подходы в том смысле, словно их призыв к неполитическому выражается на традиционном языке антидемократии и преследует те же цели.

Критика изнутри

Современная критика демократической политики сложна. Как и в Древних Афинах, она оформилась вместе с демократией, сопровождая ее развитие и в какой-то мере участвуя в ее становлении. Как уже было сказано, критикой демократии занимаются не только непримиримые враги правления большинства, но и, что намного интереснее, те, кого я предлагаю называть «внутренними критиками»²⁰. В отличие от антидемократических критиков, наличие последних свидетельствует о недовольстве некоторыми аспектами демократической практики и институтов. Оно представляется радикальным выражением недовольства, отличного по своему типу от нападков на демократию, берущих начало в антиэгалитарных принципах политической легитимности. Разные направления критики следует тщательно отличать друг от друга, и параллель с размышлениями Манна может помочь нам их оценить.

Если Манн порицал процесс демократизации, то намерение современных критиков, действующих изнутри, состоит в том, чтобы, скажем так, защитить демократию от ее собственной слабости. Эстлунд ставит под вопрос релятивистские или «нигилистические» следствия политической интерпретации демократического процедурализма (которая критикует «обращение к истине...

20. Этот аргумент я выдвинула в: *Urbinati N. Unpolitical Democracy // Political Theory. 2010. Vol. 38. No. 1. P. 65–92.*

в качестве антиполитического») и предлагает озабочиться качеством результата или «содержательным качеством ее решений», а не самим процессом, как главной ценностью демократии²¹. Розанваллон с одобрением отмечает то, что в представительной демократии обычные политические процессы удачно восполняются и качественнее реализуются неполитическими методами — бюрократическими практиками и безличными механизмами контроля (то есть «негативной» силой суждения), созданными для поддержки решений, которые больше согласуются с демократическими принципами и менее партийны²². Наконец, Петти утверждает, что «деполитизация демократии» необходима для политического обсуждения: «Если обсуждение и в самом деле должно править в общественной жизни, нет иного варианта, кроме как разными способами деполитизировать общественную жизнь»²³.

Все эти критики озабочены разными вещами. Манна больше всего волновал распад коммунитарных ценностей, таких как этическая «миссия» немецкого народа. Он полагал, что процессы внутренней и международной демократизации сделают всех людей «свободными и равными», но при этом люди перестанут быть нацией, поскольку последняя не является суммой равных частей. Современные критики демократии изнутри озабочены совсем другим, поскольку и цель у них другая. Они стремятся не к защите или восстановлению неких коммунитарных благ, а к достижению решений, действительно оформляемых согласно принципу включения, провозглашенному самой демократией, и согласованных с ним. Их волнует исчезновение именно того, что Манн считал главными дефектами демократии, — рациональности, гуманизма и индивидуальной свободы.

21. *Estlund*. Democratic Authority. P. 23, 27.

22. *Rosanvallon*. Counter-Democracy. P. 14–15.

23. *Pettit*. Depoliticizing Democracy. P. 64.

Озабоченность Эстлунда, Розанваллона и Петти связана с упадком независимого разума и беспристрастного суждения, которые выступают единственными основаниями решений, приближающихся к истине и способных сделать демократию более легитимной и безопасной.

Однако, несмотря на все эти важные различия, современные критики демократии изнутри полагают, подобно Манну, что демократия (особенно представительная, которая способствует партийной конкуренции и пропагандистским искажениям) внутренне предрасположена к взращиванию партийных взглядов, что обусловлено ее политизирующей природой. Как говорила Нэнси Розенблум, эволюция современной демократии относится к истории «нравственного презрения к сторонникам партийных мнений» и к партийности²⁴. Привлекательность неполитического для современной демократической теории — это просто еще одна глава этой истории.

Как отнестись к искушению современной демократической теории неполитическим? Неудовлетворенность эпистемической трансформацией политического дискурса в делиберативной теории демократии возникла не сегодня. Направленные против плохо информированного, предвзятого, корыстного мнения граждан, эти возражения, из которых следуют попытки изобрести различные формы компетентных собраний, бюрократических хранилищ статистических знаний или комиссий неполитических экспертов, наставляющих парламенты, которые лишены экспертной подготовки, не представляют собой чего-то нового и не ограничиваются нашим временем и современным обществом²⁵. Но в последние

24. *Rosenblum*. On the Side the Angels. P. 25–26.

25. *Ball*. Transforming Political Discourse. P. 115–120. Дж. С. Милль считал парламентские экспертные комиссии, проводящие обсуждение, стратегией, благодаря которой законодательное собрание может просто голосовать по вопросам, то есть решать задачу, которая требует определенной дисциплины и специальных навыков. См.: *Mill*. Considerations on Representative Government. Chap. 5.

годы они снова дали о себе знать, и этот феномен требует выявления и изучения.

Фактически ученые уже приступили к его изучению. Некоторые теоретики политики критиковали антиристорическое использование делиберации как действие «ограниченного разума», рассматривая его в качестве упадка гражданского политического действия²⁶. Делиберативную теорию они обвинили в том, что она превращает демократию в режим консенсуса, который исключает антагонизм и несогласие, что в итоге приводит к политической апатии граждан²⁷. Моя программа критики неapolитического поворота иная. Я намереваюсь поставить планитонизм под вопрос, отправляясь от той точки зрения на демократию, которая является, строго говоря, процедурной и которая, как я уже объясняла, согласуется с диархией воли и мнения, конституирующей представительную демократию. Свои доводы я собираюсь представить, обсуждая неapolитическое требование, состоящее в том, что вопросы общественного значения должны получать деполитизированные ответы, хотя и известно, что это явно противоречит характеру демократии. Таким образом, в данной главе я буду рассматривать заявления о политизации, сделанные внутри демократической теории, как образцовый случай нарушения диархической природы демократии путем аннулирования или сужения области доксы. Эта та самая «критика изнутри», которая, добейся

26. Янг одна из первых начала критиковать рационалистическую роль обсуждения: *Young I. Justice and the Politics of Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990. Chap. 4. См. также: *Yack B. Rhetoric and Public Reasoning: An Aristotelian Understanding of Political Deliberation* // *Political Theory*. 2006. Vol. 34. P. 417–438; *Garsten B. Saving Persuasion*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006; *Zerilli L. Z. Response To Jon Simons* // *Political Theory*. 2000. Vol. 28. No. 2. P. 279–284.

27. *Mouffe C. Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?* // *Social Research*. 1999. Vol. 66. P. 745–758; *Mouffe C. The Democratic Paradox*. London: Verso, 2000. В особенности Chap. 4.

она успеха, могла бы изменить конфигурацию демократии и даже исказить ее.

Сегодняшней тенденции к неполитическим взглядам на демократию я противопоставлю три критических аргумента. Первый указывает на эпистемическое применение обсуждения как противоядия от самой демократической политики; второй говорит о расширении «негативной» роли суждения, которая становится заметной благодаря искушению неполитическим; третий отсылает к устранению мнения внутри той модели суждения, которая подогнана под юриспруденцию и является по своему характеру, скорее, судебной, а не политико-делиберативной. Идеализация неполитического у Эстлунда, Розанваллона и Петти, а также их критические размышления о стратегической конкуренции политических взглядов и партийности служат красноречивыми примерами этих крайне важных трендов.

Три указанных автора относятся к разным интеллектуальным традициям, они решают разные задачи, однако в их логике есть заметные сходства. Они не одиноки в этой борьбе с политической демократией, но они, несомненно, являются первооткрывателями в своей сфере, наиболее представительными и изобретательными мыслителями в этой области политической теории. Эстлунд отождествляет процедурализм, в основном, с шумпетеровской интерпретацией или инструментальной конкуренцией за избрание и доводит следствия делиберативной критики до крайности, поскольку изображает процедуралистскую теорию демократии в качестве функционалистской модели, которая пуста в нормативном отношении и заинтересована, по существу, лишь в победе, а потому является макиавеллистской в наиболее грубом смысле этого термина. Розанваллон свой аргумент о неполитическом оформляет диалектикой действующей политики (институциональной *легитимности* или работы демократических процедур) и контрполитики (акций *неповиновения* или же критической работы общества, направленной против парламентских решений), размещая

запрос на неполитическое в последней, то есть в области *негативной власти суждения*. Петти выстраивает область деполитизации демократии, обращаясь к старой республиканской стратегии, которая разделяет две главных функции демократической практики — обсуждение и решение. По его мнению, первое должно сопровождаться компетентным и бесстрастным суждением, а также конкурентным контролем над предложениями и решениями, тогда как последнее должно заключаться попросту в голосовании и правиле большинства, двух критериях демократического принятия решения, используемых гражданами (на выборах) и их представителями.

Что касается целей их критики партийного и основанного на мнении характера демократии, предмет критики у Этлунда — это исключительно *политический процедурализм*, поскольку он стремится убедить граждан, будто политические решения безразличны к собственному содержанию; для Розанваллона мишень — это популизм, на который обречена представительная демократия, если только не предпринять мер предосторожности, например, закрыть возможность превращения всех вопросов в предмет демократического решения; наконец, аргументы Петти бьют по самой «системе, благодаря которой правит коллективная воля народа» при представительной демократии, а именно по *центральной функции парламентов* или законодательных органов, которая, с его точки зрения, уже является популистской²⁸.

Несмотря на все эти значительные различия, размышления трех данных авторов о природе демократии и связанных с нею рисках являются образцовыми, и все они вдохновляются идеалом делиберативной демократии как процесса рационализации коллективных решений. Этот проект рационализации должен способствовать постепенному, но весьма заметному сокращению сферы демократической политики, заня-

28. Pettit. Depoliticizing Democracy. P. 59.

той мнениями, сферы, в которой решения принимаются в согласии с правилом большинства, поскольку рациональное согласие здесь на структурном уровне отсутствует. Они указывают на то, что ценность и достоинство обсуждения заключены в его способности скорректировать демократию, освободив ее от доксы и ее склонности к политизации, — либо путем снижения возможности иррациональных (то есть партийных, предубежденных или попросту неверных) результатов (Эстлунд), либо за счет блокировки пути к демагогии (Розанваллон), либо, наконец, посредством сужения авторитета представительных органов и голосования граждан, которым предпочитают коллегии присяжных и юридическая стратегия контроля (Петти). Я поступлю следующим образом: сначала проанализирую каждую из трех этих интерпретаций, а потом обозначу общий для всех них аспект, который состоит в распространении на политическое суждение характера, модели и цели судебного суждения.

Инструмент истины

Эпистемическая теория демократии, которая лучше всего представлена работами Эстлунда, является вариантом внутреннего развития делиберативной теории демократии, однако она выходит далеко за пределы последней, поскольку приписывает демократическим процедурам задачу, которая состоит не только в том, чтобы подводить к автономным решениям, принимаемым гражданами демократии, но также и в порождении «истинных» или «верных» решений²⁹. Нормативное оправ-

29. Источником вдохновения при создании этого раздела стала для меня статья, над которой я работала вместе с Марией Паулой Саффон: *Saffon M.P., Urbinati N. Procedural Democracy: The Bulwark of Equal Liberty // Political Theory. 2013. Vol. 41. No. 3. P. 441–481 (в особенности P. 445–450).*

дание процедур состоит не в том, что они опираются на свободы граждан и закрепляют их равное достоинство, но в том, что они извлекают из их коллективного обсуждения ценный результат. Оно состоит в пересмотре классической делиберативной теории демократии.

Обсуждение в классической интерпретации Юргена Хабермаса связано с тем, что дискурсивные социальные отношения между гражданами обладают определенным достоинством: они производят лучшие решения, которые не столь предвзяты, как решения, произведенные инструментальными сделками или простым правилом большинства³⁰. Считается, что они лучше благодаря порождаемым ими моральным благам, таким как взаимность, автономия и включение всех граждан. Следовательно, с точки зрения теоретиков делиберативной демократии, вопрос обсуждения — это не столько «правильность» решений, сколько моральное «основание» их приемлемости. Именно из-за морального основания демократических практик Хабермас приходит к выводу, что правило большинства как смягченная борьба за власть — это более низкий тип решения. Хабермас восхваляет демократический процедурализм за правильную в моральном отношении установку участников, которую им дает процедурализм, и полагает, что эта цель достигается неслучайно. В самом деле, хотя, с его точки зрения, значение имеют не следствия, а процедуры, интенция, с которой участники вступают в делиберативное разбирательство, также имеет значение, поскольку только при таком условии делиберативный процесс может способствовать их вос-

30. *Habermas. Facts and Norms*. P. 292–295; об отождествлении процедурной демократии с шumpетерианством и о том, как такое отождествление скомпрометировало нормативное понимание этой интерпретации и, по сути, облегчило формирование искаженного представления о том, как функционируют демократические процедуры, см.: *Mackie. Schumpeter's Leadership Democracy*.

питанию (к примеру, вступление в разбирательство ради продвижения неких заранее определенных интересов или достижения определенных благ противоположно делиберативной ментальной установке, поскольку оно исключает открытый и честный обмен доводами «за» и «против»). Хабермас указывает на то, что мы должны уважать демократические процедуры, поскольку реализуемый ими процесс состоит в «практическом дискурсе». Поэтому-то он и легитимен. Следовательно, он различает политический процесс «баланса властей» и тот процесс, что состоит в «практическом дискурсе». Если первый позволяет людям вступать в обсуждение с целью переговоров, компромисса или «нахождения точки равновесия между конфликтующими частными интересами», последний позволяет им стремиться к общему интересу за счет обсуждения. Только последний является морально легитимным коллективным поведением в демократии, но не первый, который Хабермасом отождествляется с классической, то есть шумпетеровской интерпретацией процедурализма³¹. Таким образом, хотя он критикует оправдание и оценку демократического обсуждения с точки зрения эпистемических результатов, Хабермас склоняет нас дать ему положительную оценку, которая была бы основана на морали, а не только на политике. «Следовательно, в нормативном дискурсе достижение рационального согласия замещается чем-то вроде взаимной гармонизации чувств»³².

31. *Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action / C. Lenhardt, S. W. Nicholson (trans.). Cambridge, MA: MIT Press, 1993. P. 71–72.* Доведя эту модальность до крайности, Боман выступил против процедурализма, поскольку тот является автореферентным: «Простое соблюдение процедуры, не важно, насколько справедливой, не повлияет на качество достигнутого соглашения или на аргументы, выдвигаемые в его поддержку». *Bohman J. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. P. 51.*

32. *Habermas. The Inclusion of the Other. P. 19.*

Теория эпистемической демократии доводит этот подход к процедурам (то есть рассуждение с позиции такого результата их применения, который отличался бы от регулирования политического поведения в условиях свободы) до крайних выводов, утверждая, что классическая делиберативная теория сама по себе неудовлетворительна, поскольку она все еще не уделяет внимания тому, что дает обсуждение³³. Эта теория более радикальна, чем Хабермас и сторонники делиберативизма, в том, что касается подгонки процедур под эпистемическую цель правильности, она не останавливается просто на допущении, что такой результат может быть самым частым, поскольку демократия допускает пересмотр и исправление ранее принятых решений³⁴. Теоретики делиберативной демократии принимают главный аргумент процедурализма, гласящий, что «исправимость» или «возможность усовершенствования» — это центральный аспект демократии, хотя они нацелены на моральное оправдание применения процедур, следуя традиции Канта. Но эпистемические теоретики его не принимают. По Эстлунду, равного отношения к гражданам и избирателям как нормативного взгляда на требования демократии еще недостаточно, поскольку оно предполагает фокусировку на условиях («считается, что заслуга демократических решений относится исключительно к их прошлому»), а не на результатах, которые как раз и представляются лучшим тестом для оценки демократических процедур. Эти процедуры должны побуждать граждан к правильным решениям — такова главная цель, к которой должна стремиться демократия; они должны разрабатываться так, чтобы решения всегда или почти всегда были правильными с точки зрения внешних (по отношению

33. *Habermas*. *Facts and Norms*. P. 294.

34. Такая критика ранее высказывалась Бернаром Маненом: *Manin B.* *On Legitimacy and Political Deliberation* // *Political Theory*. 1987. Vol. 15. No. 3. P. 338–368.

к процедурам и политическому процессу) или «независимых стандартов»³⁵.

Другие теоретики демократии, близкие к эпистемической позиции, также выражали неудовлетворенность чисто политической интерпретацией демократических процедур, поскольку, по их словам, в эти процедуры легко проникает стратегически важная рациональность, а потому они структурно неспособны указать однозначный путь к решениям, которые были бы верны в моральном смысле³⁶. Их волнует то, что в такой версии демократии нет «содержательных политических стандартов», то есть, по сути, «независимых стандартов», которые ограничивают политический выбор особым образом, на что не способно свойственное позиции Хабермаса внимание к условиям. Обоснования легитимации, требующей подчинения, моральными стандартами недостаточно для того, чтобы исключить произвол политической власти, поскольку «сложно понять, какую можно было бы занять оценочную позицию, с которой критиковать саму возможность авторитетных моральных требований»³⁷. То есть теоретики эпистемического подхода считают, похоже, что правильные решения — это лучший путь к оправданию власти, и де-

35. «Следовательно, как мы выяснили, нормативная демократическая теория в основном опиралась на такую посылку: в пользу легитимного демократического решения можно, самое большее, сказать то, что оно произведено процедурой, которая в каком-то смысле требует равного отношения к избирателям». *Estlund. Democratic Authority*. P. 98.

36. *Cohen J. The Arc of the Moral Universe and Other Essays*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. P. 188–191; *Goodin. Reflective Democracy*. Chap. 5.

37. *Estlund. Democratic Authority*. P. 27, 29. Ср.: *Pettit. Republicanism*. P. 180–182. Как пишет Эстлунд, если в центре системы политических ценностей лежит антагонизм, «в апелляциях к истине в политическом дискурсе возникает предсказуемая амбивалентность», и столь же предсказуемой «ценой» [такого положения дел] оказывается «нигилизм». *Estlund. Democratic Authority*. P. 23, 27.

мократия должна пойти по нему, поскольку, вопреки аристократическому аргументу, толпа обычных людей может принимать верные решения. Таким образом, эпистемическая концепция демократии выдвигает два важных тезиса: во-первых, у «толпы» есть достоинство³⁸; во-вторых, существует разница между «эпистократическим» призывом к истине (авторитарным, поскольку элитистским и не эгалитарным) и эпистемическими демократическими стандартами (которым могут следовать все, поскольку все обладают эпистемическим равенством). Только последняя позиция гарантирует независимость суждения тех, кто его выносит (посылка антиолигархичности). Модель, на которую сторон-

38. Своим успехом термин «мудрость толпы» обязан Джеймсу Суrowьски (*Surowiecki J. The Wisdom of Crowds. New York: Anchor Books, 2005*), который, опираясь на эмпирические и экспериментальные доказательства, утверждает, что группа, состоящая из разных индивидов, более или менее разумных и в разной мере неосведомленных, принимает лучшие решения, чем небольшая группа равно осведомленных индивидов, разделяющих близкие мнения (см., в особенности, первую главу его книги). Защита коллективного обсуждения («many-brains») основана на двух аргументах: во-первых, «„компетентность“ группы или шанс на правоту у нее может быть больше, чем такой же шанс у наиболее компетентных членов группы», а во-вторых, «достаточно большое собрание индивидов, выносящих довольно плохие суждения (но при этом собрание не просто случайных людей) может легко оказаться более компетентным, чем небольшая комиссия весьма компетентных экспертов». «Королларий» тут следующий: «разнообразие, то есть статистическая независимость предположений, очень многое значит в эффективности группы, поддерживая постоянный уровень компетентности». См.: *Vermeule A. Many-Minds Arguments in Legal Theory // The Journal of Legal Analysis. 2009. Vol. 1. P. 5*. Относительно недавно Элен Ландемор использовала эту теорему, чтобы опровергнуть олигархическое применение «хорошего» рассуждения и доказать, что большие группы более диверсифицированы, поскольку более многочисленны, чем небольшие группы интеллектуалов. *Landemore H. Democratic Reason: The Mechanism of Collective Intelligence in Politics // Collective Wisdom: Principles and Mechanisms / H. Landemore, J. Elster (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 251–289.*

ники эпистемической демократии опираются в своей аргументации, — это коллегия присяжных: «Когда суд присяжных проводится правильно, он, видимо, может вынести вердикт, подкрепленный не только законной, но также и моральной силой»³⁹.

Теоретики эпистемического подхода придерживаются инструменталистской позиции, хотя и не являются шумпетерианцами, поскольку полагают, что процедуры следует считать не методом отбора политического класса, а методом разработки правильных решений. Они предполагают, что демократическая теория должна уделять больше внимания качеству решений, а не тому, в какой мере процедуры защищают политическую автономию или равные политические свободы. Поэтому Эстлунд критикует «глубинный процедурализм [Хабермаса] — его версию аргумента об отсутствии истины»⁴⁰. Кроме того, Эстлунд заявляет: «Не сам процедурализм является проблемой, а попытка опираться только на него. Демократическую власть и легитимность невозможно понять, не опираясь в той или иной мере на идею ретроспективной или чисто процедурной ценности, как бы она ни понималась», то есть не учитывая «тенденцию принимать решения, которые лучше или справедливее по стандартам, независимым от конкретной процедуры, которая произвела эти решения»⁴¹.

В конечном счете эпистемическая демократия желает того, чего не желает делиберативная демократия, — объективных стандартов оценки общественного выбора, которые бы стояли над политической коммуникацией и ее процедурами. Ее цель — получить стандарт истинности, обещающий такие (принимаемые коллективом равных) решения, которые не только правильны в процедурном смысле или значимы в силу консенсу-

39. *Estlund*. Democratic Authority. P. 7.

40. *Ibid*. P. 29.

41. *Ibid*. P. 97.

са с принципами и правилами конституции. Эстлунд считает чисто политический процедурализм формой «нигилизма» и полагает, что «из-за его формализма, безразличного к содержанию, граждане не могут восхищаться демократией и ценить ее»⁴². Что касается правовой силы, она также не является достаточным для легитимной власти условием; необходимо как раз, чтобы демократические процедуры действовали «с тенденцией к правильным решениям»⁴³. Следовательно, решения должны считаться не просто значимыми, но и «верными с точки зрения независимых стандартов»⁴⁴. Чисто политическая интерпретация демократических процедур не может достичь этого результата, а значит процесс, обещающий равное отношение ко всем гражданам, независимо от содержания их решений, не обещает слишком многого⁴⁵.

Эпистемическая доктрина — это радикальная попытка деполитизировать демократию, сделав ее частью поиска истины; она доводит до теоретического совершенства некоторые эмпирические и прагматические предложения по созданию форумов для коллективного обсуждения, участники которых руководствуются «хорошими процедурами» и желают прийти к «справедливым решениям» или «правильным ответам», — такие форумы выступают практическим примером эпистемической интерпретации демократии⁴⁶. В самом деле, в этих экспериментах воплощается идеал обсуждения как того, что дополняет выборные представительные органы, чьи решения вряд ли могут опираться на широ-

42. Ibid. P. 27; *Saffon, Urbinati*. Procedural Democracy. P. 6.

43. *Estlund*. Democratic Authority. P. 8, 98.

44. Ibid. P. 98.

45. Процедуралисты «считают, что доброкачественность или правильность результата полностью определяется тем, что он возник в результате правильного применения определенных процедур». *Goodin*. Reflective Democracy. P. 92.

46. *Estlund*. Democratic Authority. P. 18.

кий консенсус, а потому вряд ли преодолевают чувство несправедливости⁴⁷. Докса — это проблема как для эмпирических делиберационистов, так и для теоретиков эпистемического подхода.

В целом превращение политического принятия решений в эпистемический процесс резко расходится с демократией — во-первых, потому что оно ставит под вопрос диархическую структуру представительного правления и демократический процедурализм, а во-вторых, потому что оно опровергает условие автономии или имманентизма, которое присуще демократической власти. Первый проект оспаривает политический характер демократии и ее обещание — равную политическую свободу, которая достигается благодаря прямому или косвенному участию всех граждан в составлении и оценке законов, которым они подчиняются; второй бросает вызов самой ее сущности.

Что касается первого проекта, демократия не обещает более истинных или более верных решений, например тех, что принимаются технократами, и так же она не требует того, чтобы все граждане были компетентными или чтобы они приобрели определенные знания, которые позволят им принимать правильные решения. Условие равенства, предполагаемое демократией, — это условие возможности, а не содержания. Мы спрашиваем: «Должно ли различие в компетенции исчезнуть по мере развития демократии или же, напротив, компетентность, как представляется, противоречит демократии, когда теоретики желают добиться ее равного распределения?». Эти вопросы выявляют платонистскую интерпретацию политики и демократической ущербности, поскольку равного распределения компетентности самого по себе недостаточно для того, что-

47. *Fung A. Varieties of Participation in Complex Governance // Public Administration Review* 2006. Vol. 66. P. 66–75; *Ackerman B., Fishkin J. Deliberation Day*. New Haven, CT: Yale University Press, 2004. P. 179–184.

бы сделать коллективное обсуждение демократическим. Толпа, состоящая из людей, которые, если дать им определенные данные и процедуры обсуждения, достигает единодушного результата, все еще не обязательно будет демократическим собранием, хотя, несомненно, это эгалитарное собрание. Фактически неясно, кто будет судить о нужном уровне компетентности и о корректности решений, если не сами граждане.

Второй проект нарушает автономию демократии, поскольку противоречит принципу имманентности, на котором покоится эта политическая система. Согласно Эстлунду, демократические решения лучше недемократических, поскольку обычно они производят более уместные или более качественные результаты: эпистемическое качество демократических процедур он делает источником их легитимности. Этот инструментальный подход, похоже, указывает на то, что легитимность, обеспечивающая подчинение законам, опирается на результат, который еще нужно доказать, что является парадоксом, поскольку постфактумная «постфактум-логика» требовала бы того, чтобы граждане имели шанс проверить результаты законов, прежде чем подчиниться им. Кроме того, эпистемическая власть меряет процедуры по внешнему критерию оценки их результатов, а это противоречит принципу демократической автономии. Кроме того, кто в демократии может определить правильность решений, если не те самые люди, которые их воплощают в жизнь или назначают кого-то их воплотить? И даже если бы такой судья существовал «независимо» от акторов, не был бы он сувереном? Как я утверждала в предшествующей главе, демократия — это имманентный процесс, поскольку при оценке своей власти она не исходит из какой бы то ни было внешней точки отсчета⁴⁸. Следовательно, и докса, и изменчивость мнений явля-

48. *Habermas. Between Facts and Norms. P. 106.*

ются внутренне присущими ей качествами, а это значит, что демократическая легитимность не может зависеть от той посылки, что она приводит к правильным решениям.

Демократии, чтобы быть легитимной, не нужно идти по пути к истине. И хотя кандидаты обещают нам хорошие результаты, граждане ждут их, а процедуры — допускают, не они являются причиной легитимности демократической власти. И тогда, когда мы получаем хорошие результаты, и тогда, когда они нас разочаровывают, процедуры являются легитимно демократическими, поскольку они обеспечивают то, для чего они и созданы: они защищают свободу членов демократии на принятие «неправильных» решений⁴⁹. В этом смысле демократия, очевидно, не является перфекционистской. Я бы сказала, что она лишена добродетелей. Эта мысль была блестяще сформулирована Альбертом О. Хиршманом, который писал, что единственная действительно важная добродетель демократии — это *любовь к неопределенности*, которая является не какой-то наивной влюбленностью, а умственной привычкой, поддерживаемой открытым процессом формирования общественного мнения (открытым для обсуждения и новых сведений, ставящих под вопрос устоявшиеся мнения)⁵⁰. Хиршман говорил также, что максимум *errare humanum*

49. «Верно то, что демократический режим подвергается риску, состоящему в том, что люди будут совершать ошибки. Однако риск ошибок существует во всех режимах реального мира... Кроме того, возможность совершать ошибки — это возможность учиться. [...] Только демократическая позиция, в своем лучшем варианте, способна, в отличие от внешней опеки, дать надежду на то, что, занявшись самоуправлением, все, а не только меньшинство, смогут научиться поступать как морально ответственные люди». *Dahl R. Controlling Nuclear Weapons: Democracy vs. Guardianship*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1985. P. 51.

50. *Hirschman A. O. On Democracy in Latin America* // *New York Review of Books*, May 10, 1986; см. также: *Hirschman A. O. Doubt and Anti-fascist Action in Italy, 1936–1938* // *A Propensity to Self-Subversion*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. P. 118–119.

est («человеку свойственно ошибаться») следует понимать не только в том смысле, что мы, люди, можем совершать ошибки, но и в том, что только люди способны их совершать⁵¹. Демократические процедуры поддерживают нашу внутреннюю потребность в изменении наших мнений и ранее принятых решений, не обременяя нас ни крайним сроком, к которому надо было бы достигнуть правильного результата, ни требованием окончательности этого результата.

Это означает, что вероятность принятия «неправильных» решений не должна рассматриваться в качестве слабости демократии (как я объясняю далее, анализируя политическое суждение, «неправильными» считаются решения, которые либо не выполняют наших обещаний, либо не дают того, что мы считали полезным или благотворным для нашего политического сообщества). Демократические процедуры сочетают в себе два условия: определенную однородность (все должны обладать равными в каком-то смысле правами на участие в политической власти) и разнообразие (каждый гражданин представляет собой нечто особое), то есть разнообразие интересов, мнений и ценностей; кроме того, они предполагают, что несогласие (которое может порождаться разнообразием) полезно, поскольку придает демократическому процессу сил, наделяет его способностью к обновлению, но не обязательно является средством для получения более верных результатов⁵². И если истина стремится преодолеть несогласие, последнее всегда предполагается демократическими процедурами. В этом смысле демократию следует судить не по ее способности выдавать правильные результаты, а по тому, насколько она позволяет всем взглядам

51. *Hirschman A. O. Shifting Involvements: Private Interest and Public Action*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982. P. 123.

52. Ср.: *Ober J. Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. P. 31–33.

или идеям открыто и свободно конкурировать за принятие решений, которые с точки зрения этих идей, важны для того, чтобы сдержать данные демократией обещания⁵³. Как указал Аристотель, политику можно отождествить со свободой, поскольку она является областью мнения. Демократия обещает, что будет лучшим условием для достижения этой цели, поскольку поддерживает равное распределение политической власти.

Но как только политику превращают в область истины, она становится нетерпимой к спорам, свободе и миру, поскольку возникает риск, что политические конфликты приобретут насильственный и неуправляемый характер. Когда политическая арена захватывается конфликтующими интерпретациями того, что именно означает истинная идея, достичь между ними компромисса становится сложнее, а в логическом смысле он представляется невозможным. Поскольку противоположностью истины является заблуждение, нет смысла терпеть заблуждение, если только те, кто разделяют его, не видят в нем некую временную ошибку, которая будет преодолена. Отличное оправдание этой установки было предложено Цицероном, который выступает важным ориентиром для оценки различия между разными видами диалога, в особенности философского и политического.

Цицерон исследовал разногласия, возникающие, с одной стороны, в спорах внутри философских школ и между философами, а с другой — между ораторами на форуме. Он утверждал, что, если согласие в споре первого типа невозможно, человек, принимающий участие в *sermo* (то есть философском споре), может свободно следовать своему собственному суждению, если его философская школа не дает ему никакого надежного совета относительно того, как разрешить конфликт

53. Так, Калликл у Платона говорит, что философы «несведущи в законах своего города». Платон. Горгий, 484d. // Собр. соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 524.

разных базовых посылок. «Но пусть каждый защищает свои взгляды, поскольку суждение свободно: я буду следовать своему правилу, не будучи связан законами какой-либо школы, которые я был бы обязан соблюдать, и всегда буду искать наиболее вероятное решение каждой проблемы»⁵⁴. Однако приостановка суждения представлялась в политическом споре крайне нежелательной и на деле даже невозможной, поскольку с такими решениями можно в лучшем случае помедлить, но их нельзя подвесить, а в большинстве случаев и отложить. Кроме того, у полиса есть надежные принципы разрешения конфликтов в законах, как конституционных, так и обычных. В целом приостановка суждения признавалась возможной только в философских спорах. Конечно, Цицерон не имел в виду то, что философы должны быть свободны во всех своих мнениях или толерантны ко всем убеждениям — не больше, чем рядовой гражданин или судья. Его теория разногласия и различия между истиной и вероятностью опиралась на базовое согласие относительно человеческой разумности; так или иначе, приостановка философского суждения совершалась ради устранения неопределенности и достижения истины. Цицерон не практиковал то, что современные сторонники эпистемической теории называют «нигилизмом». Его философской школой была Академия, умеренный скептицизм которой равноудален как от платонизма, так и пирронизма или абсолютно-го скептицизма. Вероятность, а не полная приостановка суждения, и рассуждение *in utramque partem* (с разных сторон), а не догматическая утвердительность — вот основные правила Академии и гражданского красноречия⁵⁵. Умеренный скептицизм Цицерон считал ключом к продолжению *sermo*: «Философы Академии поступали

54. Cicero M. T. *Tusculan Disputations* // J. E. King (trans.). Loeb Classic Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945. P. 335.

55. См.: Remer. *Humanism and the Rhetoric of Toleration*. P. 16–26.

мудро, когда не соглашались ни с одним положением, которое не было доказано... ничто не порочит достоинство и принципиальность философа больше, чем принятие ложного мнения или поддержка некоей теории, которая не была в полной мере исследована и понята»⁵⁶.

То есть правила *sermo* должны отличаться от правил риторики, поскольку первые диктовались истиной, а вторая — осторожностью (*decorum* или *уместностью*), которая требовала того, чтобы оратор сообразовывался с характером аудитории и не навязывал стандарт достоверности предметам, имевшим отношение к убеждению, которым занимаются свободные граждане. Ориентир для оратора — это благо республики, то есть сохранение свободы и гражданского мира, а потому закон и права выступают его надежным руководством. Позиция Цицерона не отличается от предложенной Джоном Ролзом, который также доказывал, что разногласия, поддерживаемые во имя истины, по самой своей природе легко вырождаются в насилие, поскольку стороны считают своим долгом сопротивляться ошибкам других и убеждать их в том, что является истиной. Старым, но все еще красноречивым примером безуспешного обсуждения, участники которого намеревались прийти к соглашению относительно определенных основ и истин, являются многочисленные религиозные советы, состоявшиеся в первые десятилетия после протеста Лютера, — они не только поставили под вопрос гуманистическое стремление к миру, но и радикализировали религиозные разногласия, открыв путь религиозным войнам. Диалог был неуместным, поскольку взгляды, вызвавшие распрю, оказалось невозможным согласовать⁵⁷. Когда вопросом политики оказывается истина,

56. Cicero M.T. De natura deorum // A. S. Pease (ed.). Loeb Classic Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955–1958. Chap. LI.

57. В середине XX века Кельзен писал, что попытки оправдать демократию через «эпистемическое» качество ее решений равнозначно ее уподоблению «ослу в львиной шкуре», поскольку

на место уговоров и обсуждения приходит прозелитизм, а на место толерантности — преследование. Вот в чем заключался источник религиозных войн. Его пагубная логика не может исчезнуть просто потому, что мы создадим демократию, для этого нужно, чтобы мы изъяли из политического дискурса поиск истины.

Фактически теологи (и католические, и протестантские), которые в XVII веке собрались урегулировать свои догматические разногласия посредством диалога, потерпели крах, поскольку они намеревались применить предложенные Цицероном правила *sermo*, а не правила риторики⁵⁸. Их выбор был предсказуемым, поскольку они желали достичь не мира в свободе, а определенной гармонии (*concordia*), которая достигалась лишь истинной и которая требовала преодоления значимых различий (то есть «заблуждений») и приостановки решений до тех пор, пока не будет найдена истина⁵⁹. Правила

ку политическое сообщество в целом не является институтом, предназначенным прежде всего для выяснения и применения объективного стандарта политической «истины», да и не следует ожидать, что оно будет выполнять такую функцию. Обоснование политической легитимности одним лишь принципом автономии («повинуйся законам, которые мы принимаем») позволяет осмыслить посылку, согласно которой объективный стандарт политической истины недостижим. *Kelsen H. The Essence and Value of Democracy. P. 90.* Его доказательство того, что демократия не может оперировать догматическими убеждениями, см. также в: *Kelsen H. Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics // American Political Science Review. 1948. Vol. 42. No. 5. P. 906–914.*

58. Отличный анализ примера срыва совещания по примирению католиков и кальвинистов во Франции (за десять лет до резни гугенотов) см. в: *Nugent D. Ecumenism in the Age of the Reformation: The Colloquy of Poissy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974.*

59. Как писал Марио Туркетти, пространство для компромисса было шире, когда постреформационные христиане плохо знали позиции друг друга; вопреки надеждам духовного светоча сопсодиа, Эразма Роттердамского (который несколько десятилетий выступал источником теоретического вдохновения как для католиков, так и для кальвинистов), «основоположения веры»,

sermo стали рецептом нетерпимости и войны, поскольку они были несовместимы с плюрализмом⁶⁰. Для продолжения диалога и сохранения мира потребовалась бы стратегия минимизации доктринального религиозного содержания, а потому свертывания этики согласованности и укрепления этики уважения⁶¹. Однако принять эту позицию можно было только в том случае, если бы диалог был переведен из области истины (в данном случае теологии) в область политики или гражданской риторики. Истина наделяет авторитетом знания, а по-

которые считались базовой истиной, не подлежащей обсуждению и разделяемой всеми христианами как таковыми, стали главным предметом разногласий и раздоров между различными христианскими деноминациями. Преодоление разногласия означало бы преодоление различия среди христиан, то есть требовало бы принадлежности к одной и той же церкви. Но именно ради различия и был осуществлен разрыв с «основоположениями веры». *Turchetti M. Concordia o Tolleranza? François Bauduin (1520–1573) e i 'Moyenneurs'.* Milan: Franco Angeli, 1984. P. 102–108.

60. Сторонники Конкордии, католики и протестанты, противопоставили свою идею единства имперским моделям, которые были основаны на религиозном плюрализме, например, в Османской империи или старой Римской империи. *Lecler J. Liberté de Conscience: Origines et sens divers de l'expression // Recherches de Science religieuse.* 1966. Vol. 54. P. 394.
61. Связь «стойких убеждений» с нетерпимостью и, наоборот, более скептического настроя с терпимостью, нашла широкий отклик в современных исследованиях. *Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978. Vol. 2. P. 244–254; *King P. Toleration.* London: Allen and Unwin, 1976. P. 122–131. Критическую интерпретацию, в которой подчеркиваются, в частности, «предательские» и релятивистские нотки скептицизма, см. в: *Tuck R. Scepticism and Toleration in the Seventeenth Century // Justifying Toleration: Conceptual and Historical Perspectives / S. Mendus (ed.).* Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 21–35; критику модернистской посылки, связывающей терпимость со скептицизмом, см. в: *Nederman C. Toleration, Skepticism, and the 'Clash of Ideas' // Beyond the Persecuting Society: Religious Toleration Before the Enlightenment / J. C. Laursen, C. J. Nederman (eds.).* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998. P. 66–67.

тому представляет плюрализм мнений чем-то временным, простым инструментом для определенного результата. Более того, обращение к истине в политике ведет к противоборству, поскольку не допускает урегулирования спора⁶². Как понятно, теоретики эпистемического подхода образцом для коллективного принятия решений считают суд и судебное суждение (устанавливающее истину относительно определенного факта), а не политическое собрание или деятельность законодателей. Как я собираюсь доказать в конце этой главы, эпистемический неполитический идеал покоится на уравнивании суждения в юриспруденции и суждения в политике.

Еще одно возражение на эпистемическую концепцию заключается в следующем: когда мы должны закончить проверку «правильности» решения? В отличие от суда, который должен вынести и который действительно выносит окончательный вердикт, демократия является открытой игрой политических решений и пересмотра ранее принятых решений. Она не заключается в процессе, чья цель — заполнить вакуум знания в какой-то момент будущего, а потом прекратить принимать решения. Ее процедуры не созданы для порождения окончательных решений. Демократические решения, как и все политические решения, принимаются во временном измерении настоящего, но, в противоположность другим процессам принятия решений, они не обещают окончательного разрешения той или иной политической проблемы. Согласие с возможностью правовых изменений — это признание того, что демократические процедуры нацелены на регулирование постоянно возникающих конфликтов и разногласий.

62. Как говорит Ролз, «считать политическую концепцию истинной, а потому единственно подходящим основанием публичного разума, — путь к исключению, даже к сектантству, способный породить политические распри». *Rawls. Political Liberalism*. P. 129.

Как уже было сказано ранее, теоретики эпистемической демократии заявляют, что опираются на теорему Кондорсе о присяжных, когда доказывают то, что демократия должна быть процедурой, стремящейся к рождению правильных решений. Однако эта теорема совершенно не подходит для объяснения обсуждения, происходящего в политических собраниях⁶³. В «ошибке», состоящей в применении этой теоремы к политическим собраниям, виноваты, однако, современные теоретики эпистемической демократии, а не сам Кондорсе, который, когда ему пришлось разрабатывать конституцию Французской республики (1792–1793), отказался от теоремы присяжных, предусмотрев возможность несогласия относительно толкования конституции и одновременно возможность конституционных поправок. В действительности он внес важный вклад в демократический конституционализм, поскольку законодательную деятельность в представительном собрании он истолковал в качестве работы по реализации и интерпретации принципов и прав, содержащихся в конституции, то есть работы, которая по своей природе открыта для различных мнений и разногласий. Соответственно, Кондорсе принял разногласия за тот горизонт, в котором следует оценивать процесс демократического принятия решений⁶⁴. Поэтому он ставил вопрос, как именно снизить уровень нестабильности этого демократического процесса, не обращаясь к недемократическим стратегиям. Кондорсе, хотя

63. Обер отмечает: «Теорема присяжных у Кондорсе ограничена бинарным суждением... Однако теорема Кондорсе не способна объяснить процесс принятия решений в афинском собрании, где большое количество людей, некоторые из которых были экспертами в различных областях, связанных с вопросом повестки, часто выбирали одно политическое решение из множества возможных, выслушав предварительно череду речей». Ober. *Democracy and Knowledge*. P. 109.

64. Condorcet. Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens. P. 427–428.

он с подозрением относился к партиям и фракциям, соглашался с тем, что предмет демократии — это мнение, а не истина. То есть он полагал, что политическая работа выборного собрания и избирателей должна рассматриваться как процесс постоянного усовершенствования. Он говорил: «Сегодняшние избиратели — просто люди, которые не могут дать другим людям, равным им, ничего, кроме законов, которые столь же преходящи, как и они сами»⁶⁵.

Этим не отрицается то, что должны существовать ограничения обычного порядка действия демократической процедуры. Такова функция конституционализма, и это же главный объект права в версии Аристотеля, как мы увидим далее. Можно предотвратить получение при демократии «неправильных» результатов, конституционализовав политику. Однако оценка «правильности» решения опирается на критерий, внутренний самому механизму, а потому и самому мнению⁶⁶. Как доказывал Фрэнк Майклмен, процедуры законотворчества производят «действующие законы», а не истинные законы: «Чтобы режим законотворчества оставался верным, ему не нужно порождать совершенно справедливые законы; скорее, ему нужны лишь процедуры, способные производить действующие законы»⁶⁷. Интерпретации конституции не только возможны, но и разрешены, поскольку разнообразие мнений — это условие, ценимое и всегда требуемое демократической свободой. Разделение на большинство

65. *Condorcet. Lettres à M.le Comte Mathieu de Montmerency. P. 375, 371.*
(Перевод на английский мой. — Н.У.).

66. «Как только философ предлагал свою истину, свое размышление о вечности полису, оно тут же становилось одним мнением из многих». *Arendt H. Philosophy and Politics // Social Research. 1990. Vol. 57. No. 1. P. 78.*

67. *Michelman F. How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy // Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics / J. Bohman, W. Rehg (eds.). Cambridge, MA: MIT Press, 1997. P. 148.*

и меньшинство — это основное правило, которое управляет миром публичного обмена мнениями, при котором обсуждаются политические вопросы, — и в том случае, когда ставкой является сама конституция (а решение принимается референдумом)⁶⁸, и тогда, когда рассматриваются рутинные политические решения. Заявление о том, что существует или должна существовать одна правильная интерпретация ценностей равенства и свободы, не зависящая от обстоятельств, в которых эти ценности применяются, представляется с демократической точки зрения сомнительным. Как и у Кондорсе, конституционализм нужен именно потому, что предвидеть можно как раз несогласие, а не наоборот. Однако эпистемическая доктрина, похоже, полагает, что перспективной является согласие, а потому отрицает или чрезмерно сужает роль политики в разработке нормативных ценностей.

68. Чтобы ограничить изменение конституций представительными собраниями, во многих современных демократиях было принято правило квалифицированного большинства. Однако, хотя этот метод нацелен на защиту конституции от представителей (которые не могут использовать ее по собственному произволу), он не является нарушением принципа равенства, поскольку не требует предварительно отобрать меньшинство. Кельзен, непримиримый сторонник принципа большинства, считал, что единственный способ сделать права юридически действенными — вписать их в конституцию и закрыть возможность их беспрепятственного изменения или отмены избранным большинством. Поэтому он пришел к выводу, что подлинная институционализация принципа большинства требует введения определенных ограничений, связанных с квалифицированным большинством, которые составляют основание для различения разных «уровней» законодательства. «Защита меньшинства — главная функция так называемых свобод и фундаментальных прав, прав человека и гражданина, которые гарантированы всеми современными демократическими парламентскими конституциями... Типичный способ принятия конституционных законов, отличающий их от обычных законов, заключается в требовании большего кворума или особого большинства, составляющего, возможно, две трети или три четверти голосов». *Kelsen. The Essence and Value of Democracy. P. 50.*

Эпистемические аргументы, используемые для определения демократической легитимности, создают две дополнительных проблемы, которые связаны, соответственно, со значением эпистемического поворота и с обращением к Аристотелю. Попытка доказать то, что демократия хороша или более способна к истинным решениям, поскольку коллектив рационален, — это стратегия, разработанная в XVIII веке против распространенного антидемократического аргумента, утверждающего, что демократия — это дурной режим, поскольку он опирается на большинство, а оно некомпетентно и иррационально⁶⁹. Жан-Жак Руссо и Кондорсе ответили на эту классической критику, сместив локус политической легитимности с содержания и результата на процедуры, упорядочивающие работу коллективных собраний. Желая оспорить аристократический аргумент, согласно которому для правления нужны добродетель и знания, они должны были доказать то, что политическое равенство может удовлетворить критериям знания и компетентности. Но сегодня трудно понять, какой спор стал причиной того, что теоретики эпистемического подхода снова стали сводить вопрос легитимности к компетентности. Зачем нам уподоблять демократию аристократии и зачем одевать ее в одежды лучших или лучшего?

Второй проблематичный аргумент заключается в защите эпистемической демократии за счет Аристотелевой критики платоновской эпистократии⁷⁰. В действительности, хотя Аристотель считал демократию выро-

69. Как утверждал Мэдисон, чем более многочисленным является собрание, тем в большей мере решения подвержены воздействию страстей и фракционных интересов: «Невежество станет жертвой хитростей, а страсть — рабом софистики и декламаций». *Federalist*. No. 58 // Madison J., Hamilton A., Jay J. *The Federalist Papers* / I. Kramnick (ed.). Marmondsworth: Penguin, 1987.

70. *Estlund*. *Democratic Authority*. P. 208–209; *Waldron*. *The Dignity of Legislation*. P. 33–34.

ждением конституционного правления, когда ему было нужно оценить роль многих, он признавал их блестящие способности вести обсуждения в публичном собрании (*ekklesia*) и судах присяжных (*dikastes*). Но это не полная картина позиции Аристотеля относительно демократии. Неверно будет сказать, будто, по Аристотелю, большинство является компетентным в принятии хороших законов, если мы не примем его ключевого различия между законами и постановлениями. Именно этого не учитывают те теоретики эпистемического подхода, которые отсылают к авторитету Аристотеля. С его точки зрения, большинство хорошо (и, на самом деле, лучше меньшинства) в *суждениях по конкретным делам*, и это как раз то, чем должны заниматься собрание и присяжные, поскольку они судят в соответствии с уже существующим законом (конституцией), созданным законодателем (*nomothéton*). Фактически собрание принимало не законы, а постановления (*psephismata*), а присяжные выносили вердикты по конкретным делам (гражданским и уголовным). Но, по Аристотелю, большинство просто не способно к составлению «законов», и в этом смысле оно не наделялось авторитетом *nomothéton*'а. Добродетель, то есть качество, которое намного проще встретить в отдельных людях, выступала принципом и условием хорошего правления и законодательства⁷¹. Эту позицию мы должны учитывать, когда желаем представить Аристотеля другом толп. С его точки зрения, большинство использовало согласие (а не добродетель) как стратегию принятия решений, так что оно не могло принимать политические решения, которые удовлетворяли бы независимым стандартам, а потому большинство не могло превратить доксу в *arête*, добродетель. Но причина, по которым граждане заседали в собраниях, состояла не в этом.

71. См.: Lane M. Aristotle as Schumpeterian? The Multitude's Claim to «Rule» as a Claim to Election and Inspection Only // The Cambridge Companion to Aristotle's Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

По Аристотелю, участие большинства в законотворчестве имело существенное значение для достижения свободы. Граждане защищали свою свободу участием в политике в двух смыслах: во-первых, их значительное количество служило важным препятствием коррупции (даже самые богатые граждане не могли купить большинство в суде или в собрании); а во-вторых, они могли действовать сообща, показывая тем самым, что, хотя каждый по отдельности слаб, включение [в общественную жизнь] всех независимо от их индивидуальных качеств (или знания) давало им силы и способность к самоуправлению. И если правление меньшинства опиралось на исключительные личности, большинство обладало добродетелью, позволяющей принимать согласованные решения (то есть их умением в большей степени была кооперация, а не знания)⁷². В этом-то и состояла мудрость толпы. Небольшие группы легко распадались, поскольку они слишком малы, чтобы сдерживать эгоизм сильных личностей. Однако власть немногих великих людей должна нивелироваться в большом скоплении людей. Так или иначе, по Аристотелю, большинство *не состязалось* с меньшинством в вопросах правильности, блага или мудрости решений. Оно состязалось с ним на территории свободы, утверждая, что способно управлять собой, хотя у него и нет особых личных качеств, добродетели или чести; а также на территории кооперации, которой великим личностям достичь сложнее⁷³. Такова была цель и логика, которыми руководствовалась афинская демократия-

72. Обер предложил своеобразную теорему для этого функционального коллективного действия, которая восстанавливает в правах теорию Хайека о диффузной экспертизе, осуществляющейся за счет социально передаваемой информации: «Ключом к успешному демократическому принятию решений является интеграция рассеянных и неявных технических знаний с социальными знаниями и общими ценностями». Ober. *Democracy and Knowledge*. P. 18.

73. Ср.: Raaflaub K. A. II. *Democracy, Oligarchy, and the Concept of the Tree Citizen in Late Fifth-Century Athens* // *Political Theory* 1983. Vol. 11.

ческая революция. Большинство претендовало на свободу, а не на правильность, когда требовало участия в законодательном собрании. Демократия — это режим свободы, а не эпистемы.

В целом демократия — это дело свободы, а не истины. Она лучше любого другого режима не потому, что порождает хорошие решения, а потому что позволяет чувствовать себя напрямую ответственными за принимаемые нами решения, причем достигается это за счет тех самых процедур, благодаря которым принимаются решения, которым все мы подчиняемся. При демократии мы автономны не только потому, что подчиняемся принятым нами законам, но и потому, что «задаем повестку», относящуюся к проблемам, которые мы считаем важными и которые мы желаем решить. Демократия — это метод не просто решения проблем (как считается в эпистемическом подходе), но также и именования проблем, а также превращения данности в проблему за счет публичного обсуждения⁷⁴. Следовательно, рассматривать с теоретической точки зрения ценность демократической компетентности — значит «иметь дело с очевидным парадоксом. Демократическая *легитимация* требует того, чтобы к речи каждого относились с толерантностью и на равных условиях. Тогда как демократическая *компетентность* требует, чтобы речь была под-

Р. 517–524; Hansen. Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Р. 71–78.

74. «Как указывал Аристотель, мы не рассуждаем о вещах, которые, как мы полагаем, просто по своей природе не могут быть иными». Hampshire S. Innocence and Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. Р. 56–57. Ростбёлл, хотя и выступал против теоретиков минималистской демократии, подчеркнул то, что предпочтения нельзя рассматривать в качестве «данности», поскольку значение обсуждения состоит как раз в создании институтов и социальных условий, которые ведут к «свободе мнения и формированию воли». Rostbäll C. F. Deliberative Freedom: Deliberative Democracy as Critical Theory. New York: State University of New York Press, 2008. Р. 22.

чинена дисциплинарной власти, отличающей хорошие идеи от плохих»⁷⁵. Демократическое общество обладает многими источниками власти, действующими в разных областях — начиная с рынков и заканчивая судами, однако высшим авторитетом остается «общественное мнение», образованию и информированности которого способствует свобода речи и собраний, но без гарантий успеха.

Теории эпистемической демократии можно предъявить еще одно, на этот раз последнее возражение: когда мы говорим о политических «решениях» (правильных или неправильных, верных или ошибочных), мы не должны рассматривать решения так, словно бы все они были тождественны по типу. По большей части политические решения — это решения по крайне спорным вопросам, а не только и не сколько по вопросам, сводящимся к решению рациональных задач. Это вопросы, результатом обсуждения которых становится закон, требующий подчинения от всех граждан, а не только от тех, кто считает его правильным или справедливым. Ученый, который признает свои ошибки и соглашается с результатами своих коллег, капитулирует перед истиной, то есть смиряется, а не просто подчиняется. Суд присяжных, который выносит вердикт, выдает окончательное и далее не пересматриваемое решение, которое для всех обладает одной и той же интерпретацией; свобода пересмотра вела бы к компрометации ценности правосудия. Следовательно, даже апелляция к «правильности» имеет другое значение в политическом собрании. «Различие между судом присяжных и электоратом в том, что, если суд присяжных имеет дело с вопросом, у которого есть для всех правильный ответ, для разных избирателей правильными могут быть разные решения»⁷⁶.

75. *Post. Democracy, Expertise, Academic Freedom*. P. 34.

76. *Przeworski. Minimalist Conception of Democracy*. P. 29.

Как я буду объяснять в следующем разделе этой главы, ни область научного познания, ни сфера судебного правосудия не могут гарантировать того, что свобода всегда останется главным принципом, поскольку поиск истины должен чем-то завершиться. Но в политике это не так: вопросы вроде «Какое у нас должно быть здравоохранение?» получают такие решения, «правильность» которых вряд ли можно определить, поскольку их практически невозможно решить, дав раз и навсегда один-единственный истинный ответ⁷⁷. Повиновение таким решениям не требует признания их правильности; из него не вытекает капитуляции перед решением или отказа от его пересмотра. Как показал Ганс Кельзен, из повиновения закону следует принятие конституционного и правового порядка, а кроме того процедур, благодаря которым он стал возможен: вот чему мы подчиняемся, когда подчиняемся закону, с которым не согласны⁷⁸. Это подчинение не просто тому или иному решению, но всей институциональной системе. Таково место демократической власти, место, в соотношении с которым возникают вопросы политической легитимности.

Негативная власть суждения

Расширение неполитического в современной демократии было представлено Розанваллоном в качестве особенности представительной демократии — как непрерывная динамика *реакций* гражданского общества на действия политических институтов. Демократическая политика выступает одновременно в позитивном и негативном значении. *Позитивный* смысл указывает на формальный, уполномочивающий суверенитет

77. Holmes. *Passions & Constraint*. P. 196–198.

78. Kelsen. *The Essence and Value of Democracy*. Chap. 6.

воли, которая рождается из голосования граждан и правомочной работы институтов. *Негативный* описывает все те неформальные публичные действия, которые создают *препятствия*, склоняют к *ревизии* и *суждению*, то есть те формы участия, в которых граждане проверяют работу демократических институтов и мирно критикуют установленный порядок. По Розанваллону, эти неформальные публичные действия играют более важную роль для демократической легитимности, чем прямые или традиционные позитивные действия, поскольку сегодня гражданам нужно, прежде всего, знать, что процедуры используются правильно. Следовательно, области, которые первоначально считались внешними для демократического принятия решений или даже сдерживающими его, например, бюрократия или правосудие, являются, напротив, существенными составляющими демократической легитимности.

Следует вкратце представить значение всего проекта Розанваллона по переосмыслению демократии с точки зрения стабилизирующей функции неполитических секторов коллективного действия, таких как правосудие и, прежде всего, бюрократия. Последней, которая традиционно считалась чем-то противоположным политике и демократии, Розанваллон приписывает две ключевых функции: с одной стороны, бюрократия выступает силой интеграции и солидарности в обществе, которое является предельно индивидуалистическим, а во-вторых, она является силой, внедряющей беспристрастность в демократическое политическое объединение, в котором решения принимаются в соответствии с правилом большинства, а потому несут ярко выраженный отпечаток партийности и пристрастности. Конечно, главный фактор этого перехода от негативного толкования к позитивному имеет отношение к изменению функции бюрократии в современных западных обществах, а также к евроинтеграции. То есть переоценка бюрократии у Розанваллона отражает определенный тренд в европейской демократической мысли; она свя-

зана со стабилизирующей ролью Европейского союза, который был создан, прежде всего, благодаря капиллярной системе норм и правил, способных навязать единообразные стандарты различным национальным системам управления. Однако заключение, утверждающее, что бюрократический дух внутренне присущ демократии, влечет ряд теоретических следствий, выходящих за пределы этих контекстуальных причин. Старые концепции бюрократии, созданные в XIX веке и фокусировавшиеся на строгой иерархии, централизованном государственном контроле и упорядоченной работе с людьми и проблемами, уступили место размытой практике регулирования на уровне местных, региональных и муниципальных администраций. Европейский союз помог реабилитировать бюрократию, одновременно меняя ее характер и превращая в основной ресурс демократии в ее местном модусе самоуправления. Это новое отношение к бюрократии показывает, что именно, по мысли Розанваллона, представляет собой расширение негативной власти суждения за счет позитивной: оно состоит в желании граждан не столько участвовать в принятии решений, сколько проверять их и наблюдать за ними. То есть они в большей мере играют роль судей, чем политических акторов.

Из трех форм публичных действий, связанных с негативной властью — сдерживанием, надзором и суждением — последнее, очевидно, является наиболее современным и важным⁷⁹. Роль суждения в политике разрослась во второй половине XX века, что было связано с укреплением конституционной демократии, технологической революцией в средствах информации и коммуникации, с расширением гражданского общества как в национальных, так и в глобальных масшта-

79. Бдительность (*vigilance*), разоблачение (*dénonciation*) и аттестация (*notation*) — три «*pouvoirs de surveillance*» («надзорных силы»), которые используются негативной властью. *Rosanvallón. Counter-Democracy*. P. 12–18.

бах, а также с протестными движениями⁸⁰. Гражданское общество приобретает облик огромного суда или форума, оценивающего поведение политических лидеров и должностных лиц, а также подталкивающего их к одним решениям и отвращающего от других. Но в представительной демократии субъектом этой негативной политики становится не гражданин-избиратель, а гражданин-судья, который постоянно занят публичным надзором, способным оказать значительное влияние на институты, пусть оно остается неформальным и неофициальным. По Розанваллону, суждение — это место контрполитики или контрдемократии (противостоящей, соответственно, решениям, принятым демократическими институтами); оно дислоцировано в гражданском политическом обществе, реализуясь в виде постоянной работы по оценке *politique politisée*, то есть политизированной политики. Негативная власть — это выражение недоверия граждан, когда недоверие — это не просто симптом неудовлетворенности (которая в демократическом обществе присутствует постоянно и никогда не сменяется полным удовлетворением), а активная сила контрвласти⁸¹. Контрполи-

80. Ранее Гоше предложил параллель между судьей (в суде) и мнением (в гражданском обществе), объяснив ее тем, что они в равной мере задействуют «постоянное представительство» суверена, хотя и желают не столько взять на себя обычные полномочия суверена, сколько попросту напомнить ему о том, что необходимо придерживаться конституционных ограничений. *Gauchet M. La révolution des pouvoirs: La souveraineté, le peuple et la représentation 1789–1799. Paris: Gallimard, 1995. P. 36–43.* За ценную помощь в осмыслении во французской традиции феномена бюрократии я благодарю Дженифер Хадсон (Jennifer Hudson).

81. «Une telle défiance démocratique s'exprime et s'organise de multiples façons. J'en distinguerais trois modalités principales: les pouvoirs de surveillance, les formes d'empêchement, les mises à l'épreuve d'un jugement». *Rosanvallon. La contre-démocratie: La politique à l'âge de la défiance. Paris: Seuil, 2006.* [«Демократическое недоверие может выражаться и организовываться разными спо-

тика или негативная политика, по Розанваллону, могут быть неполитическими по своим формам, но сами по себе не являются реакцией против политики. В действительности гражданин-судья может инициировать фронтальное противостояние официальным политическим властям, но по своим результатам оно не является антиполитическим⁸².

Однако неполитические качества, проявляемые суждением, которое проверяет институционализированную политику или же следит за ней, могут вызвать отвлечение к политике и даже к демократии. Более того, они способны мобилизовать тех акторов, которые невидимы для людей, от чьего имени провозглашается определенное мнение. Как отмечает Розанваллон, интернет революционизировал само понятие мнения, поскольку он претендует на непосредственное представление мнения публики пользователями сети, которые преодолевают любое опосредование, как структурное, так и организационное. Сеть разрушает тайны и уловки, выдавая нам всю информацию, однако она сопротивляется арифметическому измерению и агрегации любого рода. Если традиционные массмедиа ведут к концентрации, то сеть занята децентрацией, и если первые руководят зрителями по централизованному плану, то вторая уничтожает централизованное планирование⁸³. Сеть служит обществу лучше, чем демократия, которая нуждается в центральном моменте решения или легитимных акторах вроде избирателей, голосующих во всей стране в одно и то же время и по одним и тем же правилам.

Розанваллон осознает риск деперсонализации и фрагментации, отмечая, что, хотя *démocratie impolitique* — это расширение косвенного влияния граждан

собами. Среди них я выделил бы три основных модальности — силы надзора, формы сдерживания, испытания суждением». Английский перевод: *Rosanvallon. Counter-Democracy. P. 8.*]

82. *Rosanvallon. Counter-Democracy. P. 214–220.*

83. *Rosanvallon. La légitimité démocratique. P. 338–340.*

на институты и их представителей, осуществляемого цензорским суждением, она может вызвать «упадок политического» именно в тот момент, когда открывает внутреннюю связь демократической политики с частными интересами и даже коррупцией, о чем говорил и Манн⁸⁴. Этим объясняется, почему в современной демократии гражданский надзор и критика осуществляются не ради большего участия или более прямого отправления власти гражданами. Негативная власть граждан говорит, скорее, об *уклонении от власти*, а не о требовании власти, и это еще одна причина, по которой суждение — это власть зрителя, а не актера. Как мы будем объяснять далее, в отличие от политического актера, судья, чтобы судить компетентно, должен не увлекаться разбираемым делом, то есть должен сохранять по отношению к нему дистанцию⁸⁵. С точки зрения Розанваллона, такова актуальная и нормативная позиция граждан, когда они следят за решениями своих представителей и оценивают их.

Неполитическая демократия — это отстраненная форма участия, напоминающая участие независимых зрителей или оценщиков. Она похожа на форму пассивного присутствия, изображающего незаинтересованность. В самом деле, цель гражданина-судьи — повысить прозрачность и беспристрастность власти, а не ее доступность или масштаб. Ее [неполитической демократии] цель — разработать институты и правила, которые в долгосрочной перспективе, возможно, сделают политическое участие менее необходимым. Парадокс в том,

84. *Rosanvallon. La contre-démocratie. P. 354.*

85. Арендт зафиксировала политические следствия, вытекающие из того, что некто является зрителем или, напротив, актером: первый способен на беспристрастное суждение, однако второй неизбежно пристрастен; «лишь зритель занимает позицию, позволяющую видеть целое; актер, будучи частью пьесы, должен играть свою роль, — он участник по определению». *Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: Наука, 2012. С. 98.*

что апатия, то есть оскудение страстной вовлеченности оказывается, судя по всему, конечным итогом эффективной негативной власти⁸⁶. Это следствие приводит к законному подозрению, что контрполитика или неполитическая демократия в самом деле способны подтолкнуть к отказу от политики — то есть либо к отвращению к обычной политике, либо к популистскому стремлению решительно порвать с этой обычной политикой.

Как уже было сказано, Розанваллон признает все эти возможные риски. Однако его, похоже, не тревожат скрытые антиполитические следствия расширения неполитического. В действительности он рассматривает негативную власть граждан в качестве эффективного барьера против избытка политики (и, более того, популизма), то есть патологии демократии и действительного отрицания политики, которому Розанваллон противопоставляет идею контрдемократии или сопротивления решениям, принятым такими политическими органами, как парламенты⁸⁷. Как я объясняю в следующей главе, популизм для представительной демократии является тем же, чем для прямой демократии антично — была демагогия. Его можно описать как агрессивное применение политической партийности ради преодоления плюрализма партийных взглядов и создания объединенного мнения, то есть создания одного партийного взгляда, который представлял бы народ в целом.

86. Критический анализ мифа о независимом (непартийном) гражданине см. в: *Rosenblum*. *On the Side of the Angels*, в частности гл. 7.

87. «Le populisme peut être appréhendé dans ce cas comme une forme d'expression politique dans laquelle le projet démocratique se laisse totalement aspirer et vampiriser par la contre-démocratie: il est la forme extrême de l'anti-politique». *Rosanvallón*. *La contre-démocratie*. P. 276. [«Популизм в этом случае может представляться в качестве формы политического выражения, в которой демократический проект поддается полному захвату и поглощению контрдемократией, то есть он является крайней формой антиполитики». (Английский перевод: *Rosanvallón*. *Counter-Democracy*. P. 268.)

В интерпретации Розанваллона, расширение беспристрастного суждения должно стать противоядием от популизма, поскольку партийность, в отличие от беспристрастного и независимого суждения, — это естественная среда популизма. Соответственно дискуссионные форумы и экспертные комиссии по отдельным проблемам (подобные практики публичного суждения широко распространены в современной внутренней и международной политике) должны приветствоваться как места негативной власти в современной демократии. Они выступают противовесами партийной политики и большинства, способного обернуться тиранией, а кроме того они вводят в игру запас недоверия (*r  serve de d  fiance*), который естественным образом присутствует в демократическом обществе. Они делают общество более внимательным, а не мобилизуют его, более подозрительным и недоверчивым к лидеру и идеологии. Они заставляют граждан не доверять политике и пытаться прийти к бесстрастному суждению и беспристрастности.

Ценность обсуждения в действительности доказывается от противного — неверным употреблением суждения в популизме: когда *популистский лидер аудитории* объявляет себя истинным представителем воли народа, стоящим выше и по ту сторону мандата избирателей, он приводит в движение разрушительную силу суждения и ставит под вопрос не только плохую или коррумпированную работу государственных институтов, но и саму избирательную политику, защиту интересов как основную ее характеристику⁸⁸. Но, в противоположность амбиции популистского лидера, желающего представлять волю народа во всей ее чистоте независимо от мандата избирателей, гражданин-судья желает восстановить, а не опорочить моральную легитимность представительных институтов. Следовательно, негативная власть уважает позитивную власть представитель-

88. Ibidem.

ной демократии. А отсюда вывод Розанваллона о том, что, поскольку популизм — это угроза, таящаяся в генах партийной природы демократии, ее можно эффективно нейтрализовать, лишь освободив демократию от партийности. Беспристрастное суждение должно поэтому выполнять некую гигиеническую функцию.

Проблема в том, что граница, отделяющая неполитическое выражение народного недоверия от антиполитического, очень тонка, хотя и не по тем причинам, которые рассматривает Розанваллон. Если обратить внимание на недавнее распространение популизма (как в его традиционной форме, так и в облике видеократии) в Европе, можно понять, что популизм нашел благодатную почву именно в тех странах, где недоверие к партиям и партийности было особенно сильным. Кризис политических партий можно считать важным фактором развития новых форм популизма. Взять, например, случай Италии. Там Северная лига и движение Сильвио Берлускони — две популистских партии — возникли в 1990-е гг., когда традиционные партии пришли в упадок как из-за коррупции, так и из-за отмирания поляризованных идеологий холодной войны. Упадок партийных идентификаций вылился в упадок гражданского участия (как на выборах, так и в ассоциациях), а также в увеличении дистанции между гражданами и институтами⁸⁹. Однако он не привел к созданию более разумной публичной сферы. Также он не увеличил количество независимых избирателей и не подтолкнул развитие непартийных, более объективных источников информации⁹⁰. Напротив, он открыл путь но-

89. *Tambini D.* Nationalism in Italian Politics: The Stories of the Northern League, 1980–2000. London: Routledge 2001. Chaps. 3, 4; *Gallagher T.* Rome at Bay: The Challenge of the Northern League to the Italian State // *Government and Opposition*. 2007. Vol. 27. No. 4. P. 470–485.

90. По Манену, видеодемократия представляла собой новую стадию в развитии представительного правления, на которой партий-

вым политическим акторам и движениям, закрепившим свое господство на публичной арене, которая была очищена от партийных связей и наделена языком непартийной политики, в котором свободные частные медиа противопоставлялись традиционным формам политических собраний. Как я покажу на большем количестве примеров в четвертой главе, видеократический популизм сумел превратить граждан в неквалифицированную, неопределенную аудиторию, публику изолированных потребителей политической рекламы, безо всяких партийных привязанностей и без желания участвовать в политике.

Что же тогда выступает средством, позволяющим предотвратить опасность вытеснения политики, создаваемую негативной властью, особенно если последняя принимает форму недоверия и подозрения по отношению к партийным связям? Розанваллон соглашается с тем, что такое средство невозможно найти в мифических саморегулирующихся рынках, вопреки пророчествам неолибералов. Оно может располагаться не в инструментальном разуме частного лица, а в бесстрастном суждении гражданина. Как уже указывалось ранее, таким местом могут быть бюрократическая и судебная системы, поскольку обе они — сферы, в которых бесстрастное суждение и беспристрастность действуют в рамках институционального порядка. Защита демократии от опасности популизма обеспечивается расширением областей неполитических решений. Это, видимо, указывает на то, что испытанию подвергается именно политика, а не популизм. Причина, как мы увидим в следующей главе, возможно, в неявном отождествлении демократической политики с популистской политикой или, если говорить точнее, в обнаружении источника популизма в самом процессе политического

ность в подаче информации должна быть заменена более активной позицией. *Manin. Principles of Representative Government*. P. 228–229.

участия. Конечно, процедуры не дают достаточной гарантии от популизма, поскольку основаны на правиле большинства и победе как цели, которая движет политической конкуренцией политических мнений. Участие в демократической политике, даже когда оно осуществляется в соответствии с процедурами, основано на мнении, а мнения неизбежно отягощены пристрастностью, предрассудками и партийными предубеждениями.

Наряду с расширением бюрократии, еще одна стратегия, которую исследователи демократии выдвинули в качестве поправки к возможным дурным результатам политических собраний, состояла в создании «минипопули» (*minipopuli*), совещательных арен, помимо многих других экспериментов, которые все больше распространяются во всех демократических обществах и которые нацелены на дополнение институтов принятия решений мудростью толпы и рациональным советом⁹¹. Розанваллон высоко оценивает эти эксперименты по избирательному участию, считая их хранилищами рассудительности, то есть настоящим запасом беспристрастности и рефлексивности, двух качеств, которые способны усовершенствовать демократическую политику партийности. Давайте внимательнее проанализируем этот важный феномен.

Со второй половины XX века (после Нюрнбергского трибунала, ставшего символической точкой для легитимации роли суждения) суждение в политике получало все более высокую оценку и занимало все больше места. В то же время гражданин-судья, возникший в XIX веке в качестве генератора общественного мнения, постепенно становился все более специализированным и искушенным, в том числе благодаря технологической революции медиа. Наряду с традиционными формами суждения (надзором и контролем, порождаемыми широко распространенными политическими акциями

91. Rosanvallon. Counter-Democracy. P. 259–264.

граждан), большее влияние приобрели судебные формы цензуры и протестов. Их цель — не только в мониторинге обычных политических решений (чем, к примеру, занимаются конституционные суды) или предложении новых, альтернативных решений (функция общественного мнения и общественных движений), но и в выработке беспристрастных суждений по вопросам, которые, стоит только оставить их на усмотрение демократической политической сцены, стали бы жертвой предубеждений граждан. «Вот причина растущего значения, которое мы должны признать за развитием новых способов опосредующего структурирования надзора, осуществляемого активистскими, но *не партийными* организациями»⁹².

Двухпартийные комиссии, а не политические собрания или парламенты, — вот стратегия обсуждения и согласия, призывающая участников оттачивать свои пристрастные взгляды и рассуждения с той беспристрастностью, на которую способны лишь судьи в судах. Следовательно, идеальным местом беспристрастности оказывается область правосудия, а не рынка, поскольку первая больше согласуется с мониторингом как характером негативной власти и диархией воли и суждения, определяющей представительную демократию. Советательные форумы и собрания граждан, специально отобранных или выбранных, а также назначенных экспертов, объединяемых во временные комиссии ради решения проблем или критической оценки спорных вопросов, — это новая территория, на которой негативная власть гражданина-судьи предьявляет убедительные контрдемократические результаты⁹³.

Все это, с одной стороны, важные источники информации о мнениях граждан, а с другой — важные страте-

92. Ibid. P. 299.

93. Pettit P. Republican Freedom and Contestatory Democracy // Democracy's Value / I. Shapiro, C. Hacker-Cordon (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 163–190.

гии разработки решений спорных проблем в тех конкретных областях, которые больше относятся к управлению, чем к законотворчеству. Если же они способствуют законотворчеству, то именно посредством разработки компетентных предложений, отправляемых в законодательные органы. Власть суждения подчинена, как я утверждала в первой главе, власти воли. Идея диархии покоится на той базовой посылке, согласно которой две этих способности должны сотрудничать, но не замещать друг друга. Поэтому вопрос, который мы должны поставить, в том, действительно ли эти совещательные форумы являются истинным «освобождением» демократии от риска превращения в популизм, от рождения присущего ей. Я хотела бы высказать четыре возражения относительно способности этих новых экспериментов по независимому публичному обсуждению выполнить ту роль, которая приписывается им Розанваллоном и другими делиберативистскими теоретиками. Судя по всему, они не только не излечивают демократические общества от язвы популизма, но и способствуют обесцениванию работы демократических институтов.

Во-первых, концепция совещательных комиссий связана с утверждением, что представительные органы являются, в основном, партийными, а потому иррациональными или не способными вынести суждение об общественном благе; они ставят под вопрос главные институты современной демократии — выборы и представительство. «Гражданская способность» в коллективных акциях усиливается «гражданскими посредниками», которые являются не политическими партиями, а ассоциациями, фокус-группами и т. п. Цель — избежать «плюрализма мобилизованных групп интересов», который ведет к «вавилонской башне, запятнанной поляризованными спорами, безысходностью, господством»⁹⁴.

94. Briggs X. D. S. *Democracy as Problem Solving: Civic Capacity in Communities Across the Globe*. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. P. 302, 305.

Рассмотрим пример новых совещательных инициатив вроде «дня обсуждения» и распространяющихся практик невыборных, тщательно конструируемых собраний, в которые граждане отбираются для представительства (то есть для представления мнения общества в целом), то есть всех этих недавних экспериментов с гражданскими жюри и комиссиями, консультативными советами, собраниями заинтересованных сторон, введением обычных людей в профессиональные аудиторские комитеты, с представителями на публичных слушаниях, публичными предложениями, гражданскими оценками, делиберативным голосованием, совещательными форумами и фокус-группами. Все это примеры самоуполномоченных представительных форм, которые Джин Роу и Линн Дж. Фрюер называли «гражданскими представительствами»⁹⁵. Как требует идеал совещательных собраний такого рода, деятельность гражданских представителей должна дополнять работу выборных представительных органов и управленческих организаций в зонах функциональной слабости и в области крайне спорных вопросов, где хотелось бы, чтобы широкий консенсус снял чувство несправедливости, которое может создать решение, вынесенное большинством. Хотя эти совещательные собрания не обладают полномочиями, которые бы позволили им заменить официальные политические институты или же выборных представителей, то есть они должны давать советы, а не принимать решения, благодаря имиджу «компетентности» и «беспристрастности» их мнение приобретает мораль-

95. *Rowe G., Frewer L. J. Public Participation Methods: A Framework for Evaluation // Science, Technology & Human Values. 2000. Vol. 25. P. 3–29.* Отличный критический обзор деятельности гражданских комиссий см. в: *Brown M. B. Survey Article: Citizen Panels and the Concept of Representation // Journal of Political Philosophy. 2006. Vol. 14. P. 203–225; Fung A. Varieties of Participation in Complex Governance // Public Administration Review. 2006. Vol. 66. P. 66–75; Fishkin J. The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. New Haven, CT: Yale University Press, 1995.*

ный авторитет, который порой превосходит авторитет официальных политических органов (единственных, кто обладает демократической легитимностью). В этих случаях демократическая легитимность представляется ущербной, поскольку она не способна предложить решения, которые бы действительно были выше «воли всех», если парafразировать Руссо, теоретика, который выступает скрытым источником для современных критиков демократии, критикующих ее изнутри.

Второе критическое замечание относится к тому, что эти комиссии представляют собой вызов диархическому характеру демократического суверенитета еще в одном важном смысле. Действительно, с точки зрения их защитников, эти неформальные органы обсуждения должны быть не просто совещательными, но в каком-то отношении статистически представлять общую картину наличных, но скрытых предпочтений граждан, о которых должны знать власти, желающие представлять «народ». Это причина, по которой правительства все чаще создают гражданские жюри и комитеты, чья задача — представлять общие взгляды граждан по тому или иному вопросу⁹⁶. Однако если эти формы получают развитие, они станут новой проблемой для демократии, поскольку любой случайно подобранный совещательный орган неизбежно будет порождать мнения, отличающиеся от общественного мнения и, кроме того, от мнения, фиксируемого на выборах. Кто тогда сможет устранить расхождение между позитивной властью (выборными законодательными собраниями) и негативной властью (неформальными собраниями гражданских представителей)? Не получится ли так, что это расхождение приведет к непредусмотренным последствиям, усилив власть администрации и бюрократии?

96. *Urbinati N., Warren M. E. The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory // Annual Review of Political Science. 2008. Vol. 11. P. 387–412.*

В-третьих, эти совещательные комиссии могут поощрять элитизм, воплощая в себе гражданское участие, но при этом на самом деле склоняя к пассивности. Как отметил Брюс Акерман, организации со случайно подобранным составом могут стать инструментами, используемыми элитами для легитимации их политики и в то же время для уклонения от электоральной ответственности, а также для замещения более широкого гражданского суждения и участия⁹⁷. Кроме того, если мы оцениваем эти новые формы гражданских совещательных форумов с точки зрения участия в демократической политике, мы не можем пренебрегать тем, что это дополнительное представительство мобилизует немногих граждан, делая при этом многих (от имени которых отобранное меньшинство должно заявить свое взвешенное мнение) еще более пассивными. Джейн Мэнсбридж убедительно показала, что, поскольку участники таких форумов являются волонтерами, часто начинают доминировать те, у кого сильнее интерес к участию или же просто громче голос⁹⁸.

Сочетание невыборных органов и широких масс людей в отсутствие избирательного механизма само по себе стало бы для демократии проблемой, поскольку участие с самого начала и по принципиальным соображениям было бы отделено от решения. Но, как мы видели, демократические процедуры задают способ поведения, регулирующий участие (и при оформлении, и при принятии решений), направляя его на завоевание большинства голосов. Однако неполитическая демократия может повлечь смещение общественного действия за пределы тех областей, где политические решения должны приниматься согласно демократическим процедурам. В результате обычные граждане могут решить, что их функ-

97. *Ackerman B. We the People: Foundations. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 181.*

98. *Mansbridge. Beyond Adversary Democracy. P. 248–251.*

ция сводится к мониторингу и оценке. С этого может начаться трансформация значения политики, ее подгонка под цели и критерии, напоминающие созданную в XIX веке утопию рациональной власти экспертов, которых бы поддерживало большинство обычных людей. Наконец, в результате политика может предстать в виде интеллектуальной деятельности по достижению истинных результатов, решению проблем и искоренению «политически значимых разумных разногласий»⁹⁹. Комиссии экспертов, советы рассудительных и добродетельных граждан, которых просят дать совет, а не принять решение, это, как правило, средства, используемые государственными управленцами (выборными официальными руководителями, порой стремящимися к переизбранию) не только для консультаций, но и для получения большей народной поддержки, снижения градуса народного недовольства и кооптирования групп давления, представляющих наиболее важные интересы; одним словом, для повышения доверия к себе и улучшения своей репутации за счет «привлечения» граждан¹⁰⁰.

Четвертое критическое замечание относится к недостатку демократической легитимности у этих новых практик избирательного участия, оно указывает на то, что они могут сузить демократию, а не обогатить ее¹⁰¹. В самом деле, на совещательных форумах определение повестки и оформление обсуждаемых отобранными гражданами проблем не является политическим вопросом. Напротив, все это остается вне форума, являясь заботой посредников и организаторов подоб-

99. *Muirhead R.* Can Deliberative Democracy Be Partisan? // *Critical Review*. 2010. Vol. 22. P. 129–157.

100. *Brown*. Survey Article. P. 8.

101. Фишкин писал, что совещательное голосование является современной версией выбора по жребия в Древних Афинах: *Fishkin. Voice of the People*. P. 169; контраргументы см. в: *Brown*. Survey Article. P. 9–10.

ных совещательных экспериментов. Вопросы, подлежащие беспристрастному обсуждению, и процедуры, регулирующие обсуждение, не являются предметом выбора и решения самих участников, а это несомненное нарушение демократического принципа автономии. Совещательные форумы состоят из *подготовленных граждан*, то есть зрителей-судей, которые применяют правила и процедуры, разработанные другими, и выносят суждения относительно фактов, в отборе которых они не принимали участия. Отбор проблем, определение повестки, организация дискуссии, подбор аудитории, ведение обсуждения — все эти решения могут быть приняты без привлечения партийных соображений, если они принимаются не теми, кто должны судить или обсуждать. Если содержание и цель политики — объективность и беспристрастное суждение, участие граждан может потерять значение и даже стать нежелательным, поскольку в конце концов небольшое число компетентных или добродетельных участников могут лучше выполнить функцию обсуждения, чем многие обычные граждане.

Эта старая проблема, отражающая главное возражение против демократии как области мнений и решений большинства, обсуждалась еще со времен, по меньшей мере, классической брошюры Старого Олигарха и диалогов Платона. Ее возрождение в современной демократии на фоне беспримерного успеха демократических институтов должно беспокоить нас, но вряд ли должно удивлять, поскольку обсуждение традиционно считалось задачей компетентного меньшинства и одновременно методом усмирения страстей и сдерживания демократической стихии.

В риторической традиции, к которой принадлежит обсуждение, оно ценилось как деятельность, подходящая для *politeia* или *res publica* и относящаяся к „genus demonstrativum“ («торжественным речам»), поскольку эта традиция требовала не только принятия решений, но и такого воздействия на умы собеседников, кото-

рое бы позволило им сказать последнее слово и принять совместное решение (хотя и не обязательно согласиться друг с другом). Оба качества (принятие решений и воздействие на умы собеседников) напрямую связаны друг с другом, ведь если за счет речи ищут согласия, решающим моментом является открытость собеседников для чужой аргументации. Однако между обсуждением и публичностью, между обсуждением и политическим равенством нет необходимой связи.

Например, в государствах и княжествах раннего Нового времени князь и его советники обсуждали, как лучше начать войну или осуществить какую-то дипломатическую миссию, однако они тщательно избегали публичности. Более того, до революций XVIII века обсуждение связывалось с откровенной дискуссией равных по мудрости, то есть меньшинства, а также с осмотрительностью и осторожностью. Даже в наш демократический век обсуждение сохраняет двусмысленные отношения с участием и публичностью. Как писал Петти, «чтобы демократия оставалась делиберативной», следует отбросить электоральные интересы (то есть «личные идеалы и стремления»). В противном случае численный перевес неизбежно станет нормой принятия решений, что не всегда хорошо¹⁰².

Так или иначе, риск неполитического как бесстрастного суждения состоит в том, что оно способно указать на желательность обойти легитимную власть голосования граждан и парламента (двух основных компонентов современной демократии) или же заменить активную, действенную политику негативной политикой суждения. И в этом, как мы увидим далее, состоит мысль политических теоретиков, которые критикуют демократические институты принятия решений изнутри. Очевидно, политические инстанции, в которых принимаются решения, производят пристрастные мнения;

102. *Pettit. Depoliticizing Democracy. P. 56–57.*

как и в случае с любым решением, принимаемым большинством, порой в них выражаются предвзятые мнения. Решение, предлагаемое критиками демократии, которые критикуют ее изнутри, состоит, следовательно, в сужении роли демократических институтов (то есть гражданского голосования и парламентов) или, если говорить точнее, в лишении их статуса привилегированных мест принятия решений. «Электоральные интересы, — пишет Петти, — создают затруднения, поскольку они не позволяют кристаллизоваться и править общему благу, как требовала бы делиберативная демократия, а, напротив, наделяют властью другие источники влияния — страсти людей, стремления с их моральными идеалами и фракционные интересы»¹⁰³.

Республика разума

Стремление современных теоретиков к неполитическому коренится в таких интерпретациях демократии, которые, по существу, скептически относятся к ее способности предлагать справедливые или разумные политические программы и, следовательно, защищать частные свободы от воли большинства. Например, одна интерпретация — это электоральная теория демократии, согласно которой коллективные практики принятия решений, особенно электоральное поведение, — это методы, всегда характеризующиеся дефицитом рациональности. Другая интерпретация — это делиберативная теория демократии, которая включает в себя и в каком-то отношении корректирует минималистское определение процедурной демократии, превращая рассудочное оправдание в главную задачу участия в политике¹⁰⁴. Две эти интер-

103. Ibid. P. 54.

104. Интересное сравнение было предложено Миллером, который показывает, что делиберативный идеал выполняет обещания либерально-демократических институтов, поскольку, хотя

претации при всех их различиях сходятся в признании того, что демократической игре мнений, конкурирующих за победу на выборах или за поддержку большинства, в силу самой ее природы недостает способности к беспристрастной оценке. Неслучайно Петти объединяет две эти интерпретации, желая доказать, что «электоральные интересы могут угрожать идеалу делиберативной демократии»¹⁰⁵.

В обеих интерпретациях процессы демократического принятия решений обсуждаются в том же духе, в каком критики демократии говорили о ней со времен античной Греции. В них подчеркивается правило большинства, то есть неблагоприятная в конечном счете характеристика, которую они пытаются как-то изменить, сузить в объеме или дополнить за счет разработки определенных стратегий. «В современности демократия часто конструируется так, словно бы она в первую очередь была озабочена правилом голосования, определяющим волю большинства... Такое суженое определение демократии делает ее уязвимой для хорошо известных дилемм общественного выбора, включая рациональное невежество Даунса и теорему о невозможности Эрроу: если демократия как политическая система сводится к механизму решения, основанному на правиле голосования, и если это правило голосования как механизм решения внутренне ущербно, тогда (как давно отметили

он и исходит из «посылки, утверждающей, что политические предпочтения будут конфликтовать» и что демократические институты должны разрешать эти конфликты, «им предполагается, что это будет происходить в ходе открытого и добровольного обсуждения рассматриваемого вопроса с целью прийти к согласованному суждению». Неформальные процессы обсуждения снижают значение процедурных и институциональных факторов. *Miller D. Deliberative Democracy and Social Choice // Debating Deliberative Democracy / J. S. Fishkin, P. Laslett (eds.). Oxford: Blackwell, 2003. P. 183.*

105. *Pettit. Depoliticizing Democracy. P. 57.*

критики) демократия как политическая система тоже внутренне ущербна»¹⁰⁶.

Таков, насколько можно судить, подход Петти к демократии. Проект Петти — наследник достаточно минимальной концепции демократии, известной исследователям общественного выбора. «Электоральная демократия означает, видимо, то, что правительство не может быть совершенно равнодушным к взглядам людей на общие интересы... Но при электоральной демократии правительство обязано прислушиваться лишь к позиции большинства»¹⁰⁷. Однако взгляд Петти на демократию, что интереснее, наследует республиканской традиции, чье отношение к правлению большинства традиционно было по меньшей мере двусмысленным.

Нет нужды возвращаться к Цицерону или Полибию, чтобы выявить антидемократический дух республиканизма (Афины «всегда ассоциировались, если использовать метафору Полибия, с кораблем без капитана, которым движут ветра общественного мнения»¹⁰⁸). Рим и Афины представляли и продолжают представлять две разных модели политики и общества. Рим, как недавно написал Джон Данн, подарил нам значительную часть нашего политического языка, в том числе такие термины, как «гражданство», «конституция», «республика» и «федерация», однако он не дал нам «слова „демократия“... Демократия не является классическим латинским словом, более того, она не была римским образом мысли. Она не выражает то, как римляне (причем, насколько мы знаем, все римляне, без исключений) относились к политике»¹⁰⁹. Возрождение римской традиции в раннем Возрождении, а затем в XVIII веке заново утвердило и закрепило республиканское недо-

106. *Ober*. Original Meaning of Democracy. P. 3.

107. *Pettit*. Republicanism. P. 174.

108. *Ibid*. P. 167.

109. *Dunn*. Democracy. P. 54.

верие к демократии¹¹⁰. Как отмечает Петти, несмотря на «более позднюю перестройку традиции [республиканской теории], благодаря которой ей пытались приписать афинское происхождение и простоватую воодушевленность демократией и политическим участием, эта традиция, по существу, носила неоримский характер»¹¹¹. Возрождение Рима заметно и в современной политической теории, о чем весьма красноречиво свидетельствуют критики процедурной демократии, которых я обсуждаю в этой книге.

Неоримская республиканская традиция, которая возводит себя к Риму и традиции Цицерона, означает, прежде всего, верховенство закона, выступающего корректировкой к народной воле; это означает, что политика понимается в негативном смысле, как сдержки и противовесы, а не в позитивном, как участие в законотворческом процессе. Как пишет Петти в своей недавней работе «На народных условиях», граждане должны быть «надзирателями правительства», готовыми оспорить его действия, должны судить и контролировать, а не «принимать общественные решения»¹¹². На самом деле, Петти тут же вполне резонно добавляет, что республиканская «воодушевленность» свободой практически неизменно совпадает с «презрением к чистой демократии, которую для многих представляют Афины классического периода»¹¹³. Те, кто любят свободу как невмешательство и одновременно как негосподство (то есть либералы и республиканцы), не могут доверять

110. Ср.: *Cambiano G.* Polis: Un modello per la cultura europea. Roma-Bari: Laterza, 2000, в особенности гл. 1, 3; *Роскок Ж. Г. А.* The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975. P. 100–103.

111. *Pettit.* Republicanism. P. 166.

112. *Pettit P.* On the Peoples Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 15.

113. *Pettit.* Republicanism. P. 176.

демократии, поскольку она является политическим порядком, который навеки застрял между пресловутой Сциллой олигархического решения (представительной системой) и Харибдой плебисцитаризма (прямым выражением воли народа посредством референдума, но также и выборов)¹¹⁴. Демократические институты подогреваются «политикой страсти». Петти предлагает важное средство для устранения этого дефекта: сохранение политики при одновременном расширении значения совещательных форумов и комиссий экспертов, а также создание состязательных практик судебного оспаривания. То есть предлагаются решения, которые по своему характеру не являются демократическими, поскольку они не наделяют приоритетом законотворчество или, иными словами, не являются законоцентристскими. Как недавно отметил Ричард Беллами, Петти выдвигает республиканский аргумент, чтобы поддержать «содержательный взгляд на правовой конституционализм», выступающий противовесом к политическому (то есть демократическому) конституционализму¹¹⁵. «Хороший закон», а не просто легитимный закон, — вот идеал свободы как негосподства; ответственность перед обществом и согласие граждан не являются критериями хорошего закона и не гарантируют гражданам свободы, причем и в том случае, когда согласие граждан опосредуется демократическими процедурами¹¹⁶.

114. Соответственно, либеральные теоретики демократии от Йозефа Шумпетера до Уильяма Райкера специально приписывали голосованию негативную, как правило, функцию, которая состоит скорее в смене лидеров, а не в руководстве политикой.

115. *Bellamy R. Political Constitutionalism: A Republican Defense of the Constitutionality of Democracy.* Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 163–171.

116. Петти добавляет к своей критике важное уточнение: оппоненты свободы как негосподства и республиканского хорошего правления появились в XIX веке вместе с теорией национального суверенитета, когда центральное значение приобрели общественное мнение и парламентская демократия. *Pettit. Republicanism.* P. 182.

Как я упоминала выше, совещательные форумы и экспертные комиссии нацелены на корректировку демократии посредством сведения функции парламентов к итоговому голосованию по принципу «да или нет». Петти предписывает ограничивать политику страстей при обсуждении таких животрепещущих вопросов, как преступность, проституция, наркомания и т. д. Этого можно достичь, предписав парламентам «назначать комиссии», включающие «квалифицированных экспертов и выражающие мнения как профессионалов, так и обычных людей, чтобы такие комиссии наблюдали за вынесением приговоров по уголовным делам», — таким образом можно было бы отнять у политиков и политических партий темы, при помощи которых легко эксплуатировать предубеждения людей и манипулировать «моралью стремлений». Парламенты должны оставаться последней инстанцией власти, однако итоговое голосование в них должно проходить по предложениям, которые сами политические представители не обсуждали¹¹⁷.

Петти выдвигает здесь две важных стратегии сдерживания демократии. Первая состоит в разведении обсуждения и решения, в сужении функции парламентов до выбора в модусе «да или нет», а вторая — в превращении судебного правосудия в главную защиту индивидуальной свободы. Как мы увидим, в обоих случаях тот факт, что демократия предполагает участие, признается ответственным за грех мажоритаризма и за популистские тенденции. Как и у Розанваллона, в предложенном Петти переопределении демократии ключевую роль играет негативная власть суждения. Однако это суждение такого рода, которое относится к судам, а не к политическим собраниям.

Первое предложение, выдвинутое Петти, полностью согласуется с республиканской традицией, к кото-

117. *Pettit. Republicanism*. P. 54–55.

рой он принадлежит. Действительно, в нем отражается предписание сохранять молчание, которое Франческо Гвичардини, Джеймс Харрингтон и Руссо адресовали народным собраниям, которые, по их мнению, не должны ни предлагать законопроекты, ни обсуждать предложения, поступающие из совета или Сената, чтобы не давать голос народным страстям¹¹⁸. Разведение обсуждения и решения — это первая важная стратегия деполитизации. Она указывает на то, что превращение парламентов в простые органы для голосования должно освободить демократические институты от их естественного изъяна, определяющегося тем, что они представляют народ, а следовательно его страсти и некомпетентность. Таким образом, именно общественный форум является источником опасности, поскольку он возвеличивает наиболее проблемную сторону демократии, а именно какофонический, партийный мир мнений. Как не вспомнить здесь известный аргумент Руссо: если дать голос народному собранию, будет создана сцена для раторов, так что разум (и общая воля) вынуждены будут молчать, оказавшись бессильными. Республика разума у Петти относится к традиции политического рационализма и обесценивания гуманистической политики. Хотя он считает Макиавелли оплотом неоримской традиции, деполитизированная демократия

118. В XIX веке эта античная идея стала основанием для формирования парламентских комиссий, которые Милль понимал примерно так же, как и Петти. Однако цель Милля была в том, чтобы превратить парламент не в молчаливый орган голосования по принципу «да или нет», а в агору, которая должна была стать для всей страны сценой, на которой бы проходили важные политические споры. Стратегия Милля по освобождению собрания от технических вопросов (чем, собственно, и обосновывалось создание комиссий) была направлена на превращение собрания в орган действительного обсуждения, чего как раз не хочет Петти, поскольку речь в представительном собрании — это неизбежно упражнения в риторике и в партийной аргументации, которые не помогут достичь беспристрастных суждений.

у Петти противоречит как роли риторики в политике, так и защите у Макиавелли способности к обсуждению, имеющейся у *multitudine*, то есть у массы, «опороченной всеми писателями»; цель такой демократии — провести «хорошо упорядоченные» публичные обсуждения до голосования. Макиавелли хвалил Рим, поскольку «трибун и всякий другой гражданин могли предложить народу принять закон, и каждый мог высказываться как в пользу, так и против такого решения», так что «всякий пекущийся об общественном благе может подать предложение и всякий может высказать об этом свое мнение, чтобы народ, всех выслушав, мог избрать наилучшее решение»¹¹⁹.

Источником вдохновения для предложения Петти по отделению обсуждения, дискуссии от голосования является, видимо, Харрингтон, а не Макиавелли. Харрингтон полагал, что Спарта была лучшей и более безопасной республикой, чем Афины, поскольку сенат Спарты обладал полномочиями на обсуждение, а собрание — только на решение. «Чистая демократия» — это термин Харрингтона, обозначавший у него республику, которая не разделяет обсуждение и решение. Руссо, в котором было достаточно аристократического духа (его восхищение Римской республикой являлось, по существу, восхищением сенатом), чтобы усомниться в способности «слепой толпы» к обсуждению, высказывал, как мы отмечали, похожие взгляды¹²⁰.

Дуализм республики разума и республики страстей проходит через всю республиканскую традицию,

119. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М.: НФ «Пушкинская библиотека», АСТ, 2004. С. 254, 187.

120. Harrington J. The Commonwealth of Oceana // The Commonwealth of Oceana and a System of Politics / J. G. A. Pocock (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 143, 32–33, 24–25, 29; Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре // Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 178.

как античную, так и современную. Его можно представить как дуализм республики и демократии, то есть хорошо упорядоченной системы, основанной на добродетели и компетентности, и политического порядка, который представляется структурно неспособным защитить общественную жизнь как от партийных интересов, так и от великих «бурь» и анархии¹²¹.

Вторая важная стратегия деполитизации, предложенная Петти, состоит в широком применении практик оспаривания. Они близки к правовым каналам, благодаря которым граждане могут следить за результатами принимающих решения организаций и критиковать их, применяя стратегии, являющиеся исключительно процедурными и непартийными, а потому по своему типу похожими на те, что воплощаются в экспертных решениях и судебных вердиктах. Петти прилагает судебную форму рассуждения и практики к политическим вопросам и приходит к откровенно неполитическому выводу. «В судебном деле считается важным не только то, что судьи должны быть последовательны, но и то, что их суждения по важнейшим в доктринальном отношении вопросам должны логично определять то, как они голосуют по делам, требующим судебного решения»¹²².

Коллективная непоследовательность — это дефект, создаваемый демократией, который она сама устранить не может. Как утверждает Петти, «оспоримость» — стратегия не демократическая, Новое

121. Враждебность республиканизма демократии обозначилась с особой силой после и вследствие Французской революции; антидемократическим республиканцем, несомненно, был Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773–1842), как показывают его «Исследования конституций свободных народов», написанные в период 1796–1800 гг. и впервые изданные в полном виде в редакции Марко Минерби: *Sismondi J. C. L. Recherches sur les Constitutions des Peuples libres* / M. Minerbi (ed.). Geneva: Droz, 1965.

122. *Pettit. Deliberative Democracy*. P. 144–145.

время унаследовало ее от республиканской традиции конституционных дискуссий, чья цель состояла в том, чтобы государственное вмешательство не было произвольным¹²³. В интерпретации Петти, свобода как негосподство не относится к демократии, так же как и поддерживаемая в рамках такого понимания свободы контрполитика. В самом деле, цель «как неформальных, так и более рутинных процедур» слушаний и оспаривания не в том, чтобы повысился уровень участия и чтобы было больше «героических дебатов», а как раз в том, чтобы деполитизировать публичную арену. В демократии оспаривания «жалобы» обычных граждан «должны выслушиваться вне суеты народной дискуссии и, следовательно, за пределами театра парламентских споров»¹²⁴.

Вопрос о том, является ли негативная власть народа главой в истории республиканизма или в истории демократии, мог быть стать интересной темой обсуждения, но здесь я не могу, да и не хочу им заниматься¹²⁵. Достаточно отметить, что по отношению к демократии современный неоримский республиканизм играет ту же роль, которую либерализм играл после Второй мировой вой-

123. Но также и в «Левиафане» у подданных есть легальное право предъявлять иск суверену в споре о собственности, долге или в уголовном разбирательстве, «как если бы это была тяжба с другим подданным». Хотя содержание закона, то есть объем, того, что «требует» закон, контролируется сувереном (и это решительно противоречит неореспубликанскому принципу, согласно которому свобода должна быть гарантирована, а не только определена в праве), вполне определено, однако, то, что, по Гоббсу, когда суверен преступает эти границы или больше не может выполнять свою роль, он уже не является легитимным. *Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского* // Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 171.

124. *Pettit. Republicanism*. P. 196.

125. В «Контрдемократии» Розанваллон реконструирует историю и интеллектуальные характеристики главной стратегии контроля, начиная с древнего трибунала и заканчивая современными конституционными судами и центральными банками.

ны. И если либерализм в традиции Исаяи Берлина обвинял демократию (положительную свободу) в нарушении свободы как невмешательства, республиканизм в неоримской традиции (отрицательная политическая свобода) критикует ее за то, что она не способна гарантировать свободу как негосподство¹²⁶. «Квентин Скиннер и другие историки показали, что давняя республиканская традиция не поддерживала положительного понятия свободы, вопреки предположениям Берлина и [Бенжамена] Констана. В частности, она не разделяла понятие свободы, согласно которому быть свободным означало бы просто быть частью самоопределяющейся демократии; она не поддерживала свободу древних, как ее толковал Констан»¹²⁷.

Обвинение, предъявляемое демократии как режиму положительной свободы (а потому не защищенному от опасности тирании большинства), распространяется в равной мере и на прямую демократию, и на представительную. Петти исключает возможность референдума как безопасной практики контроля решений, принимаемых выборными органами, поскольку плебисцитарная и прямая демократия — это режимы, при которых «самая капризная из властей остается и морально, и легально неоспоримой». При этом он считает, что представительную демократию также нельзя исцелить от ее врожденного порока, поскольку, хотя выборы позволяют утихомирить непредвиденные волнения демоса, они подчиняют политику искусственным мнe-

126. Прояснение роли теории свободы как негосподства в отношении к демократии см. в: *Pettit. Republicanism*. P. 164–172. Анти-демократические следствия неоримского республиканизма см. в: *McCormick J. Machiavelli against Republicanism: On the Cambridge School's 'Guicciardinian Moments' // Political Theory*. 2003. Vol. 31. P. 615–643; *Urbinate. Competing for Liberty*.

127. *Pettit. Republicanism*. P. 166. Некоторые недавние критические оценки теории свободы в версии Петти см. в: *Bellamy. Political Constitutionalism*. P. 154–162; *Marked P. The Insufficiency of Non-Domination // Political Theory*. 2008. Vol. 36. No. 1. P. 9–36.

ниям и превращают все общество в поле битвы партийных идеологий, ведь цель — победа на выборах. Вопрос в том, являются ли по Петти представительство и выборы теми формами политики, которые в наибольшей степени отвечают «этосу демократии», наделяющему «голос народа определенным морально-социальным статусом»¹²⁸. Что касается представительной демократии, хотя выборы — это действенная стратегия нейтрализации некомпетентности и иррациональности людей, что доказывал еще Монтескье, они неизбежно делают политику жертвой манипуляции и риторики. Подобно прямым народным собраниям, парламенты всегда руководствуются логикой большинства, запятнанной партийными страстями и интересами¹²⁹.

Именно «республика разума», а не «голос народа» ближе к моделям политики, в которых на первое место выходит компетентность, обсуждение и оспори-мость. В таких моделях свобода от господства признается гарантированной в большей мере, поскольку власть вмешательства лишается той возможности вмешиваться произвольно, которая неизбежно вытекает как из коллективного принципа суверенитета (демократический «народ» — это всегда «конкретный на-

128. *Pettit. Deliberative Democracy*. P. 154.

129. *Pettit. Republicanism*. P. 179. Следовательно, мишень неоримской модели хорошего правления, предложенной Петти, не просто демократия, но представительная демократия в период после XVIII века, то есть гибридное сочетание нескольких компонент, которые все так или иначе угрожают свободе, — народного суверенитета, голосования, выборного назначения представителей, законотворческой власти парламента, партийной конкуренции и манипуляции общественным мнением (p. 182, 198). Обеспокоенность Петти напоминает о том, что Фридрих Хайек был не меньше обеспокоен естественной склонностью демократии превращаться в «неограниченное» правление, а потому был убежден, что условиям свободы можно удовлетворить, «лишь отобрав право принимать решения у демократических собраний», будь они представительными или плебисцитарными.

род» [democracy's „people“ is „with the article“], он обозначает коллектив), так и из правила большинства¹³⁰. Следовательно, хотя Петти признает, что развитие оспаривания имеет ключевое значение для сужения области ответственности и власти выборных органов, он предупреждает о том, что оспаривание не является демократическим инструментом и, по сути, может быть лучше организовано в том случае, если частные лица заняты им в суде, а не в спонтанно возникающих гражданских группах. «Я готов согласиться с тем, что, когда количество участников невелико, как бывает, например, при судебном разбирательстве, значительной степени оспоримости можно достичь на индивидуальном уровне»¹³¹. И если принцип легитимности демократии — это согласие, то принцип республиканизма — «отсутствие произвола вмешательства», из которого как раз и вытекает оспоримость. «Отсутствие произвола в общественных решениях следует не из того, что они согласованы с условием, требующим разрабатывать их согласно некоему консенсуальному процессу, а из того, что в случае конфликта с интересами или идеями граждан, как они сами их понимают, граждане могут действительно оспорить их»¹³². Именно судебный акт становится образцом республики разума, а не акты парламента или законодательного собрания. Судебный акт характеризуется неполитической беспристрастностью, выступая механизмом, контролирующим конкретное поведение, которое выражается в конкретном решении. Такой акт выносится относительно каждого дела по отдельности, он не является коллективным, в отличие от демократических форм политического вмешательства граждан (как избирателей, так и представителей).

130. Pettit. Republicanism. P. 174.

131. Pettit. Deliberative Democracy. P. 156.

132. Pettit. Republicanism. P. 185.

Судебное суждение и политическое суждение

Сейчас я должна вернуться к роли негативной власти или власти суждения в демократии. Как я уже говорила в первой главе, суждение — это второй столп диархии демократии, то, что позволяет принадлежащей народу власти решения осуществляться за пределами ранее принятого решения, пусть и в виде неформальной власти, которая проверяет, критикует, контролирует, разрабатывает новые предложения и т. п. Но какого рода суждение мы должны иметь в виду, выдвигая подобный аргумент? Идеал обсуждения в современной теории демократии так или иначе связан со взглядом на граждан как акторов, которые в своей правомочной политической деятельности (то есть при голосовании) должны «выражать свои беспристрастные суждения, что приводит к реализации общего интереса всех граждан», то есть примерно так же, как делают суды и комиссии присяжных¹³³. Обсуждение служит прообразом не только поиска объективной и бесстрастной истины (модель экспертных комиссий), но и, главное, для поиска беспристрастного суждения по тем или иным конкретным вопросам (модель судебного решения или решения присяжных). Однако суждение в зале судебного заседания отличается от политического суждения или сужде-

133. *Freeman S. Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment // Philosophy and Public Affairs. 2000. Vol. 29. No. 4. P. 375.* (Фриман убедительно доказывает, что контраст между общим или основанном на интересах голосованием и делиберативным суждением просто неверно задан, поскольку, как показали Руссо и Ролз, оценка собственных интересов не обязательно противоречит суждениям, формулируемым в общих интересах. *Freeman S. Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment. P. 376–377*). Более благоприятную для защиты партийных интересов трактовку делиберации см. в: *Gutmann, Thompson. Democracy and Disagreement. P. 135.*

ния в парламентских дебатах, в политических кампаниях или даже в уме граждан, когда они идут на выборы. Критерием политического суждения является общность (общий интерес всего политического сообщества в целом). Суждения правосудия нацелены, напротив, на беспристрастность в оценке определенного факта или множества данных и действий.

Одно из ключевых различий между двумя этими формами суждения состоит в том, что присяжные в зале судебного заседания не вовлечены в рассматриваемое дело, в отличие от избирателей или представителей (*neto judex in causa sua* [«никто не судья в собственном деле»]). Однако акторы, которые отстаивают свои интересы на выборах или путем голосования в собрании представителей, — те же, что выносят суждение, а политическая структура, к которой они принадлежат, не институционализирует, в отличие от суда, беспристрастность и не требует ее. Присяжных или суд (как образец неполитического) просят судить, оставаясь в стороне от дела, а членов комиссии присяжных юридически обязывают рассуждать и действовать в качестве института, а не в роли политических деятелей (в отличие от отдельных граждан или представителей). Первые носят маску государства (или закона) и должны отложить в сторону свои личные ценности и предпочтения. Последние носят маску суверена (или общества), а потому от них ждут, что они смогут посмотреть на свои личные интересы через призму интереса общего, дабы принять законы, которые не являются прямым выражением их частной воли и предпочтения, но в то же время и не полностью им противоположны или безразличны¹³⁴.

Можно сказать, что в области судебного суждения беспристрастность — это фактор незнания (как свобода от *догматического знания*) или эмоциональной неза-

134. Этот вопрос я подробно обсуждаю в: *Urbinati. Representative Democracy*. Chap. 3.

висимости от дела, по которому выносится суждение. Чем больше разум судьи свободен от личных и партийных (то есть не-правовых) мнений, тем в большей степени можно считать, что судья находится в правильном для беспристрастной оценки рассматриваемого дела состоянии, чего, собственно, и требует от него закон (людям, входящим в состав присяжных, предписывается не читать газеты и не получать информацию по рассматриваемому делу из каких-либо источников, помимо тех, что предоставляются процедурой правосудия)¹³⁵. Однако политическое обсуждение требует прямо противоположного. Оно предполагает и действительно требует, чтобы все граждане и представители были осведомлены о всех возможных мнениях, чтобы они и правда внесли свой вклад в формирование огромного разнообразия мнений и, кроме того, учитывали бы все позиции, формирующиеся в свободной публичной сфере, прежде чем составить свое собственное мнение и принять решение. Беспристрастность по своей цели не совпадает с тем, чего требует разумное и хорошее политическое обсуждение.

В формулировке Джона Локка судебная власть — это и правда третья власть, то есть она беспристрастна в смысле независимости от суждения акторов. Это означает, что для согласования с идеей публичного разума, беспристрастно выраженной в законе, она не должна играть роль политического представительства. Суждение, формулируемое судьей, должно представлять не политические мнения суверена, а правомочный голос закона. Следовательно, оно есть и должно быть неполитическим; оно и правда является негативной властью, поскольку судья зависит от воли суверена (закона), но не должен зависеть от мнений суверена: так, по Ари-

135. Этой схеме следует Полз, когда изображает сознание индивидов за завесой незнания. *Manin. Principles of Representative Government*. P. 349.

стотелю, мнения не должны допускаться в суд¹³⁶. Монтескье обосновывал свои аргументы в пользу правосудия как третьей власти и условия ограниченной власти именно тем, что судья зависит от закона и подчиняется только ему, но при этом не зависит от того же источника закона, что и законодатели (то есть мнения общества). Кроме того, он отстаивал судебную власть как подлинно негативную власть, защищающую индивидуальную свободу, и причина именно в том, что она отделена от «частного мнения судьи» точно так же, как и от исполнительной и законодательной власти¹³⁷. Неполитическое суждение означает непричастное суждение, а не суждение как общую или среднюю по отношению к различным взглядам оценку.

Поскольку независимость и ограничения в получении информации не распространяются на политическое обсуждение, в отличие от суда, какие виды контроля применимы к политическому суждению, если требуется принять решения, отражающие общий интерес? Ответ на этот вопрос позволяет прояснить роль конституционных сдержек, ограничивающих законодательное собрание: их цель в том, чтобы законодатели действовали не беспристрастно, а легитимно и ответственно. Как мы уже отмечали в разделе этой главы,

136. Судья не может представлять (мнение) суверена, поскольку у него нет полномочий, позволявших бы создавать закон и, соответственно, сопротивляться закону, тогда как очевидно, что мнение непосредственно соотносится с суверенитетом и сферой политического обсуждения. В этом и заключалась, как правильно понял Токвиль, главная причина различия между американской и европейской системами, как и того, что первая давала судьям «огромную политическую власть», но не вторая. См.: *Токвиль А. де. Демократия в Америке*. М.: Прогресс, 1992. С. 93. О негативном влиянии политического суждения (то есть выборов) на «юридическую неприкосновенность» судей, рассматривающих дела, см.: *Huber G. A., Sanford G. C. Accountability and Coercion: Is Justice Blind when It Runs for Office?* // *American Political Science Review*. 2004. Vol. 28. No. 2. P. 247–263.

137. *Монтескье Ш. Л. О духе законов*. М.: Мысль, 1999. С. 137–148.

посвященной эпистемическим аргументам, законотворческие процедуры нацелены на создание действующих, а не истинных законов. Ролз также признает это различие, когда уточняет, что для свободы важно, чтобы граждане и их представители, в отличие от официальных лиц, обладали лишь моральной, но не юридической обязанностью рассуждать беспристрастно: «Я подчеркиваю то, что это не юридическая обязанность, поскольку в данном случае она была бы несовместима со свободой слова»¹³⁸.

Следовательно, законотворческие процедуры стремятся к той беспристрастности, которая никогда не могла бы соответствовать ни прозрачности чистого разума, ни бесстрастному суждению, — двум качествам, которые теоретики, обсуждавшие нами в этой главе, приписывают неполитическим способам рассуждения, присущим напоминающим суд контрольным органам, экспертным комиссиям и консультативно-совещательным организациям. В действительности наделять рассуждение беспристрастностью неверно, поскольку политические решения направлены не на эту цель. В политических условиях ограничить мнения можно, обратившись, самое большее, к совести гражданина и представителя, к конституционному этосу, принципам морали или же к осторожности в рассуждениях (то есть к партийной лояльности или политическому расчету, к желанию представителя переизбраться). Это апелляция к этической культуре политического участия и к воспитательному воздействию, которое может оказать на дух граждан занятия демократической политикой. Формулировка Токвиля, утверждающая, что демократия совершенствуется еще большей демократией, демонстрирует эту прагматику и процессуальный характер демократической политики.

Нет ничего нового в том заявлении, что, хотя процедуры могут препятствовать конфликтам и общественно-

138. Rawls. *Idea of Public Reason Revisited*. P. 577.

му беспорядку, их эффективность в значительной степени зависит от этических факторов. Особенно это верно в случае представительства, поскольку мандат, связывающий представителей с их избирателями, по существу, является произвольным, политически сконструированным, он просто не может быть обязывающим в юридическом смысле. Поэтому представительство выступает политическим праксисом, который состоит «не просто в произвольном выборе и не просто в результате компромисса между различными частными интересами»¹³⁹. Инструментальные рассуждения и компромиссы осуществляются в контексте общего понимания политического направления, в котором страна должна или не должна двигаться, а также осознания того, что такое направление «не есть реальность, которая так или иначе дана нам объективно»¹⁴⁰. Политическое суждение оформляется в этом прагматическом контексте, а не вне его и не против него.

Это возвращает нас к центральному вопросу о специфике политического суждения. Политическое суждение в большей степени нацелено на общее, чем на беспристрастное¹⁴¹. В широком смысле оно и правда является беспристрастным, но не так, как суждение, выносимое судьей, хотя цель обеих форм суждения в том, что они должны согласоваться с идеалом публичного разума. Однако стиль изъяснения публичного разума принимает форму в зависимости от институциональ-

139. *Pitkin H. F. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press, 1967. P. 212.*

140. *Анкерсмит Ф. Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности. М.: ИД-ВШЭ, 2014. С. 66.*

141. Сколь бы ни были велики их различия, Жан-Жак Руссо и Джеймс Мэдисон были в равной мере согласны с тем, что законотворчество состоит в нахождении наименьшего общего знаменателя различных партийных взглядов и интересов, что необходимо для сглаживания крайностей, а не их уничтожения или игнорирования. *Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре // Тракаты. С. 170–171; Federalist No. 10 // The Federalist Papers. P. 57.*

ной рамки, внутри которой он действует, и от его задачи. Конечно, ни один представитель не осмелится публично заявить, что его предложение поддерживает или поощряет некоторые частные интересы, противоречащие интересу общества¹⁴². Презумпция общности существенна для моральной легитимности политических решений, хотя, в противоположность судебным процедурам, никакое правовое принуждение тут невозможно, если политическое обсуждение должно проходить свободно. Более того, презумпция общности относится к обществу, в котором политическая власть равно распределена, а политическое общество рассматривается в качестве чего-то превосходящего частные общества (интересы и группы), которые оно включает¹⁴³.

Политическое суждение не может окончательно распрощаться с пристрастными взглядами; в действительности оно имеет смысл именно потому, что основано на них. Как мы выяснили в предыдущей главе, оно не может оформляться независимо от мнений, приобретаемых гражданами в социальной жизни. Оно не может существовать без идеальных (идеологических) точек зрения и ситуативных взглядов (которые

142. *Elster J.* Deliberation and Constitution Making // *Deliberative Democracy* / J. Elster (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 104. Крайне полезный анализ форм суждения и риторического рассуждения см. в: *Perelman C.* Justice, Law, and Argument: Essays on Morals and Legal Reasoning. Boston: Reidel Publishing Company, 1980. P. 59–66.

143. «Грамматика эгалитарных обществ, судя по всему, акцентирует предикаты, оценки субъекта, тогда как язык иерархических обществ должен быть эвокативным, его грамматика и синтаксис должны обладать магической реальностью... В эгалитарном обществе язык принадлежит каждому и развивается относительно свободно; в иерархическом обществе он застывает. Его выражения и формулы становятся ритуалом, их выслушивают как на причастии, в состоянии полного подчинения». *Perelman C., Olbrechts-Tyteca L.* The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation / J. Wilkinson, P. Weaver (trans.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1971. P. 164.

в большей или меньшей мере далеки от общего или публичного разума), как и любая форма речи, отстаивающая некую миссию как осуществление «обещаний» демократии¹⁴⁴. Однако политическое суждение порождает аргументы, апеллирующие к справедливости, причем в двух смыслах — во-первых, поскольку оно отсылает к критериям публичного взаимодействия, которые предполагаются и принимаются всеми гражданами (процедуры принятия решений и основные права и принципы, содержащиеся в конституционном договоре), а во-вторых, поскольку оно отсылает или апеллирует к моральным принципам и этическим аргументам (таким как права, равное рассмотрение интересов и свобода), которые граждане признают в качестве части своего правового, политического, но также и индивидуального языка¹⁴⁵. Демократическая конституция — это писанный и одновременно этический документ, который присутствует в повседневной жизни граждан, выполняя функцию ориентира для их публичного взаимодействия и политического суждения. Идеал общего интереса — цель, которой обещают достичь политические акторы, пытающиеся убедить своих избирателей в том, что предлагаемая ими стратегия — наилучшая. Демократические выборы требуют того, чтобы свою роль сыграли и граждане — и тогда, когда они должны выносить суждение о предложениях и кандидатах, и тогда, когда они сами являются кандидатами. Исполняемая

144. «Идеологию» я интерпретирую так, как было предложено Скиннером, — как обозначение применения верований и ценностей для легитимации поведения и активной функции политических идей в интерпретации социально-культурных убеждений и интересов, а также в продвижении определенных социальных взглядов. *Skinner Q. Retrospect: Studying Rhetoric and Conceptual Change // Visions of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Vol. 1. P. 175–187.

145. О «перспективной» природе политического суждения см.: *Bobbio N. Left and Right: The Significance of A Political Distinction // A. Cameron (trans.). Cambridge: Polity Press, 1996. P. 1–17.*

ими роль выстраивается в соответствии с процедурами и институтами, определяющими демократию. Действие в соответствии с ними — это единственное правильное действие, которое ожидается от граждан¹⁴⁶. Именно это заставляет систему работать, сохраняя ее открытость для бесконечной игры интерпретаций и изменения мнений в попытке выполнить обещания, скрепляющие демократический договор.

Заключение

Может показаться тревожным тот вывод, что партийные взгляды представляют собой существенную компоненту политических суждений, которые пытаются соответствовать идеалу общего интереса или достичь его, а не досадную случайность, от которой следовало бы освободить хорошее обсуждение. В каком смысле партийные взгляды вносят вклад в формирование общих интересов? Когда теоретики отождествляют работу политического собрания с работой присяжных, они упускают из виду важный факт: если условия судебного разбирательства предполагают оконча-

146. Проблема мнения и истины в политике выводит на тот фундаментальный вопрос о роде лицемерия и, следовательно, аутентичности в демократической политике, который я могу здесь лишь упомянуть. Рансиман предлагает интересное определение, которое согласуется с аргументами в пользу процедурной концепции демократии: «Нам нужны искренние политики, однако это не значит, что мы хотим, чтобы они искренне верили во все, что делают. Напротив, нам нужно, чтобы они искренне верили в систему власти, в которой они находятся, и в свое желание поддержать устойчивость и долгосрочность этой системы... Демократические политики должны искренне поддерживать условия, при которых возможна демократия, и надеяться приоритетным значением именно этот, а не иной вид искренности». *Runciman D. Political Hypocrisy: The Mask of Power, From Hobbes to Orwell and Beyond.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. P. 213.

тельность итогового приговора, условия обсуждения организованы так, что производимые решения всегда можно изменить и отозвать. Не может быть ничего окончательного в сценарии политического обсуждения, чья презумпция правовой изменчивости является его конститутивной структурой¹⁴⁷. Постоянная открытость, присущая любому решению в свободном политическом сообществе, — это демократический ответ на критику демократии изнутри, предлагающую сузить область политики, дабы принимать хорошие и истинные решения. Открытость пересмотру, а не приостановка или ограничение демократических практик, — вот демократический ответ на неудовлетворительные демократические решения. Это максима, следующая из процедурной концепции демократии, являющейся нормативной.

В заключение к этому критическому анализу возрождения неполитического в демократической теории полезно будет напомнить аргумент из «Риторики» Аристотеля о различии между политическим обсуждением и судебным решением. Первое предполагает, что граждане, придерживающиеся разных (и часто противоборствующих) взглядов на общественные вопросы, ищут того, что будет подходящим или справедливым для всего сообщества, а потому выступают за или против тех или иных решений, отсылая к конкретным случаям и приводя «доказательства», которые могут понять и проверить все граждане, хотя они и будут интерпретировать их по-разному в силу того, что сами их интересы и мнения тоже различны¹⁴⁸. Обсуждение может послужить делу демократии вовсе не путем изъятия спорных вопросов и интерпретаций из политических споров и их превращения в вопросы для экспертных комиссий или специально

147. *Manin*. Principles of Representative Government. P. 183–192.

148. *Аристотель*. Риторика, 1354a–1355b // Античные риторики. С. 15–18.

отобранных граждан. Скорее, делу демократии будет полезно поддерживать процессы вынесения суждения и формирования воли открытыми для оценки и ревизии, а политическую арену — открытой для конкурирующих политических мировоззрений и политических групп.

Популистская власть

ЕСЛИ теоретики эпистемической демократии приписывают «толпе» добродетель мудрости, то теоретики популизма наделяют ее добродетелью мобилизации. Первые представляют гражданина членом комиссии присяжных, который прислушивается к голосу разума, а не мнения. Вторые же, напротив, изображают его как одного из «нас», то есть группы, чье единство некоторые лидеры пытаются выдать за гегемоническое мнение, которое якобы высказывает волю всего народа в целом. И если в первом случае считается, что политический процесс представляет общество, пока он отделен от социальных интересов и идеологий, во втором социальное и идеологическое единство народа занимает центральную сцену политики и становится нормой истинного представительства. Однако, несмотря на эти ключевые различия, и сторонники эпистемической теории, и популисты критикуют парламентскую демократию за то, что она превращает политику в место для сделок между множеством интересов и партий. Они в равной мере ставят под вопрос диархическую структуру представительной демократии, хотя и с разными целями: первые делают это потому, что стремятся заменить доксу знанием, и отдают предпочтение обсуждению в невыборных органах; вторые же — потому, что пытаются сплавить мнение одной части народа с волей государства и, как следствие, нетерпимы к партийным различиям в выборных органах. Наконец, и те и дру-

гие оценивают легитимность демократической власти, отправляясь от внешней для политического процесса точки отсчета, такой как «истина» или существующий «до процедур» народ. В итоге, несмотря на их различия, сторонники эпистемической демократии и популисты искажают диархическую структуру представительной демократии.

Популизм — название сложного феномена. С одной стороны, это определенный политический стиль, набор риторических тропов и фигур, но также он стремится к тому, чтобы государственная власть работала по повестке, чья основная и наиболее узнаваемая черта — враждебность к либерализму и принципам конституционной демократии, в том числе к правам меньшинств, разделению властей и многопартийной системе. Популизм является радикальной критикой парламентской политики, а потому и альтернативой представительной демократии в том ее определении, которое я дала в первой главе. Хотя «у нас нет ничего даже близкого к *теории* популизма»¹, в этой главе я буду использовать следующее общее представление: популистское движение, которому удастся встать во главе правительства демократического общества, обычно тяготеет к тем институциональным формам и к такой политической реорганизации государства, которые изменяют и даже уничтожают конституционную демократию. К этим формам и способам реорганизации относятся централизация власти, ослабление системы сдержек и противовесов, усиление исполнительной власти, пренебрежение политической оппозицией, трансформация выборов в плебисцит, служащий интересам лидера. В этой главе я попытаюсь выявить и проанализировать эти характеристики, представив популизм в качестве одной из форм искажения демократии. Но прежде чем перейти к этим вопросам,

1. Mueller J.-M. Getting a Grip on Populism // Dissentmagazine.org, September 23, 2011.

нужно дать несколько предварительных разъяснений касательно того, как сегодня используется само слово «популизм».

Социальные движения и популизм

Я не считаю популизм тождественным «народным движениям», протестным движениям или «народности». Популизм — нечто другое, и характеристики, которые я буду анализировать, должны это доказать. Чтобы составить первое представление о различии между народным движением и популизмом, полезно, видимо, рассмотреть два современных движения в американской политике — *Occupy Wall Street* («Захвати Уолл-Стрит») и *Tea Party* («Чайная партия» или «Движение Чаепития»). Лозунг *Occupy Wall Street* — «Нас 99%» («We are the 99%») — формально соответствует общим контурам популистского дискурса, выстроенного как поляризация большинства и меньшинства, которая ведет к критике представительных институтов (это два важнейших компонента популизма). Однако он не соответствует тому популистскому взгляду на демократию, который я намереваюсь подвергнуть критике, поскольку не предполагает наличия лидеров и такой организации, которая позволила бы завоевать политическую власть на государственном уровне. Я понимаю, что эмпирические политические феномены существуют в зоне неопределенности, а потому сопротивляются обобщениям; бывает также, что народное движение плавно переходит в популизм, а потому четкие различия оказываются под вопросом, требуя анализа в каждом конкретном случае. Однако без лидера или центрального руководства, которое стремится к контролю над большинством, народное движение с популистской риторикой (то есть дискурсом поляризации, выступающим против представительства) еще не является популизмом. Случай *Tea Party* доказывает это от противного.

У «Чайной партии» много популистских составляющих в идеологии и риторике, однако ей не хватает единой вертикальной структуры, которая, как мы увидим, характерна для популизма². Однако в данном случае такая нехватка представляется, скорее, случайной, а не принципиальной, поскольку «Чайная партия» искала объединяющего и представляющего движение лидера, способного завоевать и изменить Республиканскую партию, а вместе с ней всю страну, так как с самого начала хотела быть чем-то большим народного протестного движения.

Следовательно, мы можем сказать, что популистская риторика, но еще не популизм, присутствует тогда, когда дискурс поляризации, направленный против представительства, проводится социальным движением, которое желает быть политической группой, не зависящей от выборных чиновников, не хочет превращаться в организацию, построенную на выборной основе, и при этом стремится к тому, чтобы выборные чиновники и официальные лица подлежали проверке и отчитывались перед людьми: все это соответствует такому протестному народному движению, как *Occupy Wall Street*. С другой стороны, можно говорить о наличии и популистской риторики, и популизма в тех случаях, когда движение не хочет быть политической группой, не зависящей от выборных чиновников, а, напротив, желает занять институты представительства и получить большинство голосов, чтобы подстроить все общество под свою идеологию³: таков случай *Tea Party*, движения с популистским проектом власти.

2. Прекрасный, подробный и хорошо документированный анализ Tea Party см. в: *Williamson V., Skocpol T., Coggin J. The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism // Perspectives on Politics. 2011. Vol. 9. No. 1. P. 25–43.*

3. У Tea Party есть некоторые ясные предложения (например, по социальному страхованию и налогообложению), при этом движение стремится оживить или переоформить Республиканскую партию: «Мы должны считать Tea Party новым вариантом консервативной мобилизации и присущей самой Республиканской

Таким образом, я бы сказала так: чтобы популизм превратился из движения в форму управления государственной властью, ему нужна органическая поляризующая идеология и лидер, который желает превратить народное недовольство и протесты в стратегию мобилизации масс ради завоевания демократического правительства. Без организующего нарратива и руководства, утверждающих, что их народ — это и есть подлинное выражение народа в целом, народное движение остается именно тем, чем оно и является — имеющим полное право на существование движением протеста и критики определенного тренда в обществе, который нарушает основные демократические принципы, в данном случае равенство. Однако популизм — это не просто популистская риторика и политический протест. То есть существенную роль тут играет различие между *формой движения* и *формой правления*.

В моем критическом исследовании я признаю наличие двух этих уровней, однако обращаюсь к изучению характеристик и следствий популизма как концепции и формы власти в демократической системе. В демократическом обществе народное движение протеста и критики не следует смешивать или отождествлять с популистской концепцией государственной власти. Первое согласуется с диархической структурой представительной демократии; вторая считает диархию препятствием, которое отделяет мнение народа от институтов. Популизм — это проект власти, нацеленный на то, чтобы его лидеры и выборные чиновники использовали государство ради помощи своим

партии раздробленности; динамичной, подвижной и не поддающейся простому контролю формацией активистов, спонсоров и медиаперсонажей, которые опираются на давно сложившиеся у определенных социальных слоев установки по отношению к федеральным социальным программам, государственным расходам и налогообложению, а также перенастраивают все эти установки». Ibid. P. 37.

избирателям, их консолидации и увеличения их числа⁴. В данной главе я обращаюсь к этому специфическому феномену.

Популизм: введение

Хотя популизм, как заверяют его сторонники, поддерживает антагонистическую демократию и проводит ее на практике, на самом деле в популизме плюрализм конфликтующих интересов изображается спектаклем сутяжнических претензий, который необходимо преодолеть, создав поляризованный сценарий, который упрощает картину социальных сил и дает людям шанс занять верную позицию. *Упрощение* и *поляризация* приводят к *вертикализации* политического согласия, которая открывает путь к более глубокой *унификации* масс под сенью органического нарратива, а также воплощающего его харизматического или *цезаристского* лидера. Популистская идеология народа предполагает, что в конечном счете общество расколото на две гомогенные группы — непорочное большинство (народ вообще) и коррумпированное меньшинство (элита, создаваемая путем выборов или бюрократического назначения). Благодаря поляризации популизм представляется идеологией концентрации (власти и мнения), а не различия и рассеяния или просто антагонизма⁵. Следовательно, если эпистемическая интерпретация демократии требует отсутствия лидеров, популизм вряд ли может существовать без политики личности; и если первая нацелена на устранение идеологии и всех форм консолидации

4. Я хотела бы выразить благодарность Яну Цукерману за то, что он обратил мое внимание на это различие.

5. См.: *Mudde C. The Populism Zeitgeist // Government & Opposition. 2003. No. 39. P. 541–563*; как пишет Санстейн, эффективный способ создания радикальной группы — отделение ее членов от общества в целом и других групп (*Sunstein. Rumors; Infotopia*).

мнений, второй живет сильной идеологической риторикой. Популизм возвращает приоритет гегемоническому единству народа, противопоставляя его как рационалистической попытке свести его [единство] к делиберативной речи, так и процедурной обработке средствами выборного представительства, политического участия через каналы политических партий и конституционных норм, ограничивающих решения большинства. Следовательно, он оспаривает все не прямые формы политического действия, созданные представительным правлением, хотя это еще не отождествляет его с прямой демократией. Популизм — это не призыв к демократии участия и самоуправления, хотя он превозносит политическое участие и даже массовую мобилизацию, занимаясь ими на практике. Вот основа утверждения, которое я намереваюсь развить в этой главе: хотя популизм претендует на прямое связывание народных мнений и народной воли, он не расположен к демократии. Такая его непоследовательность наиболее очевидна в случае представительной формы демократии, но также она заметна и в случае прямой демократии, которая предполагает рассредоточенное участие граждан, поскольку при популизме эта прямая форма становится методом не рассредоточения власти, а, скорее, ее концентрации.

Популизм изображает и теоретизирует демократию в качестве гегемонического конфликта, нацеленного на господство мнения подавляющего большинства над мнениями составляющих его частей или мнением меньшинств. Если говорить словами Роберта Даля, он дает демосу «тотальный» и «окончательный» контроль над политическим порядком, что эмпирически означает контроль над большинством⁶. В силу подобного унификационного проекта политика превращается в работу упрощения, которая сужает возможность тако-

6. *Dahl R. Democracy and Its Critics*. New Haven, CT: Yale University Press, 1989. P. 112–115.

го пространства коммуникации, которое было бы в равной мере открыто всем, поскольку оно не принадлежит никому по отдельности. Хотя Эрнесто Лаклау утверждает, что популистская оккупация места власти всегда остается «частичной» и неполной, создается впечатление, что такая неполнота является не нормативным принципом, а, скорее, ограничением, которое практика формирования согласия людей не может обойти или преодолеть. Популизм пользуется правлением посредством мнения, превращая его в выражения мнения, которое принадлежит только какой-то конкретной части публики.

Автором, сумевшим лучше других предугадать риск популизма, которым чревато правление посредством мнения, был Клод Лефор, неслучайно занявшийся описанием тоталитаризма, пытаясь выявить крайние следствия проекта, который, выступая против плюрализма, нацелен на непосредственное воплощение коллективного суверена, словно бы он был неким гомогенным актором. Лефор описывал этот процесс как «концентрацию... сфер политики, права и знания»⁷. Популизм производит сосредоточение, в том числе и власти, пытаясь разрешить «парадокс власти»⁸, заключающийся «в определении того, кто же составляет народ»⁹. Следовательно, если процедуралистский подход оставляет этот вопрос навсегда открытым, популизм желает закрыть его, или же, как утверждал Лаклау, несколько видоизменяя идею Лефора о том, что процедурализация политики опустошает место власти в демократиях,

7. *Lefort C. The Question of Democracy // Democracy and Political Theory. P. 13, 19–20.*

8. О парадоксе политики (как создать демократический субъект, то есть народ, демократическими методами) см.: *Honig B. Between Deliberation and Decision: Political Paradox in Democratic Theory // American Political Science Review. 2007. No. 101. P. 17–44.*

9. *Frank J. Constituent Moments: Enacting the People in Postrevolutionary America. Durham, NC: Duke University Press, 2010.*

популизм стремится заполнить это пустое место, превратив политику в *производство* пустоты посредством гегемонической работы идеологического упорядочивания социальных сил. Освободить арену от партийных составляющих, дабы наполнить ее одним значимым нарративом, — вот антиплюралистская идея популизма¹⁰. Следствием оказывается размывание символической сферы институтов, которые больше не используются в качестве медиума, связывающего и разделяющего общественные интересы и государство. Напротив, государство становится инструментом или прямым выражением популистского конгломерата общественных интересов. Признавая то, что именно символические рамки власти поддерживают политический режим, популизм приходит к тому выводу, что его миссия — занять и завоевать эти символические рамки. Перейти от плюрализма мнений к производству господствующего нарратива — вот задача политического процесса, цель которого — объединить разные части публики, составляющие общественное мнение в демократическом обществе.

Я понимаю, что это смелое утверждение, которое расходится со многими работами по популизму, как критическими, так и созвучными ему, поскольку в них популизм описывается так, словно бы он стремился вернуть политику обычным людям, отобрав ее у элиты, прибирающей к рукам все больше власти. Также я понимаю, что теоретики популизма выстроили свою аргументацию, отталкиваясь от теоретиков элит, которые со времен Роберта Михельса, Вильфредо Парето или Уолтера Липпмана утверждали, что идеал, требующий сделать народ главным действующим лицом политики, являет-

10. Lefort. Question of Democracy. P. 13–20; Laclau E. On Populist Reason. London: Verso, 2007. P. 164–168. Подробный анализ предложенной Лефором концепции популизма см. в: Arato A. Political Theology and Populism // Social Research. 2013. Vol. 80. No. 1. P. 156–159.

ся либо утопией, либо хитроумной стратегией, которую новая элита использует, дабы заполучить власть с народного согласия. Однако ситуация несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Предлагаемая мной интерпретация может оказаться полезной для понимания таких современных популистских явлений, как видеократические формы народной идентификации, упрощенная поляризация общественного мнения в замкнутых нишах догм, ссылающихся исключительно на самих себя, прямолинейная радикализация политических идеологий и, наконец, поиски лидера, способного выиграть в эпоху публичности.

Далее я попытаюсь проиллюстрировать и проанализировать этот сложный комплекс идей, представив популизм в качестве явления, формирующегося внутри представительной демократии, выступающей его подлинной и самой главной мишенью. Я полагаю, что это соперничество не обязательно порождает более демократическую политику, хотя именно это утверждает популизм. Ядро популизма — это скорее народ, а не гражданин демократии. В действительности его поляризованная позиция больше согласуется с республиканской традицией в ее римском формате, чем с демократией. Я считаю этот момент (хотя им часто пренебрегают) наиболее важным для понимания как антииндивидуалистического (и антилиберального) значения призыва к народу, так и причины глубокой антипатии популизма к плюрализму, инакомыслию, взглядам меньшинства и распределению власти, то есть к тем качествам, которые предполагаются и поддерживаются демократическими процедурами в их наиболее подлинном виде.

Поскольку популизм обусловлен демократией, после краткого анализа попытки популизма присвоить представительство, я перейду к параллели или сравнению между ним и демагогией, которая с классических времен всегда несла в себе потенциальную угрозу искажения демократии. Эту ссылку на классические политические категории я считаю в методологическом

отношении ключевой для анализа популизма, исток которого — в архаическом мифе о массах равных, представляющихся источником политической легитимности и периодического обновления политической системы. Затем я вернусь к современности и представлю краткий обзор интерпретаций популизма в тех областях, где его тщательнее всего изучали, — в истории и политологии. Я намечу параллель между историями США и Западной Европы, а также между соотносящимися с этими историями оценками популизма, и буду утверждать, что, хотя у нас нет единого определения популизма, последний обладает рядом узнаваемых черт, и хотя он не является именем конкретного политического режима, выступая в разных исторических формах, это не такой уж двусмысленный термин, если сравнивать с конституционной и представительной демократией. В следующих разделах будут проиллюстрированы две из наиболее важных характеристик популизма — поляризация как средство создания политики идентичности и цезаризм (моноархия) как его конечная точка. Это позволит мне вернуться к античности и связать структурные источники популизма с римско-республиканским шаблоном политики и правления. Основываясь на данных теоретических и исторических исследований, я в заключении снова сформулирую идею популизма как альтернативы, противостоящей представительной демократии и открывающей возможность плебисцитаризма, который будет темой следующей главы.

Выдвигаемая мной интерпретация основывается на критике популизма у Норберто Боббио, на предложенной Маргарет Кэнован интерпретации популистской идеологии и проведенном Бенджамином Ардити анализе формирования популизма как «внутренней периферии» представительной демократии. Подобно Боббио я локализуя популизм внутри не просто демократии, но представительной демократии, утверждая, что осуществляемая им, подчас крайне острая, критика процедур и институтов либеральной демократии вряд

ли ведет к обогащению демократии. Ссылка на классические политические категории крайне важна для понимания следствий популизма, который, как и демагогия в случае прямой демократии, может, если одержит успех, подтолкнуть к выходу из демократии¹¹. Как и Канован, я считаю, что популизм встроен в идеологию народа таким образом, что, оставаясь на связи с демократическим языком, он все же резко расходится с «практической демократией» и политической деятельностью обычных граждан¹². Наконец, подобно Ардити я интерпретирую популизм в качестве постоянной возможности, существующей внутри современной демократии, поскольку он является внутренним качеством того идеологического стиля политики, который питается выборами, разжигающими борьбу за голоса и посты¹³. Популизм борется с представительной демократией за смысловое содержание представительства, и хотя он является выражением или знаком демократического участия обычных граждан, его следует тщательно отличать от низовых протестных движений, и не в последнюю очередь по той причине, что он, стремясь к государственной власти, способствует гомогенной унификации «народа» под сенью единого лидера, единой идеологии, а может быть и того и другого. Если достигается такой результат, это уже не расширение демократии, а сосредоточение мнения большинства под контролем нового политического класса. Подобный результат равнозначен выходу из представительной и конституционной демократии.

11. *Bobbio N. Saggi sulla Scienza Politica in Italia*. Bari: Laterza, 1969; Idem. *Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power* // P. Kennealy (trans.). Cambridge: Polity Press, 1989; Idem. *Autohriografia* // A. Papuzzi (ed.). Roma-Bari: Laterza, 1997.

12. *Canovan*. *Taking Politics to the People*. P. 39; Idem. „Trust the People!“ *Populism and the Two Faces of Democracy* // *Political Studies*. 1999. P. 2–16.

13. *Arditi B. Politics on the Edge of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation*. Edinburg: Edinburg University Press, 2008.

Конкуренция за представление народа

Как оценивать нормативный характер популизма? К какому политическому семейству он относится? Все это вопросы, смущающие исследователей популизма, которые никогда не могли прийти к консенсусу относительно интерпретации этого политического феномена, подведения популизма под отдельную политическую категорию и его соотношения с демократией.

Как писали Ив Мени и Ив Сюрель, все популистские движения демонстрируют явную неприязнь и даже враждебность к механизмам представительства, выступая от имени коллективного утверждения воли избирателей или народа¹⁴. И если демократический процедурализм признает то, что у граждан есть право на плохие решения, популизм предполагает, что народ (в единственном числе) всегда прав, а потому размывает диархическую структуру, отдавая приоритет области мнения (объединенной единым нарративом). Следовательно, популизм ведет «паразитарное» существование на представительной демократии, то есть я хочу сказать, что он *не является* для нее чем-то внешним, а *конкурирует* с ней за значение и применение представительства, способа выявления и утверждения воли народа, а также управления ею¹⁵. Также я хочу сказать, что, если

14. *Meny Y., Surel Y.* The Constitutive Ambiguity of Populism // *Democracies and the Populist Challenge*. P. 1–21.

15. Это определение паразита я беру из работы Жака Деррида: *Derrida J.* Limited Inc. // S. Weber (trans.). Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988. P. 90: «Тогда паразит „имеет место“. И по сути, если что-то насильственно „имеет место“ или занимает место, в этом всегда есть что-то от паразита. Часть его действия, следовательно, — никогда не иметь достаточно места, и в этом же его успех, событие или „имение места“». Популизм — это постоянная возможность в представительной демократии, и то, что он «никогда не имеет места», означает, что он является постоянной возможностью мобилизации

ему удастся одержать верх над демократическим государством, он способен радикально изменить его облик и даже открыть возможности для изменения режима. Возможно, полезно вкратце напомнить генезис представительства.

Представительство было рождено в конфликтных обстоятельствах. Его корни можно найти в среде средневековой церкви и в постоянных спорах о том, действительно ли Папа или совет епископов представляют единое тело христиан¹⁶. Представительство было рождено как институт сдерживания и контроля власти (главы церкви или короля) и одновременно как средство объединения большого и разношерстного населения. Два этих аспекта требовали активного участия обоих партнеров, поскольку представитель, которого иногда называли «прокуратором» или «комиссаром», должен был говорить или действовать за ту или иную группу людей, давших ему полномочия представлять их интересы перед лицом религиозной или светской власти, которая признавалась вышестоящей¹⁷. Когда определенное сообщество делегировало некоторых членов для представления перед Папой или при дворе короля, наделяя их властью связывать своими решениями тех, кто назначил их, это уже было началом представительства. Затем эта техника была перенесена в государственный контекст.

даже в тех случаях, когда он достаточно силен, чтобы проявить свою власть. Если бы весь популистский потенциал был реализован, он бы полностью заменил представительную демократию, и это бы стало изменением режима (как сделал фашизм, когда «занял место»).

16. *Gierke O. Political Theories of the Middle Age* // F.W. Maitland (trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1958. P. 61.

17. *Pitkin. Concept of Representation*. Chap. 4. Питкин относит терминологический сдвиг в значении слова «представительство» (от «быть вместо кого-то» к «действовать от имени кого-то») к периоду со второй половины XVI века до первой половины XVII века.

Таким образом, выступая своеобразным синтезом, объединение (множества) и подчинение (решениям, принятым избранными делегатами) слились в институте представительства. Но именно институционализация выборов «подданными» принесла с собой новый фактор конфликтности и создала запрос на подотчетность. С появлением в XVIII веке конституционных государств представительство начало превращаться в зону неустраимого напряжения между его традиционными функциями объединения и подчинения и новыми функциями, которые были приписаны ему выборами, а именно защитой интересов избирателей и их представлением (выступавших выражением призыва к подотчетности). Из-за отношений между государством и гражданским обществом выборное представительство стало территорией общественно-политических конфликтов, институтом, который больше служил средством опосредования между интересами [отдельных групп] и государством, а не созданию единства государства и проявлению его суверенной воли. Популизм проникает в зону этого напряжения и требует вернуть объединяющую и подчиняющую функцию представительства (Гоббс), противопоставляя ее той переговорной роли, которую, напротив, легитимировала парламентская форма выборной демократии (Локк)¹⁸.

Популизм стремится к такому отождествлению представляемых с представителями, которое было бы подлиннее того, что допускается выборами. Кроме того, он не расположен к диалектике плюрализма и единства, вытекающей из представительства. Как пишет Лаклау, представитель — это активный деятель, который дает слово представляемому единству и делает его убедительным; он — тот деятель процесса гомогенизации, который кладет конец распрям внутри электората¹⁹.

18. См. мою работу «Представительная демократия»: *Urbinati N. Representative Democracy. Chaps. 1, 2.*

19. *Laclau. On Populist Reason. P. 157–158.*

Однако не существует механизма отчетности этого деятеля — таковым механизмом не может считаться даже политическая партия, на которую он опирается, поскольку чаще всего она является его собственным творением, инструментом по завоеванию и сохранению своей власти. Нам достаточно здесь упомянуть аргумент Карла Шмитта в пользу президентской формы правления и против парламентской. Последняя, как объясняет Шмитт, является собранием избранных делегатов, представляющих экономические интересы, политические партии и социальные классы, тогда как «Президент выбран всем немецким народом». В последнем случае только выборы были бы стратегией единства и подчинения (а не разделения) и представляли бы действительно видимое отображение всей нации на символическом и институциональном уровне. В президенте был воплощен католический взгляд Шмитта на представительство как процесс, позволяющий сделать видимым невидимое божество, коим ныне стал коллективный Народ. В его интерпретации выборное представительство выступало отрицанием этого единства, поскольку служило тому, чтобы привнести плюрализм в государство, что в политической теологии Шмитта считалось смертным грехом, равноценным религиозной ереси. В следующей главе я вернусь к шмиттовской концепции формы уполномочивания, которая вытекала из его антилиберальной концепции представительства. Здесь же я хотела бы показать, как популизм строится на таком взгляде на представительство, который нацеливается на объединение и подчинение в доновременном формате, но при этом не стремится к подотчетности и защите интересов.

Естественно, поскольку Шмитт мыслил представительство как синтез идентичности и наличия суверена, партийный плюрализм и парламентская конкуренция признавались им недопустимыми. «Президент, в противоположность [фрагментации парламентских групп], пользуется доверием всего народа, не опосредованным

парламентом, расколотым на партии. Это доверие, скорее, напрямую объединяется в его личности»²⁰. Подобным образом и популизм использует представительство для создания политического порядка, возвышающегося над обществом, и посредством исключения плюрализма. По Шмитту, который, таким образом, подарил популизму важный аргумент, представительство является политическим, *пока* оно отвергает либеральные призывы к защите интересов, контролю, мониторингу и постоянному диалогу между обществом и политической жизнью, а также сокращает расстояние между выбранным лидером и избирателями, дабы встроить общество внутрь государства²¹. Кэнован так пишет об этом антидиархическом проекте: «Взгляд на „народ“ как единое тело говорит о нетерпимости к партийной борьбе, он может поощрять поддержку сильного лидерства, если есть харизматическая личность, способная воплотить в себе интересы нации»²². Следовательно, демагогический фактор является частью популизма, покуда его инструментом остается идеологическое построение согласия.

Демагогия, социальный конфликт и более интенсивное большинство

Объединение народа против плюрализма — это структурный троп как популизма, так и античной демагогии в ее отношении к прямой демократии. Последствия их апелляции к народу, разумеется, являются разными, и понять это позволяет именно система предста-

20. *Schmitt C. Constitutional Theory* (1928) // J. Seitzer (trans., ed.), E. Kennedy (foreword). Durham: Duke University Press, 2008. P. 370.

21. *Ibidem*.

22. *Canovan*. „Trust the People!“. P. 5; *Arato*. *Political Theology and Populism*. P. 160–162.

вительства. Действительно, если популизм набирает силу внутри несuverенной сферы мнения (то есть мира идеологии) и вполне может так и остаться в ней, если не получит большинства голосов, которое позволило бы ему править, демагогия имеет прямое влияние на законодательный процесс, поскольку в прямой демократии мнение народа становится законом в результате голосования путем поднятия руки (как я объясняла в первой главе, прямая демократия является моноархической). Не пренебрегая важными отличиями, появившимися в демократии в результате выборного назначения на государственные должности, я использую античный анализ демагогии для объяснения противоречивого отношения популизма к демократии²³.

Аристотель дал наиболее точную характеристику и определение демагогии; его идеи крайне важны для понимания природы современного популизма. Прежде всего, он опровергает введенное Платоном отождествление демагога с тираном, а потому представляет первого в качестве составной части демократического стиля политики. С другой стороны, Аристотель ввел различие между демагогами и, следовательно, смог избавить демагогию от презрения, с которым к ней от-

23. Как пишет Лэйн, слово «демагогия» в классической демократической практике не имело ругательного значения: «Во всех сохранившихся до наших дней работах драматургов, ораторов и историков не найти ругательного значения слов *dēmagōgos*, *dēmēgeros* или других однокоренных с ними слов». См.: Lane M. The Origins of the Statesman: Demagogue Distinction in and after Ancient Athens // Journal of the History of Ideas. 2012. Vol. 73. No. 2. P. 180. Обер прояснил то, что первый термин происходит от «слова *dēmos* и глагола *agō* (вести), тогда как второй — от *dēmos* и глагола *agoreuō* (говорить в публичном собрании)», однако «два корневых глагола сами тесно связаны друг с другом». См.: Ober. Mass and Elite in Democratic Athens. P. 106. Footnote 7. Лэйн добавляет: «У этих слов есть в определенном смысле партийное значение, связывающее политического спикера или лидера с популярной партией, но сами по себе они не несут в себе осуждения». См.: Lane. Op. cit. P. 180.

носились, предложив к тому же теоретическую интерпретацию перехода от конституционной демократии к неконституционной. Соответственно, он нашел исторические примеры как «хорошей» (конституционной), так и «плохой» (неконституционной) демократии. Клисфен был популярным лидером, который «после низвержения тирании» дал афинянам «государственный строй... гораздо более демократичный, чем солововский». Клисфен являлся членом элиты, однако он привел афинян к демократии посредством риторики и убеждения, которые мобилизовали лишенное избирательных прав большинство, дав ему новую конституцию и новые правила. Напротив, Писистрат, который казался «наиболее рьяным приверженцем демократии», хитро скрывал свое намерение стать тираном. Он был замечательным демагогом, который сыграл на тяжелом положении получивших право голоса крестьян, чтобы при их поддержке завоевать политическую власть; таким образом, он «взял в свои руки власть» и «управлял общественными делами скорее в духе гражданского равноправия»²⁴.

Подобно популизму в представительном правлении, в прямой демократии демагогия оставалась постоянной возможностью, чреватой опасностью тирании, хотя сама по себе и не являлась выходом из демократии или самостоятельным режимом. Искаженная демократия все еще оставалась демократией, и, согласно Аристотелю, демагогия, определенно, была худшей формой из всех, какие могла принять демократия, поскольку она эксплуатировала стремление к согласию на собрании, манипулируя умами людей так, чтобы они соглашались с планами хитрых ораторов; то есть она эксплуатировала свободу слова, ставя ее на службу единогласию, а не свободному и честному выражению идей. Демагогия не могла существовать без лидера, по-

24. *Аристотель*. Афинская полития. М.: Социально-экономическое издательство, 1937. С. 23–23.

скольку не была всего лишь горизонтальной мобилизацией обычных граждан. Как и популизм, она стремилась к завоеванию власти, а потому не могла оставаться без главы.

Для нашего рассуждения анализ Аристотеля крайне важен. Он подсказывает, что мы должны сосредоточиться на том, как граждане и лидеры используют свои речевые способности и политические свободы не только ради получения голоса большинства, но и для того, чтобы подавить оппозицию и полностью лишить ее значения, не оставив ей никакой роли в политической игре. Чтобы понять этот режим большинства, Аристотель в своем анализе обратился к социальным классам. «В демократиях перевороты чаще всего вызываются необузданностью демагогов, которые, с одной стороны, путем ложных доносов по частным делам на состоятельных людей заставляют этих последних сплотиться (ведь общий страх объединяет и злейших врагов), а с другой стороны, натравливают на них народную массу»²⁵. Аристотель предлагает нам структурный анализ условий, которые подготовили необузданность демагогов. Кризис общественного плюрализма и сужение среднего класса были двумя взаимосвязанными факторами, которые сопровождали эту трансформацию. Поляризация (богатые против бедных) и распад среднего класса были и остаются главными причинами политического упрощения.

Мы должны напомнить о том, что Аристотель считает наличие крепкого среднего класса условием любого конституционного (или умеренного) правления (а также «хорошей» демократии), а его исчезновение — условием конституционных перемен или переворотов. «Государственный строй изменяется и в том случае, когда окажется, что противоположные части государства, например богатые и простой народ, уравниются в коли-

25. *Аристотель*. Политика, 1304b20–25 // Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 535.

честве, а средних граждан не будет вовсе или их будет совсем незначительное число. Если одна из указанных частей достигнет большого перевеса, то другая не хочет рисковать вступать с ней в борьбу»²⁶. Исчезновение умеренности в обществе выражается в том, что и политические решения больше не являются умеренными. Умеренность мы должны толковать в качестве политики компромисса, поскольку именно благодаря ей количественное меньшинство всегда составляет часть демократической игры, когда она ведется правильно.

Следовательно, при определенных условиях демагогия видоизменяет демократию. Как мы увидим далее, то же самое относится и к популизму, который пользуется общественными невзгодами, чтобы усилить поляризацию и раздразнить желание тех, кто победил в политической борьбе, использовать государственную власть для наказания меньшинств, то есть для подрыва классового компромисса (или, если говорить словами Лаклау, для перестройки «формальной» всеобщности *politeia* в «истинную» всеобщность)²⁷. Особенно тревожно превращение правила большинства в правление большинства. Демократия опирается на количественное большинство, демагогия же превозносит мнение большинства, чтобы утвердить тот политический курс, который непосредственно переводит интересы победителей в закон, не тратя время на опосредование и компромиссы (Бернард Крик сказал поэтому, что популизм «не терпит процедур»)²⁸. Поляризация помогает этой стратегии. Переход от правила большинства как процедуры принятия решений к правлению большинства — вот радикальная трансформация демократии, открываемая демагогией и популизмом.

26. *Аристотель*. Политика, 1304a35–1304b1 // Там же. С. 535.

27. *Laclau*. On Populist Reason. P. 169.

28. *Crick B.* Populism, Politics and Democracy // Democratization. 2005. No. 12. P. 626.

Является ли демагогия тираническим правлением большинства народа? По Аристотелю, который внимателен к игре слов и политике формирования консенсуса, это не совсем так. Конечно, демагог нуждается в согласии большинства и использует речь для того, чтобы перетянуть собрание на свою сторону. Однако речевая манипуляция все равно остается манипуляцией, пусть даже оценить ее и провести четкое различие между правильным и искаженным бывает сложно, когда в политическом порядке господствует свобода слова. Но хотя демагогия тоже опирается на большинство, она отличается от демократии.

Отсюда следует, что получить большинство голосов в собрании — еще не значит проводить демократическую политику. Тот же аргумент можно найти в «Об общественном договоре» Руссо, где он говорит, что, когда *воля* и *мнение* сливаются, республика получает более прочную легитимность, поскольку воля собрания столь мало оспаривается (решения принимаются подавляющим большинством голосов), что все люди или их абсолютное большинство чувствуют себя единым политическим телом *де-юре* и *де-факто*. То есть демократия становится демагогической не благодаря единогласию или подавляющему большинству, а благодаря тому, как достигается такое единство во мнении. Мы должны вспомнить, что, по Руссо, собрание не должно было заниматься обсуждениями, иначе у ораторов появится возможность устраивать спектакли. С его точки зрения, убеждение посредством разума, а не риторического внушения, — вот надежное условие, позволяющее сделать из слияния суверенности *де-юре* (общей воли) и суверенности *де-факто* (*l'opinion générale*) знак политической справедливости, а не просто опирающейся на количество власти. Однако проблема остается, поскольку этого единодушия можно достичь как посредством разума, так и убеждением, а потому демагогия, как и популизм, остается постоянной возможностью при режиме, который, подобно демократии, основан на мнении и речи.

Аристотель предлагает нам несколько важных соображений относительно того, как интерпретировать феномен унификации или, если говорить словами Лаклау, создания гегемонического единства. Вспомним о том, что, по Аристотелю, хороший строй — это такое институциональное устройство, которое покоится на динамическом равновесии между двумя основными социальными классами, богатыми и бедными. Независимо от формы правления, это равновесие как раз и делает правление умеренным, превращая его в обитель свободы (в Новое время этот подход был возрожден Монтескье). Чтобы существовало социальное (и политическое) равновесие, необходима широкая общественная среда; в случае демократии такая среда сохраняется, пока очень бедных мало, а очень богатые чувствуют, что их богатству ничто не угрожает, даже если сами они в меньшинстве (похожая мысль поддерживает убеждение Токвиля в том, что обширный средний класс — это условие демократии, которую можно считать неплохой). Уничтожение этого среднего звена и радикализация социальных полюсов — вот то, что выявляет и эксплуатирует демагогия; и именно в этот момент правило большинства достигает интенсивности, которая не известна конституционной демократии. В чем причина? Почему требуется более интенсивное большинство?

Этот вопрос важен именно потому, что демагогия не тождественна демократии, даже если бедные (которым популизм, как он сам заявляет, намерен вернуть власть) составляют большинство. Почему бедным, которые всегда составляют количественное большинство, в определенный момент должно понадобиться более интенсивное большинство? Почему более недостаточно простого большинства голосов? Эти вопросы указывают на то, что, судя по всему, специфическим агентом демагогии является *не количественное большинство*. Поскольку большинство — это норма демократического принятия решений, демагогия — это не просто выражение количественного большинства.

Общественные перемены, на которые Аристотель указывает как на фактор классовой поляризации, говорят о росте бедности. Компромиссы со средним классом и богатыми, на которые бедняки ранее были готовы, осложняются, поскольку более значительному числу обедневших людей требуется более интервенционистская политика со стороны государства. Им нужен политический курс, который помогал бы им больше, чем раньше, а это обязательно должно встревожить и обеспокоить тех состоятельных людей, которые начинают «спланиваться», чтобы успешнее противостоять народным требованиям. Следовательно, вовсе не то, что конституционная демократия опирается на большинство обычных (небогатых) людей, объясняет ее демагогический упадок. Он объясняется *разрушением общественного равновесия*, из которого вытекает крах всеобщности закона. Поляризация и партийность — это признаки более интенсивного большинства, создаваемого демагогией.

Это важное отличие от демократического большинства и одновременно причина, по которой демократия и демагогия (и популизм) не тождественны друг другу, хотя они в равной мере апеллируют к народу и принципу большинства, относясь, таким образом, к одному и тому же роду. Ухудшение экономической ситуации или же упадок благосостояния большинства может увеличить склонность количественного большинства к принятию законов, которые заставляют «состоятельных людей сплотиться», чтобы, к примеру, не допустить повышения налогов. Это классовый фактор, лежащий в основании демагогии. Аристотель говорит нам, что конституционная демократия многим рискует, когда общество беднеет²⁹.

29. Пржеворский выдвинул похожий аргумент в своем сравнительном анализе классовых конфликтов, капитализма и демократической стабильности (и нарушений стабильности) в работе: *Przeworski. Capitalism and Social Democracy*. P. 207–221.

Почему называть это демагогией, а не тиранией? Как мы выяснили на примере Писистрата, Аристотель перечислил случаи, когда демагогия может стать тиранией. Однако демагогия работает в рамках конституционной демократии, в которой собрание свободнорожденных граждан является высшим органом, а предложения должны набрать большинство голосов, чтобы стать законами. Пока существует равновесие между классами, словесное оружие кажется достаточной стратегией, которая, кроме того, все еще остается в конституционных рамках. Демагогия в этом смысле представляет форму политического языка, которая созвучна с политикой собраний, а следовательно и с демократией. Однако это «нейтральное» прочтение перестает работать, когда появляется тиран³⁰.

Но нарушают правила и превращают демагогию в тиранию вовсе не олигархи или меньшинство как таковое (словно бы оно было гомогенным классом). Такую функцию выполняет определенная часть этого меньшинства или меньшинство из меньшинства, которое понимает, что может, применяя риторику и спекулируя на происходящих социальных бедствиях, приобрести больше власти и использовать обеднение людей, чтобы настроить их против конституции и, прежде всего, против тех представителей меньшинства, которые все еще поддерживают равновесие между классами, выступая оплотом демократического строя. *Третья сторона* между меньшинством и большинством, на которую указывал Аристотель, когда объяснял тиранию Писистрата, — это ключевой элемент для понимания не только общественных условий победы демагогии, но и роли отдельного ли-

30. И негативное, и нейтральное значение термина можно встретить в работе Финли, который, однако, больше был склонен подчеркивать первое, поскольку писал во времена, когда было немало грубых демагогов. См.: *Finley. Democracy Ancient and Modern*. P. 38–75.

дера³¹. Общественные бедствия будят неумеренное желание власти у тех представителей меньшинства, которые понимают, что разрушение социально-политического равновесия можно превратить в стратегию перехода к режиму, благодаря которому они смогут принимать решения, не учитывая мнение народа.

Демагоги представляют новый класс внутри класса богатых, который полагает, что может получить больше власти и привилегий при реальной поддержке большинства. Этот класс подрывает равенство, заручившись реальной поддержкой большинства, — поступая как «демагоги, стремясь захватить должности в свои руки». Они являют собой разрыв внутри класса меньшинства и способны получить одобрение народа, чтобы принять законы в собственную пользу, при полной народной поддержке³². Аристотелевская схема, похоже, действует во все времена. Как пишет Джозеф М. Шварц в своем безжалостном анализе упадка равенства в современной демократии, немногие реформистские теоретики в конце 1970-х годов могли бы предсказать то, что «правые (особенно в Великобритании и США) построят популистскую, опирающуюся на поддержку большинства политику, нацеленную на дерегулирование, роспуск профсоюзов, демонтаж государства всеобщего благосостояния и особенно программ материальной помощи неимущим»³³.

Подобно демагогии и независимо от своего обращения к «единому телу» народа, популизм — это движение, опирающееся на искусное применение слов и медиа, на-

31. «Другими словами, это имя существительное [демагогия] само по себе нейтрально: отрицательный смысл несет в себе изменение качеств тех, кто занимает нейтральную позицию политического лидера». См.: Lane. *Origins of the Statesman*.

32. *Аристотель*. Политика, 1305a30–35. // Т. 4. С. 537. Это как раз то, что всегда делает меньшинство. См.: *Przeworski*. *Minimalist Conception of Democracy*. P. 40–41.

33. *Schwartz*. *Future of Democratic Equality*. P. 178.

целенное на то, чтобы склонить большинство к политике, которая не обязательно будет в его интересах. В действительности поляризация осуществляется ради нового объединения народа, являясь стратегией, которую меньшинство использует для выдвижения претензий на большую власть и приобретения этой власти, позволяющей достичь результатов, которых не допустило бы открытое, плюралистическое, продолжительное обсуждение. Конечно, популистская политика — это не просто плод процедурного большинства. Необходимо и востребовано более интенсивное и более широкое большинство. Коллективность народа как гомогенного целого, а не результат подсчета голосов постфактум представляется, насколько можно судить, со времен Аристотеля, одним из признаков искажения той демократии, которая готовится принять демагогического лидера.

Развивая похожую мысль, Макиавелли провел различие, которое стало важным фактором в анализе популистской политики, — между *партией друзей* и *партией врагов* или между партийным конфликтом и партийным расколом. Свобода дышит конфликтом — при условии, что в нем участвуют народ и меньшинство, причем ни одна из двух сторон не может использовать другую в качестве всего лишь инструмента (так действуют *buoni ordini* [„хорошие установления“]). Следовательно, конфликт во благо полиса является предварительным условием, нормой демократии, поскольку он не допускает игры с нулевой суммой между двумя частями общества³⁴. Пока он существует, пока выборы являются открытой игрой, а не инструментом, который фактически выгоден только одной стороне, хотя его и поддерживает большинство, демагогия остается бессильной. *Однако демагогическая речь всегда может*

34. Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М.: Пушкинская библиотека, АСТ, 2004. С. 180–183.

дать о себе знать, и обусловлено это свободой слова, поскольку демократия — это выработка партийных взглядов, множественность интерпретаций того, как лучше всего выполнить обещания, записанные в демократической конституции. Следовательно, проблемой является не сама по себе демагогическая речь (или популистская риторика), а ее победа. Плюрализм — это стратегия, нейтрализующая зло, не подавляя его выражения.

Можно сказать, что партийная политика является одновременно и способом обеспечить [массовое] участие в политике, и возможностью поставить конфликт на службу системе в целом. Следовательно, порывая с ней, популизм стремится превратить весь народ в одну большую партию или же отождествить его с определенным мировоззрением либо лидером, тогда как меньшинство перестает считать партией друзей, начиная относиться к нему как к партии врагов. Когда такое случается, институциональный порядок начинает действовать в качестве стратегии, которая служит власти лишь одной части, противостоящей другой, то есть полис становится полисом двух народов.

Разведение институтов и доблести — аргумент, разработанный Макиавелли, чтобы объяснить упадок республики и особенно две вещи: во-первых, то, что хорошие правила порождают запланированные последствия только при определенных социально-этических условиях, в которых они действуют; во-вторых, то, что политическая система может измениться, не изменившись в конституционном отношении. Например, в Древнем Риме Августу не нужно было приостанавливать работу республиканских институтов, которые, однако, потеряли всю свою силу, а потому даже при их наличии империя более не могла считаться республикой. Те самые институты, благодаря которым Рим стал великой республикой, могли выступить признаком ее упадка, поскольку граждане были коррумпированы; то есть социальная структура изменилась, а потому добродетельное поведение стало слишком разорительным.

Цицерон говорит нечто похожее в своей книге «О законах», где он комментирует переход от открытого голосования к тайному. Открытое голосование было хорошим институтом и верно служило республике, пока сенаторы не стали использовать свои позиции для усиления личной власти в конкурентной борьбе с коллегами, а мобилизацию народа, допускаемую институтами республики, — для реализации своих личных планов и амбиций. В этих новых условиях открытое голосование стало гибельным институтом, поскольку кандидаты применяли его для шантажа избирателей и «скупки» согласия, а не для того, чтобы заставить всех — и меньшинство, и большинство, отвечать друг перед другом в условиях публичности³⁵.

Аристотель и сам указывал на наличие связи между институциональными переменами и общественными изменениями, отметив, что «там, где должности замещаются путем избрания, не на основании имущественного ценза, а выбирает народ, демагоги, стремясь захватить должности в свои руки, достигают того, что народ становится выше самих законов»³⁶. Выборы упрощают задачу амбициозных демагогов. Следовательно, не само по себе наличие ораторов определяет переход к демагогии, а наличие ораторов, стремящихся к руководящим политическим постам в государстве, тогда как, с другой стороны, не само по себе большинство порождает демагогию. Если применить все это к современному популизму, можно сказать, что это не просто народное движение, а движение, которое желает завоевать власть, то есть руководить государством и использовать

35. Римский народ не слишком интересовался законом о голосовании, пока он был свободен. Введения этого закона «потребовали только тогда, когда их стали ущемлять некоторые могущественные государственные мужи». *Cicero M. T. De legibus // De re publica: De legibus / C. W. Keyes (trans.). Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928. P. 499.*

36. *Аристотель. Политика, 1305a30–35 // Т. 4. С. 537.*

его в качестве своей собственной избирательной базы либо для распределения постов и милостей. Популистское руководство, достигая власти за счет мобилизации, может консолидировать и увековечить эту власть за счет патронажа или клиентелизма. Макиавелли-демократ сказал бы по этому поводу, что не народ «становится выше самих законов», а лидеры, которые заручаются согласием народа на свои планы. Вот что представляет собой популизм как стиль политики, использующий слова и стремящийся завоевать согласие на изменение и искажение процедур демократии.

Сложный феномен

США и Европа

Исторический и политический контекст — важная переменная для оценки популизма, являющегося одним из тех феноменов, которые помогают выявить существенные различия между США и Европой. Американский историк Майкл Кэзин рассматривает популизм в качестве демократического выражения политической жизни (то есть скорее как движение, а не режим), нужного, чтобы время от времени заново уравнивать политическую власть в пользу большинства. Благодаря популизму американские граждане «могли протестовать против социально-экономического неравенства, не ставя под вопрос всю систему в целом»³⁷. Ральф Уолдо Эмерсон, как известно, писал: «Маршируйте без народа, и вы зайдете в темноту»³⁸. Следуя этой максиме, историки Гордон Вуд, Гарри С. Стаут и Алан Хеймерт интерпретировали «Великое пробуждение» середины

37. Kazin. *Populist Passion*. P. 2.

38. Emerson R. W. *Power* // *The Complete Writings*. New York: Wise & Co, 1929. P. 541.

XVIII века как первый пример американского демократического популизма, как «новую форму массовой коммуникации»: «Людей поощряли и даже заставляли выговариваться»³⁹. Как объяснял Хеймерт, последователи Джонатана Эдвардса перевели абстрактный язык либеральных и республиканских интеллектуалов на свой собственный язык, состоящий из религиозных символов и библейских аллегорий, выступив против профессиональных теологов и одновременно против политических лидеров⁴⁰. Популизм родился в качестве разоблачения недавно созданной мэдисоновской республики. Базовый популистский язык фактически был придуман в этих ранних разоблачительных движениях, и тогда же были заданы его характеристики.

Одно из сильных утверждений этой ранней формы популистского движения состояло в том, что демократия (то есть, собственно, «народное правление») хранит верность своему инстинктивному антиинтеллектуалистскому призванию, пока отвергает лингвистические стили и позиции, далекие от разделяемых и практикуемых народом в его повседневной жизни. Таким образом, *интеллектуализм* или *косвенный язык* были противопоставлены *народному* или *прямому стилю* выражения. Тот же самый дуализм был спроецирован на политику, которая делается либо косвенными средствами (институтами и процедурами), либо прямым выражением народных мнений. Эти оппозиции время от времени давали о себе знать (и не только в США), став перводвигателем популизма. Платформа Народной партии, основанной в 1892 году, была построена на бинарной логике, противопоставляющей простой язык ферме-

39. *Stout H.S.* The New England Soul: Preaching and Religious Culture in Colonial New England. New York: Oxford University Press, 1986. P. 193–194; *Hofstadter R.* Anti-Intellectualism in American Life. New York: Vintage Books, 1962. Chaps. 3, 4.

40. *Heimert A.* Religion and the American Mind. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966. P. 12–15.

ров сложному языку финансистов и политиков⁴¹. Поляризация как упрощение социального плюрализма, сводящее его к двум крупным фракциям — *popolo* (поланы) и *grandi* (гранды), была основной чертой популизма с момента его зарождения, качеством, известным уже в Риме.

Похоже, американская история показывает, что популизм как политическая риторика и политическое движение стал считаться жизнеспособной формой коллективного выражения недовольства внутренними врагами «народа»⁴². Его скрытая сила заключалась в вере в предположительную чистоту истоков народного правления, искаженного искусственной сложностью цивилизации и хитрой институциональной организацией государства⁴³. И если активисты Первого пробуждения стремились ради религиозной чистоты освободить религию от традиционных церквей, Народная партия конца XIX века провозгласила освобождение нации от (искусственной) «власти денег», отстаивая (естественные) собственность и труд. Параллелью к противопоставлению непосредственности и косвенности выступали и другие оппозиции: природа против искусственности, традиция против современности, народные движения против институциональной политики⁴⁴. В тех случаях, когда политика начинает пользоваться косвенными методами, она рискует стать антинародной: в американской истории с самого основания республики именно так формулировалась главная мысль популистской идеологии, обусловившая ее привлекательность для демократов. Ин-

41. Hofstadter R. North America // Populism: Its Meaning and National Characteristics / G. Ionescu, E. Gellner (eds.). London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. P. 16–18.

42. Frank. Constituent Moments. P. 4–18.

43. Germani G. Authoritarianism, Fascism, and National Populism. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1978; Lasch C. The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: Norton, 1991.

44. Hofstadter. Anti-Intellectualism. P. 117–136.

интересно отметить, что популизм как положительное движение сдерживания элиты родился в идеологических и институциональных рамках *республики*.

Эту линию рассуждения следует развить: в последней части данной главы я буду доказывать, что популизм можно считать интерпретацией демократии, выдвигаемой внутри республиканской структуры правления и политики. Это позволяет нам сказать, что ее опорной точкой является народное правление, а не демократия.

Основываясь на американской истории, исследователи предложили различать «хороший» и «плохой» популизм — как искреннюю демократическую веру и веру инструментальную: подобно термометру, популизм должен в таком случае показывать силу демократии в том или ином обществе. Эта схема воспроизводится в работах наиболее представительных исследователей популизма (как его сторонников, так и критиков). Питер Уорсли предлагает толковать популизм и элитизм в качестве двух крайних полюсов континуума политики, чей показатель демократичности может как маятник колебаться от первого полюса (больше демократии) к последнему (меньше демократии)⁴⁵. Кэнован предлагает интерпретировать популизм в качестве «политики веры, нацеленной на освобождение нормальной политики от ее неизбежно скептического и прагматического настроения»⁴⁶. Та же самая идея оформляет предложенную Лаклау интерпретацию популистских движений в Латинской Америке как процессов гегемонического восстановления баланса во властном блоке, достигаемого за счет включения народной демократической идеологии масс. Лаклау идет дальше и отождествляет популизм не просто с «политическим действием», а с демократическим видом политического действия, которое глав-

45. Worsley P. Populism // The Oxford Companion to Politics of the World / J. Krieger (ed.). New York: Oxford University Press, 1993. P. 730–731; Idem. The Concept of Populism // Populism. P. 247.

46. Canovan. „Trust the People!“. P. 8–9.

ную роль отдает классу обычных людей или трудящихся. Популизм, как он полагает, — это политика, которая эгалитарнее и демократичнее той, что, являясь его непосредственным противником, осуществляется представительными процедурами⁴⁷. В целом, если следовать этой общей интерпретации, популизм относится к демократическому семейству не просто потому, что опирается на речь и мнение (что, конечно, так), но, главное, благодаря двум его структурным характеристикам — поляризации (большинство против меньшинства) и альянсу с демократической стороной (большинством), то есть, по сути, благодаря воплощению позиции подавляющего большинства в одном коллективном акторе.

Однако эта интерпретация не вполне убедительна, поскольку из-за поляризации идеология народа менее инклюзивна, чем демократическое гражданство. Как показано в работах Джона Маккормика, присущее популизму понятие народа является, раз последний отождествляется с определенной частью населения (менее обеспеченной), по сути своей социологическим, хотя и не обязательно марксистским, основанным на классовой интерпретации истории и общества или прогрессивным⁴⁸. Популизм — это политика не включения, а, в первую очередь, исключения — для этого-то и нужна поляризация. Неслучайно суверенным ядром оказыва-

47. *Laclau E. Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism-Fascism-Populism*. London: Verso, 1979. P. 18. Не слишком отличаясь от фашизма, перонизм характеризовался выраженным антилиберализмом, чей популистско-националистический язык служил стратегией укрепления и гомогенизации гражданского общества, противостоящего существовавшей экономико-политической олигархии (Р. 182–191), хотя перонизм допускал и союзные отношения с военными и землевладельческими элитами. См., однако: *Laclau. On Populist Reason* (особенно часть 2). Демократическую интерпретацию латиноамериканского популизма см. также в: *Kaltwasser C. R. The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy // Democratization* (May 24, 2011). P. 1–25.

48. *McCormick J. P. Machiavellian Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

ется «народ», а не гражданин, как в демократии. Инкорпорация не тождественна равенству перед законом, так что если равная свобода — это характеристика демократии, популизм будет ее более бедным означающим, а не более богатым.

Этот критический диагноз подтверждается европейской политической историей после XVIII века. Действительно, отстоять перенос положительных выводов американских историков на европейские общества и политические процессы вряд ли возможно. Европа — намного более интересная лаборатория популизма, поскольку в Европе этот феномен смог освободиться от тумана двусмысленности и раскрыть наиболее специфические из своих качеств и характеристик. В Европе единство нации или народа (коллектива, чьи члены считались равными, и не только нормативно или в качестве юридических лиц) стало основанием, на котором была возведена демократия. Кроме того, если США с самого начала были демократическим проектом (независимо от намерения наиболее видных основателей, которое не было демократичным), поскольку они представляли собой политический порядок, родившийся из согласия, в европейских странах демократия возникла внутри общества, в котором философы и политические лидеры (то есть интеллектуалы в широком смысле) систематически пытались остановить демократизацию или же усмирить ее, подчинив бюрократическому государству и иерархическому обществу, в котором согласие спускалось сверху. Политический опыт континентальной Европы показывает два момента: популизм родился в конституционную и представительскую эпоху; на демократию он оказал крайне негативное воздействие.

Наполеон был первым лидером, который стал «фабриковать» согласие посредством общественного мнения, использовать предлагаемые тогдашним обществом инструменты формирования мнения и пропаганды ради выгодной ему мобилизации народа, применяя постоянно растущее количество печатных материалов и по-

литические клубы⁴⁹. Наполеон, столкнувшись с сопротивлением общества (прессы и культурной прослойки) его имперским амбициям и политике примирения с католическим духовенством, разбудил в народе антиэлитистские чувства, чтобы заклеить своих критиков как «идеологов» и «доктринеров»⁵⁰. Его демагогическая стратегия затем использовалась в Европе неоднократно. Если брать пример Италии (который далеко не единичен), Бенито Муссолини после Первой мировой войны эксплуатировал тяжелое экономическое положение среднего класса и обнищание людей, и так уже достаточно бедных, чтобы поляризовать политическую жизнь и трансформировать итальянское либеральное правление в опирающийся на массы режим, обращенный против политических меньшинств. Хотя Муссолини никогда не отменял конституцию либерального государства, он создал популистский режим, который постоянно обращался к народу и использовал пропаганду для мобилизации большинства и оформления его мнений, подавляя при этом плюрализм и оппозицию⁵¹. Если обратиться к недавней истории, новыми версиями популизма

49. «Весной 1804 года офицеры и войска, которыми они командовали, настоятельно потребовали назначить Наполеона Бонапарта императором... Петиция, которая проникала в Париж из армии, представила объявление Империи чрезвычайно соблазнительным предложением. Сложно точно реконструировать то, как дирижировали этой кампанией перьев и чернил, но некоторые следы в архивах все же сохранились». См.: *Woloch I. From Consulate to Empire: Impetus and Resistance // Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism / P. Baehr, M. Richter (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 29, 45.*

50. *Mannheim K. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge / L. Wirth, E. Shils (trans.). New York: Harcourt, Brace & World, 1964. P. 74.*

51. О полном единстве лидера и народа в итальянском фашизме см. недавнюю работу Яна-Вернера Мюллера: *Mueller J.-W. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe. New Haven, CT: Yale University Press, 2011. P. 117.*

в Италии стали сепаратистское движение «Лига Севера» и цезаристская политика Сильвио Берлускони. Их главная риторическая стратегия заключается опять же в изображении этих движений в качестве «подлинной» альтернативы существующим политическим партиям и одновременно парламентской демократии. Они атакуют парламентскую политику, считая ее элитистской и антидемократической, поскольку она не хочет растворяться в народном мнении. Кроме того, они систематически применяют пропаганду (а в некоторых случаях им принадлежало около половины национальных телестанций и издательств), чтобы сформировать единообразие в мыслях и публичных речах. Новые популисты эксплуатируют доксу, которая в большей мере стала их собственным, а не народным, творением⁵².

В заключение этого краткого сопоставления истории популизма в США и Европе я бы сказала, что европейский популизм в его различных проявлениях чаще следовал за правой политикой или за политикой, которая стремилась не выполнить обещания конституционной демократии, а, напротив, исказить их⁵³. Если бы политики и теоретики политики судили о популизме с точки зрения исторического опыта, как прошлого, так и актуального, их оценка была бы не такой позитивной. Хотя популизм является симптомом определенных проблем

52. Анализ различных форм популистских стратегий, которые возникли после распада традиционных партий в Италии, см. в: *Lanni A. Avanti popoli! Piazze, tv, web: dove va l'Italia senza partiti*. Venice: Marsilio, 2011. Интернет-движение Бeppe Гpилло, запущенное в Италии в 2005–2007 годах (затем названное «Движением пяти звезд»), заслуживает отдельного анализа. Использование интернета в формировании популизма — тема следующего исследования: Corbetta P., E. Gualmini (eds.). *Il partito di Grillo*. Bologna: Il Mulino, 2013.

53. В последнее время вследствие общего недоверия к политической элите и «возмущения» ее коррумпированной системой власти популистские движения привлекли левых симпатизантов и активистов. См.: *Taguieff P.-A. Le nouveau national-populisme*. Paris: CNRS Editions, 2012. P. 67–92.

в представительной демократии и в экономике и хотя он постоянно взывает к более народной политике, в случае своего успеха он подрывает конституционную демократию и представляемую ею правовую политику⁵⁴.

Это позволяет мне прокомментировать относительно неопределенность термина «популизм»: если даже он и кажется смутным, причина в том, что это название не режима, а одновременно движения и формы демократии (которая иногда оказывается настолько мажоритарной и враждебной к разделению властей и партийному плюрализму, что действительно превращается в новый режим). Это атака на представительную и парламентскую политику во имя единого коллективного утверждения воли народа, в каковом эта воля не оценивается посредством определенных критериев, а высказывается и формулируется умелыми ораторами или группой амбициозных политиков. Кроме того, причина, по которой популизм, вероятно, и правда сложно наделить статусом аналитической категории, состоит в нормативном статусе самой представительной демократии, который позволяет нам категориально оформлять лишь нарушение в конституционном порядке (например, вследствие «давления» или тиранического переворота), а не его внутренние изменения. Искаженная демократия все еще остается демократией. Следовательно, если тиранический разрыв легко увидеть и выявить, этого не всегда можно сказать о популизме, когда он искажает демократические институты и разрушает их, поскольку осложняет реализацию диалектики мнений меньшинства и большинства, то есть фактически использует государственную власть для наказания и дискриминации меньшинств, а государство —

54. Взгляд на популизм как болезнь и патологию демократии см. в: *Taguieff P.-A. Le populisme et la science politique: Du mirage conceptuel aux vrais problèmes // Vintième siècle. 1997. No. 56. P. 4–33.* Весьма ценным источником является уже упоминавшийся сборник под редакцией Ионеску и Гельнера: *Ionescu, Gellner (eds.). Populism.*

для распределения льгот и постов в целях стабилизации собственной власти. Популизм представляет собой эскалацию дискриминации и коррупции.

Недвусмысленная политика

Если популизм и является неудачной теоретической категорией, причина в том, что он не обозначает какой-то отдельный политический режим. Он является одновременно стилем политики и способом сделать демократию менее либеральной и опирающейся на более интенсивное большинство. В частности, он представляется той критикой центральной роли парламента, которая желает как можно больше сократить расстояние между народом и его представителями, отвергая разделение властей и конституционный контроль законодательства. Кроме того, он развивает вполне откровенную критику либерализма как культуры, считающей права и плюрализм ключевым элементом демократического общества. Популизм в действительности можно описать как снова и снова повторяющуюся внутри демократических обществ попытку отделить демократию от либерализма. Он способен упростить значение демократии, поддержав политику неопосредованности⁵⁵. «Популисты всегда против либеральной системы сдержек и противовесов... прав меньшинств и т. д., поскольку, с их точки зрения на политику, последние в лучшем случае не нужны, а в худшем попросту мешают выражению подлинной народной воли»⁵⁶.

55. Карл Шмитт считал, что массовая демократия более антитетична по отношению к либерализму, чем фашизм или большевизм. См.: *Schmitt K. Crisis of Parliamentary Democracy* / E. Kennedy (trans.). Cambridge, MA: MIT Press, 1994. P. 25; *Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. Предварительные замечания (О противоположности парламентаризма и демократии)* // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 2. С. 16.

56. *Mueller J.-W. Towards a Political Theory of Populism* // *Politeia*. 2012. Vol. 28. No. 107. P. 23.

Таким образом, политические теоретики подчеркнули роль мобилизации народа как *симптома* политического недовольства обычными политическими партиями, независимо от достигаемого ею результата, посчитав ее характерной для популизма⁵⁷. Как сказал о президенте Обаме и демократах Ньют Гингрич, «они представляют собой правление элиты, для элиты и средствами элиты»⁵⁸. Протесты против интеллектуалов, высокой культуры, людей с высшим образованием, нападки на космополитических «проходимцев» и «жирных котлов», защита «здорового смысла обычных людей», которые живут своим трудом в замкнутом пространстве одной деревни или района, — все это компоненты идеологии, повсюду признаваемой популистской⁵⁹. Однако популизм — это более амбициозный проект, чем просто антиинтеллектуализм. Как весьма убедительно объяснил Лаклау, он является живым выражением демократического воображаемого, и прежде всего стратегией слияния различных претензий, недовольства и требований, которые политические партии разбивают на части и отфильтровывают, когда обеспечивают институты персоналом или заполняют государственные посты⁶⁰. Кэнован, соответственно, выдвинула идею, что мобилизация народа работает как искупительная сила демократии, поскольку ее значение — «вернуть политику народу» и забрать власть у опосредующих организаций, таких как политические партии⁶¹.

Эти наблюдения заставляют нас добавить еще одну характеристику популизма, а именно то, что это не рево-

57. Taggart P. Populism. London: Open University Press, 2000. См. также: Idem. Populism and the Pathologies of Representative Politics // Democracy and the Populist Challenge.

58. URL: <http://archives.politicususa.com/2010/08/05/gingrich-obama-elite.html>.

59. Manning E. P. The New Canada. Toronto: Macmillan, 1992.

60. Laclau. On Populist Reason. P. 129–156.

61. Canovan. Taking Politics to the People. P. 26–28.

люционное движение, поскольку оно не создает суверенитета народа, а вмешивается тогда, когда этот суверенитет уже существует, а его ценности и правила закреплены в конституции⁶². Популизм представляет собой обращение к народу при политическом порядке, в котором народ формально является сувереном. Поэтому было бы неправильно использовать эту категорию для описания демократической революции: Французская и Американская революции не были популистскими, однако они не могли бы произойти без мобилизации народа.

Популизм не создает демократии. Но он может быть движением, выражающим стремление нового лидера быстро достичь власти, не дожидаясь завершения политического цикла, регулируемого демократической конституцией. Он прорастает изнутри уже существующей демократии, оспаривая то, как она работает, но безо всяких гарантий, что в итоге он сделает ее более демократичной.

Популизм, как мы уже отмечали в начале, — это не просто форма разоблачения, он пытается стать проектом политического обновления. Он стремится исправить демократию, вернуть ее к «естественным» корням, ведь именно для этого требуется его обращение к единству народа. То есть он указывает на определенный способ существования политического движения или партии, который характеризуется узнаваемым набором идей, единогласно принимаемых большой группой людей и работающих в качестве понятийной карты для ориентации политических суждений и оценок этой группы. Как утверждает Кэнован, не сами люди популисты, а их идеология является популизмом⁶³.

Майкл Фриден объяснил, что идеология — это способ «превратить неизбежное разнообразие вариантов

62. «При автократическом правлении масса народа полностью исключена из власти». См.: *Cavan. Taking Politics to the People*. P. 26.

63. *Ibid.* P. 26–30.

в монолитную определенность, которая является обязательным качеством политического решения и основанием для выплавки политической идентичности»⁶⁴. Конечно, у всех политических партий есть набор более или менее прочных идеологических принципов, которые ответственны за интерпретацию социально-политического многообразия, и которые служат ориентиром в борьбе за получение большинства голосов и при принятии решений. Однако не все партии являются популистскими, даже если они народные и даже если их заявления в значительной мере отображает народное недовольство, согласуясь с общими настроениями. Как я уже указывала выше, популистский и народный — это не одно и то же, а когда этим различием пренебрегают, популизм в конечном счете отождествляется с демократической политикой или политикой движений. Идеологическое упрощение, являющееся, с точки зрения Лаклау, ядром популизма, это ключевой компонент, однако одного его недостаточно для того, чтобы популистская политика стала популистской властью.

Популистская идеология содержит некоторые темы, выявляемые во всех популистских движениях: а) превознесение чистоты народа как условия политики искренности, противопоставляемой повседневной практике компромисса и переговоров, которой заняты политики; б) апелляцию к правоте большинства и утверждение его права против любого меньшинства, как политического так и иного (популизм возвращает сильные дискриминационные идеологии, направленные против культурных, гендерных, религиозных и языковых меньшинств); в) мысль о том, что политика предполагает идентичность, построенную на противопоставлении, конструирование «нас» против «них»; наконец, г) канонизацию единства и однородности народа, противопоставляемых любой его части.

64. *Freeden M. Ideologies and Political Theories: A Conceptual Approach.* Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 76–77.

Чтобы соотнести эти наблюдения с историей, значением и качествами данного понятия, я предлагаю следующую интерпретацию: популизм — это не просто преходящий исторический феномен, он внутренне присущ самому пониманию демократии. И отличительные признаки, и практика популизма основываются, более или менее осознанно выходясь из него, на том представлении о демократии, которое может стать крайне враждебным к политической свободе, поскольку устраняет политическую диалектику граждан и групп, аннулирует опосредующую роль политических институтов и поддерживает органическое понятие о политическом теле, противоположное понятию о правах меньшинства и индивидуальных правах. Идеология народа замещает равенство единством, а потому выступает против политического плюрализма. Ее крайнее следствие — превращение политического сообщества в корпоративную структуру, созданную по образцу домохозяйства, в которой классы и идеологические различия отрицаются и снимаются ради осуществления мифа о корпоративной тотальности государства и общества. Следовательно, вопреки заявляемому популизмом неприятию наличного политического порядка и элиты, его призвание остается, по существу, глубоко этатистским; он не терпит правления посредством обсуждения и парламентаризма, поскольку сам стремится к безграничному децизионизму.

Моноархическое исправление демократии

Сложности с рассмотрением популизма в качестве самостоятельного режима привели исследователей к выводу, что, раз «популистский „аспект“» не является «ни демократическим, ни антидемократическим», он может совмещаться с демократией, пока служит гарантией того, что права большинства не «игнориру-

ются»⁶⁵. Однако, если популистская риторика и может служить демократизации, мобилизуя исключенные большинства (людей вне институтов) против существующих элит и требуя лучших форм представительства (чего как раз и хотело добиться движение *Ossipy Wall Street*), она также способна оказать негативное влияние на устоявшуюся демократию, если получит государственную власть, поскольку популистская критика представительных институтов легко выливается в плебисцитарные формы политического участия (то есть в коронацию лидера). Это приводит к парадоксу: люди в конечном счете в большей мере становятся реагирующей аудиторией, а не политическим актором, что мы и увидим в следующей главе⁶⁶. В действительности, как убедительно доказали Норберто Боббио и Пьер Розанваллон, популизм — это разложение демократических процедур с крайне пагубными последствиями⁶⁷. Он полностью уничтожает представительство и изменяет негативную власть суждения и мнения: теперь она уже не контролирует политически избранных лидеров, не отслеживает их действия и не влияет на них, а отвергает в качестве «формальности» электоральную легитимность во имя более глубокого единства лидеров и народа; она утверждает идеологическую легитимность, противопоставляя ее конституционной и процедурной легитимности, и превращает мнение во власть, которая требует власти воли, если использовать терминологию диархии.

65. Worsley. Concept of Populism. P. 247; Canovan. Taking Politics to the People. P. 25–44.

66. Данное Маненом в «Принципах представительного правления» определение современной демократии как демократии постпартийной и нацеленной на аудиторию, то есть больше плебисцитарной, чем представительной, очевидно, помогло возрождению этого течения мысли в теории демократии; см., например: Green. Eyes of the People. P. 109–112; Arditì. Politics on the Edges of Liberalism. P. 51–52.

67. Rosanvallon. La contre-démocratie. P. 276. Bobbio. Autobiografia. P. 199.

Несмотря на демократическое намерение избавить обычных граждан от пассивности, популистская мобилизация не выполняет своих обещаний. Когда *популистский лидер* объявляет самого себя истинным представителем народной воли, действующим за пределами и в обход избирательного мандата, он приводит в действие деструктивную силу суждения и ставит под вопрос не просто плохую или коррумпированную работу представительства и государственных институтов, но саму процедуру выборов, связанный с ней механизм защиты интересов и уполномочивания, ее опосредующий характер. Вопреки демократическому намерению сделать граждан активными, а не пассивными, популистская мобилизация производит активистский тип пассивности, поскольку она группирует мнения людей под сенью единой идеологии, которую воплощает в себе лидер, объявляя себя истинным представителем народа, превосходящим избранных представителей и противостоящим им. Верно то, что не все популистские движения приводят к созданию сильного лидера, который стремится к государственной власти, основанной на прямой поддержке подавляющего большинства⁶⁸. Если в Латинской Америке и Европе были порождены персоналистические формы популистского движения, то, как я объясняла, Северная Америка показывает нам, что популизм может также принимать и форму движений, лишенных лидеров, в которых функцию объединения выполняет идеология⁶⁹. Однако одно из наиболее частых проявлений популизма (в его наиболее успешной форме) состоит в движении к единому представительному лидеру. Можно сказать, что поиск лидера — одна из наиболее специфичных характеристик популизма.

68. Weyland K. Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics // Comparative Politics. 2001. Vol. 34. P. 14.

69. Mudde C. Populism: Reflections on a Concept and Its Usage // Доклад, прочитанный в Принстонском университете 12 февраля 2012 г.; см. также: Lanni. Avanti popoli! P. 102–105.

Вертикализация власти вместе с политикой персонализации приводят к тому, что я предложила бы назвать (несколько провокативно) *моноархическим исправлением демократии*. Обращение популизма к народу часто ведет к цезаризму. Этот аргумент я попробую развить через критический анализ идей Лаклау, автора, разработавшего наиболее последовательную и интересную теорию популистской демократии. Лаклау утверждает, что популизм делает две демократические вещи: он поляризует общество, создавая два фронта столкновения, и благодаря поляризации осуществляет новое объединение народа (гегемоническая политика) вокруг вопросов, которые артикулирует большинство. Поляризацию я буду обсуждать в следующем разделе. В своих работах о перонизме Лаклау опирался на Антонио Грамши как левого автора, который откровеннее других попытался высвободить место для цезаризма, введя различие между прогрессивной и реакционной формами диктаторских решений. Здесь я хотела бы изучить некоторые специфические следствия из популистской идеологии, касающиеся позиции лидера.

Основываясь на идее политики как конституирования народа, Лаклау утверждает, что популизм и политика — это взаимозаменяемые термины, поскольку обозначают процесс создания политического нарратива, который позволяет осмыслить многие существующие в обществе ожидания и претензии, объединив их в одной гегемонической идеологии, которая выполняет функцию объяснения, но при этом еще и мобилизует народ, то есть описывает социальную реальность, но в то же время и предписывает цели⁷⁰. Мое возражение против такой интерпретации состоит в том, что, если говорить о популизме, из подобного проекта объединения следует то, что Лаклау своей теорией объяснить не может (не говоря уже о том, чтобы нейтралить

70. Размышления о цезаризме содержатся в восьмой главе его работы «On Populist Reason».

зовать или избежать), а именно цезаризм. Причина, по которой Лаклау предпочитает «классу» «популизм» в качестве стратегии объединения, состоит, видимо, в том, что он хочет дать этому нейтральному инструменту и проекту, которому он служит, название, апеллирующее к широкому спектру интересов⁷¹. Он делает с популизмом то же, что Грамши сделал с гегемонией, — превращает его в безоценочную категорию. Однако такая научная нейтральность достигается за счет ничем не обоснованной перекройки категории Грамши.

Лаклау опирается на предложенное Грамши понятие идеологии как объединяющего нарратива, служащего заданию коллективной идентичности. Однако Грамши вполне открыто говорил о рисках, присутствующих в политике гегемонии. Например, он полагал, что, если гегемоническая политика не будет завязана на партийную организацию с коллективным лидерством и не будет встроена в концепцию истории и социального прогресса, которая не оставляет интерпретаторам возможности превратить ее в риторическое средство убеждения, такую политику будет преследовать немалая опасность превращения в инструмент реакционного цезаризма, использующего популизм в качестве победоносного оружия. В своих «Заметках о Макиавелли», в которых он анализирует две формы цезаризма, прогрессивную и реакционную, Грамши пересмотрел классическое марксистское учение, согласно которому все формы правления фактически выступали диктатурой господствующего класса. Концепция цезаризма у Грамши оказывается интересным парафразом аристотелевского анализа возникновения демагогического лидерства в ситуации, в которой нарушено социальное равновесие.

Грамши дал новую интерпретацию Марксовой категории бонапартизма, дабы осмыслить прогрессивную

71. Этот аргумент выдвигает Славой Жижек: Žižek S. Against the Populist Temptation // Critical Inquiry. 2006. Vol. 32. P. 554.

функцию политики лидерства (в данном случае Цезаря и Наполеона I) в революционном сценарии. В ситуации общественного тупика или «катастрофического равновесия» (*equilibrio catastrofico*)⁷², подготавливающего революцию, цезаристский лидер мог сыграть прогрессивную роль, когда его победа *непреднамеренно* помогала победе прогрессивной силы, заключая с ней компромисс. По мысли Грамши, результатом мог быть выход из «катастрофического равновесия», открывающий политический сценарий, который мог бы помочь прогрессивной силе выполнить затем свою миссию⁷³. Как пронищательно отмечает Бенедетто Фонтана, метод Грамши является диадическим, он оформляется антиномией, противопоставляя, к примеру, гражданское общество политическому, согласие — принуждению, гегемонию — насильственной революции, а также власти диктатуры или принуждения⁷⁴. Следовательно, с точки зрения работ Грамши, цезаризм должен проявиться в революционной ситуации, а не в той, которую он определял как «позиционную войну», в которой нужен не цезаризм, а культурная гегемония, чтобы поддержать постепенные социально-политические изменения.

Было бы неправильно переносить размышления Грамши о цезаризме («повстанческой войне» или революции), которому не нужна политика гегемонии, поскольку социальная ситуация уже подготовила перемены, на ситуацию, в которой нужны постепенные

72. Gramsci A. Quaderni del carcere / V. Gerratana (ed.). Turin: Einaudi, 1975. P. 1604, 1618–1622.

73. Ibid. P. 1194–1195.

74. Fontana B. The Concept of Caesarism in Gramsci // Dictatorship in History and Theory. P. 177. О консервативной и радикальной интерпретации плебисцитарного или цезаристского лидера в эпоху Первой мировой войны см.: Mangoni L. Cesarismo, bonapartismo, fascismo // Studi storici. 1976. Vol. 3. P. 41–61; о рождении мифа цезаря или цезаризма в XIX веке см.: Baehr P. Caesar and the Fading of the Roman World: A Study in Republicanism and Caesarism. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher, 1998. P. 89–164.

или молекулярные изменения (то есть на «позиционную войну»): там, где уже работает политика гегемонии, цезаризм неуместен, и наоборот (хотя в кризисные моменты партийный лидер в парламентской системе может успешно создать значительную коалицию вокруг своей фигуры)⁷⁵. Однако Лаклау встраивает предложенную Грамши интерпретацию цезаризма в свой проект, заключающийся в доказательстве того, что популистский режим Перона был основан на консенсусе (гегемонии), а не собственно личной власти Перона. В этом случае, однако, гегемония служит совершенно иной цели, чем у Грамши: она позволяет отличить коррумпированный цезаризм от популистского, отнеся перонизм к последнему.

Сделать партию *коллективным Государем* — вот стратегия Грамши по подготовке постепенной работы гегемонического изменения (в ситуации «позиционной войны»), которая одновременно позволяла противодействовать *риску* персонализации (способному возникнуть в революционной ситуации). В самом деле, объединение народа посредством идеологии само по себе не было достаточным условием превращения гегемонической политики в прогрессивную или демократическую. Кроме того, важно было закрыть возможность превращения гегемонического проекта в инструмент, полезный плебисцитарному и цезаристскому лидерству. В действительности объединяющая политика гегемонии содержала в себе немалый риск концентрации власти, которого следовало избежать. Грамши полагал, что гражданское общество должно состоять из множества агрегаций во всех сферах, начиная с рабочего места и заканчивая культурой и обществом в целом. Он исходил из той посылки, что плюрализм важен *именно потому*, что гегемоническая политика по своим собственным качествам не особенно открыта для плюрализма; она со-

75. Gramsci. Quaderni. P. 1195.

стоит, по его мнению, в стратегии концентрации, единства и консенсуса⁷⁶.

Таким образом, теория гегемонии Грамши как таковая показывает, что у популизма есть внутренне обусловленное призвание — создать сильного лидера не только в ситуации индивидуального господства, как в классической диктатуре, но и в современном, можно сказать, веберянском обществе, состоящем из организованных корпораций и бюрократии; когда такой лидер создается, гегемонический проект утрачивает свой прогрессивный характер⁷⁷. Персонализация политики — *не случайность* для популизма, а, скорее, его предназначение. Грамши видел решение этой проблемы в самой идеологии, то есть в том, как она выстраивается и управляется. Его решение состояло в том, что надо избавить мир мнения от плюрализма, но не за счет цензуры идей и подавления свободы слова, а посредством достижения согласия народа с нарративом, скрепляемого философской позицией, которая должна проникнуть в умы людей и направлять их поведение. В таком случае и партийные лидеры, и обычные граждане разделяли бы эту общую этическую и политическую установку, которая должна оставаться неприступной для субъективных интерпретаций. Гегемонический проект в таком случае будет успешным в той мере, в какой он нейтрализует развитие поли-

76. Следовательно, в современном обществе в силу (социального и политического) плюрализма и политических «технических моментов», связанных с развитием социального государства, индивид, взявший на себя функции деспота, обязательно потерпел бы поражение. См.: Ibidem.

77. Даже в парламентских режимах бывали возможности появления цезаристского лидера, когда оказывалось совершенно необходимо преодолеть партийную раздробленность, например, в английском парламентаризме — при кабинете Рамсея Макдональда. Представительский лидер выступал у Грамши эквивалентом веберовского плебисцитарного лидера в парламенте (Ibid. P. 1194–1195, 1619–1622; см.: Fontana. The Concept. P. 180–182). К плебисцитарному лидеру в работах Вебера я вернусь в следующей главе.

тики личности. Следовательно, гегемонический проект Грамши должен был помешать любому отдельному лидеру добиться господства за счет манипуляции со значением идеологии и ее инструментального применения. Опираясь на имманентную (гегелевско-марксистскую) философию истории, которая наделялась способностью к самодвижению, Грамши считал возможным изгнать субъективные интерпретации из области формирования согласия. Его критика Сталина указывала как раз на этот риск персонализации, который так и не был устранен или нейтрализован. Сталин выступал примером лидера, которому удалось присвоить интерпретацию «учения современного Государя»⁷⁸. На другом конце спектра находился цезаризм Муссолини.

По Грамши, Муссолини представлял популистскую версию вырождения коллективного Государя (партии) в деспотический догматизм; его проект был не гегемоническим, а деспотическим⁷⁹. Фашистское движение было творением лично Муссолини; он разработал идеологию, которая полностью служила его проекту захвата власти, причем была создана совершенно произвольно, безо всякой философии истории, которая бы ее поддерживала. Этот популистский проект заключался в обращении различных народных требований и недовольства на либеральное правительство. А цель состояла в поляризации мнений за счет мобилизации большой массы людей против устоявшихся институтов и норм ради более подлинного представительства суверенного народа, каковую функцию выполнял сам Муссолини (Грамши не преминул отметить его любовь к Лебону)⁸⁰. Эту модель Грамши безоговорочно отвергал, но именно ее Лаклау фактически воскрешает, когда внедряет цезаризм в политику гегемонии, чтобы отстоять популизм

78. *Fontana*. The Concept. P. 184–185.

79. *Ibid*. P. 181, 191–192.

80. *Gramsci*. Quaderni. P. 1145–1146.

как наиболее радикальную альтернативу конституционной демократии и представительным институтам⁸¹.

Популизм — это призыв к концентрации голов и власти, воли и мнения, к преодолению диархии за счет стирания границы, благодаря которой народ и государство, мнение и воля были раздельными, хотя и связанными друг с другом. Эта концентрация достигается за счет превращения мнения в троянского коня, который захватывает государственную власть. Для этого нужен сильный лидер. Фактически воплощения политической власти в лидере невозможно избежать, когда представительство осуществляется в пустоте, без политических партий (или промежуточных органов) и когда процедурами манипулируют ради отождествления представительства с видимым коллективным сувереном. Отсюда уже очевидна природа демократии как формы политического участия, которая стремится к рассредоточению власти и отсутствию лидеров или их множественности. Граждане получают большее влияние, когда власть рассредоточена и ни у кого нет законного права представлять их в целом — таково золотое правило демократического процедурализма, которым пренебрегает популизм⁸².

81. Эту проблему отметил Жижек, показав переход от структурного аргумента к идеологическому созданию унификатора: для популистов (и Лаклау) «причина проблем в конечном счете это всегда не система как таковая, а захватчики, которые ее коррумпировали (финансовые манипуляторы, которые не обязательно являются капиталистами, и т. д.); то есть не фатальный изъян, вписанный в структуру как таковую, а элемент, который не играет свою роль в структуре как надо. Для марксиста же, напротив... патологическое (отклоняющееся от нормы поведение некоторых элементов) — это симптом нормального, показатель того, что не так в самой структуре, которой грозят „патологические“ всплески». См.: Žižek. *Against the Populist Temptation*. P. 555–556.

82. Таким образом, Лаклау критикует идею Лефора о развоплощении власти или вечно пустом пространстве, в котором все могут конкурировать и участвовать. Его критика весьма интерес-

Персонализация, фактор цезаризма сближает, а в некоторых случаях и делает почти неотличимыми популизм и плебисцитаризм, поскольку превращает народ в реагирующую массу последователей. Можно сказать, что в представительной демократии популистская политика способна вывести на *путь* к плебисцитарной демократии. Следовательно, хотя популизм берет свое начало в феномене массового недовольства и массового участия в политике, он является стратегической политикой трансформации элиты и создания авторитета. Как понял Грамши, это такой проект продвижения нового лидера (а иногда и создания самой его харизмы), который, однако, не способен защитить самого себя от этого лидера. Следовательно, популизм может приветствовать нового лидера, который использует идеологическую войну для достижения своей цели, которая, как мы уже увидели у Аристотеля, вряд ли совпадает с целью народа. В современной демократии такое бывает в силу стратегического применения массмедиа как орудий пропаганды. Причина, по которой популизм возникает в демократии, состоит в той роли, которую мнения и их формирование играют при этом режиме.

На критическое замечание, утверждающее, что популизм склонен создавать цезаризм или диктаторское руководство, Лаклау отвечает тем, что, хотя популистская политика может принимать персонализированные формы и порой отождествляется с именем лидера (например, Муссолини, Перона или Чавеса), популистской она является вовсе не из-за персонализации. Главным признаком является, напротив, тот тип мышления, ко-

на, поскольку нацелена на неспособность Лефора объяснить «производство» пустоты, которое, по Лаклау, является революционным моментом или «действием гегемонической логики». *Laclau. On Populist Reason*. P. 166. Место «высшего судьи», писал Лефор, в современной демократии не принадлежит никому и всегда остается «неопределенным». *Lefort. Democracy and Political Theory*. P. 41.

торый она приводит в движение «посредством таких ди-хотомий, как противопоставление народа и олигархии, трудящихся масс и эксплуататоров, и т.д.»⁸³. В таком случае популизм становится не просто «политическим действием», а демократическим типом политическо-го действия, которое выводит рабочий класс, бедняков, обычных людей в центр форума. Популизм, следова-тельно, отождествляется с политикой, причем с более эгалитарной или демократической политикой. Однако если бы такое отождествление было верным, популизм просто потерял бы свою специфику. Лаклау делает вы-вод: если персонализация и происходит, не это опреде-ляет популистскую политику; отождествление движения с определенным лидером — это средство, которое может пригодиться популистской политике, если надо успеш-но провести поляризацию, но не оно характеризует эту политику. Проблема этого аргумента в том, что кор-ректировка персонализации поляризацией не помогает отождествить популизм с демократической политикой.

Поляризация, упрощение, аккламация

Поляризация — это основная характеристика попу-листской политики. Как и в случае цезаризма, идеи Лаклау по этому вопросу также наиболее интересны и проблематичны, поскольку в наибольшей степени ориентированы на теорию. Лаклау связывает поляри-зацию с защитой популизма, нацеленной на опроверже-ние традиционного аргумента, который отождествляет популизм с демократией, дабы доказать, что оба они яв-ляются выражением внутренне присущей массам ирра-циональности. В предшествующей главе я объяснила, какой ответ дает эпистемическая теория на это возра-жение. Направление популистского ответа прямо про-

83. *Laclau. On Populist Reason. P. 18.*

тивоположно эпистемическому. Лаклау утверждает, что отождествление демократии с популизмом и в самом деле верно, являясь, по сути, политикой в ее лучшем смысле. Однако мы должны «перевернуть» нашу аналитическую позицию, и вместо того, чтобы начинать с такого взгляда на рациональность, который исключает коллективные формы мобилизации и закрепляет экономическое или техническое рассуждение в качестве шаблона для политики, принять с самого начала популизм в качестве «особой, постоянной возможности структуры политической жизни»; именно это делает его рациональной политикой⁸⁴.

Интерпретацию Лаклау можно парафразировать следующим образом: вместо того чтобы относиться к популизму как аномалии, как к отклонению от нормы рационального поведения, мы должны рассмотреть его в качестве нормы политического действия, которая не имеет ничего общего с индивидуальной моделью поведения; политика, как и популизм, является коллективной областью, в которой обнаруживается особый тип рациональности, риторический по своему характеру и инструментальный, однако при этом он не согласуется с экономическим представлением, которое можно обнаружить в агрегационной теории демократии. Вместо того чтобы начинать с единичных предпочтений, а потом переходить к агрегации, мы должны, как Жорж Сорель и Карл Шмитт, начать с идеологической природы политического дискурса, который состоит из лингвистических стратегий, опирающихся на мифы и символы, а не на подсчет издержек и прибылей. Риторическая рациональность действует в соответствии с дихотомическими и оппозиционными стратегиями («мы против них»), язык которых — язык не предпочтений или линейной агрегации интересов, а идентификации, и его цель является политической по самому ее существу, ведь она состоит в до-

84. Ibid. P. 13.

стижении общего консенсуса, необходимого для перестройки значения всего общества в целом. Политика использует разум для мобилизации страстей, да и просто создает их искусственно посредством мифов и воображения. Политика—это функционирование режима и создание власти посредством идей, то есть идеологический труд в его высшем выражении, как гегемония.

У Лаклау есть все основания высмеивать критику популизма, предложенную теорией социального выбора, опирающуюся на предположение, будто голосование как метод агрегации предпочтений доказывает неустранимую иррациональность демократии, которую не может исправить обращение к общему интересу, поскольку подсчет голосов не позволяет нам определить какую-либо рациональную или общую волю. Голосование не устраняет произвола, присущего демократии; оно превосходит другие методы просто потому, что позволяет достичь мира в обществе. Как указывает Кэнован, оспаривая выдвинутую Уильямом Райкером критику популистской демократии, «если Райкер ожидал, что, стоит препарировать „популистскую демократию“, и она умрет, не стоило и трудиться», поскольку идея суверенитета народа и идея народной воли по-прежнему сохраняют за собой «неоспоримую» власть в теории демократии, независимо от популистской формы и за ее пределами⁸⁵. Тот факт, что популизм «несовместим с теорией социального выбора», не имеет никакого значения для успеха популизма⁸⁶; кроме того, это неудачный аргумент против отождествления демократии с популизмом⁸⁷. К тому же рациональный вы-

85. *Canovan*. Taking Politics to the People. P. 35.

86. *Riker W.H.* Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice. San Francisco: Freeman Press, 1982. P. XVIII.

87. Прекрасную критику отождествления Райкером демократии с популизмом (эту позицию он вывел из Парето и Бернема) как стратегии, поддерживающей «плебисцитарную» установ-

бор — не единственный способ интерпретации выборов и голосования, как и не единственный язык теории демократии. И отказ от такой интерпретации не требует того, чтобы мы обратились к популистской идеологии и отвергли процедурную интерпретацию демократии.

Выступая против предложенной теорией социального выбора интерпретации голосования, Лаклау как раз утверждает, что популизм — это радикально новое толкование конкуренции на выборах, поскольку он представляет общество в качестве поля боя, четко поделенного на два фронта, столкновения на которых должны привести к подлинной победе большинства. Популизм использует демократические институты и процедуры, в основном, как средства получения, а не ограничения власти; то есть он лишает их какого бы то ни было нормативного значения. Это причина, по которой политический конфликт и партийная конкуренция в выборной демократии перестают играть роль подушки безопасности, когда используются популистскими стратегиями. Следовательно, поляризация — это процесс, который объединяет народ и выхолащивает плюрализм, дабы наделить его четкой антагонистической структурой, согласованной с избирательной структурой современной демократии. Однако конфронтационность популизма в электоральной борьбе — условие не плюрализма, а концентрации или объединения составляющих сторон, выглядящих как гранитные твердыни. Повторим: поляризация представляется в большей степени отрицанием, а не проявлением плюрализма.

Следовательно, поскольку популистская политика презирует косвенность, наиболее подходящим ей методом выбора является утверждение лидера в должности, а не выборы. А языком ее выражения в большей мере выступает аккламация, а не дискуссия. Популистский

ку, когда элита «льстит» народу, который просто выбирает ее, см. в: *Mackie G. Democracy Defended*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 418–431.

лидер, собственно говоря, не выбирается, а провозглашается, как я буду объяснять в следующей главе. Так, Шмитт весьма убедительно писал, что «воля народа» выявляется только посредством голосования, поскольку «все зависит от того, как эта воля образуется». Однако он тут же добавил, что «воля народа может выражаться точно так же и даже, возможно, лучше посредством аккламации, некоего самоочевидного выражения, явного и бесспорного присутствия, а не посредством статистического аппарата» подсчета голосов⁸⁸.

Таким образом, еще один ключевой аспект, подчеркивающий некоторые противоречия между демократией и популизмом, — это значение, которое каждый из них придает институтам и нормам, выражающим «волю народа». Согласно популистской демократии, у этих институтов и норм, по существу, есть только инструментальное значение. Именно народ напрямую — то есть его большинство — легитимирует их безо всякого опосредования, реальной волей людей, нашедшей выражение. «Против воли народа, — писал Шмитт, — у института, основанного на обсуждении независимыми представителями, не может найтись никакого автономного оправдания его существования». Популизм отрицает автономию политических институтов, особенно их законодательной ветви. Можно сказать, что он нацелен на действительное слияние уровня суверенитета с уровнем правительства, то есть «воли» и исполняющей ее «силы», если парафразировать различие, введенное Руссо.

Народ

Народ относится к числу политических категорий, которыми, видимо, злоупотребляют чаще, чем другими. Сам термин «народ» (*people*) происходит из латы-

88. *Schmitt. Crisis of Parliamentary Democracy*. P. 16–17.

ни. В римской традиции *populus* обладал значением противоположности/отличия от другой группы римлян, которая не была *populus*, хотя и разделяла с ним суверенную власть в республике, то есть аристократов или патрициев, а также Сената как их политического органа и места. С самого начала у термина «народ» была коллективная коннотация в противоположность простой агрегации индивидов. Это было целое, которое существовало, будучи противоположным другой органической, но меньшей группе, которую составляли те, кто были нерядовыми людьми⁸⁹. Именно из-за его антагонистического характера и тенденции к исключению французские делегаты третьего сословия, которые после 14 июля 1789 года должны были решить, как назвать свое Собрание, приняли решение не использовать прилагательное «народный» и взять вместо него термин «национальный».

На собрании 15 июня Туре выступил с критикой Мирабо (предложившего прилагательное «народный»), утверждая, что использование этого термина породит два в равной мере проблематических следствия — отождествит народ с *плебсом*, чем предполагалось бы наличие более высоких сословий, и отождествит народ с *populus*, чем предполагался бы политический актер, коллективный в своем суверенном значении и противопоставленный другому актору. Решение в обоих случаях было бы неправомерным: в первом оно влекло бы нарушение равенства, а во втором — разделение суверенитета на две корпоративные части, и такое решение предполагало бы смешанную форму правления⁹⁰. На основе

89. Sartori. Theory of Democracy Revisited. Part 1. P. 21–23.

90. Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil Complet des Debats Legislatifs et Politiques des Chambres Françaises imprimé par ordre de l'Assemblée Nationale sous la direction de M. Mavidal et de MM. E. Laurent et E. Clavel. Première Série (1787 à 1799 Tome VIII, du 5 Mai 1789 au 15 Septembre 1789. Paris: Librairie administrative de Paul Dupont, 1875. P. 118.

этих посылок Туре убедил Собрание принять прилагательное «национальный», а не «народный»⁹¹. Инкорпорация народа в суверенитет современного государства и его отождествление с нацией были завершены в XIX веке вместе с появлением политических движений национального самоопределения⁹². «Нация, — писал Джузеппе Мадзини в 1835 г., — означает равенство и демократию». Только при этом условии она является «общностью мысли и судьбы». Если использовать термины Руссо, Мадзини полагал, что «без общего и единообразного закона» существовал бы не народ, а касты и привилегии, неравенство и подавление; в лучшем случае «множество» обладателей разных интересов, связанных друг с другом удобством⁹³. Следовательно, нация требовала равного веса каждого при голосовании и солидарности всех в распределении издержек и прибылей.

Если следовать ценному указанию Туре, именно латинский корень слова «народ» и, соответственно, его одновременно и единичные, и коллективные качества (*singular-collective character*), является источником двусмысленности, породившей популистскую идеологию. В большинстве европейских языков, за исключением английского, термины *popolo*, *peuple* и *Volk* обозначают органическую коллективную сущность, единое тело с коллективным именем и значением, которое обладает единой волей и не разделяется на отдельные элементы.

91. Обзор различных значений термина «народ» см. в: *Sartori. Democratic Theory Revisited. Part 1. P. 21–28.*

92. «Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются». *Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 31.*

93. *Mazzini G. Nationalité. Quelques idées sur une Constitution Nationale // Scritti editi e inediti, 100 vols. Imola: Cooperativa Galeati, 1906–1943. Vol. 6. P. 125.* Перевод этого эссе был опубликован в: *Giuseppe Mazzini on Nation Building, Democracy, and Intervention / S. Recchia, N. Urbinati (eds.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.*

Руссо (с которым ошибочно связывали появление тоталитарной демократии) предвидел риск трактовки «всех в целом» как одного плебисцитарного голоса. Описывая народное собрание в качестве единственного легитимного суверена, Руссо специально пояснил, что граждане должны приходить на собрание каждый по отдельности, и будет лучше, если они станут голосовать в молчании, рассуждая каждый самостоятельно и не прислушиваясь к оратору (что, собственно, мы и делаем, когда идем в кабину для голосования). Следовательно, будет правильным назвать собрание, как оно мыслилось Руссо, демократическим не только потому, что оно включает всех граждан как равных, но и потому, что опирается на каждого из них, покуда они рассуждают, а затем голосуют индивидуально и отдельно друг от друга. Индивидуалистический аспект является тут ключевым, и именно это условие позволяет коллективному народу быть составным единством, а не органическим целым. В этом пункте народ процедурной демократии и народ популистской демократии расходятся друг с другом (и это причина, по которой Руссо нельзя считать прародителем ни тоталитаризма, ни популизма). Как указал Туре, и принцип равенства, и принцип единого источника суверенитета говорят против современного применения римского понятия народа.

Очевидно, то, как получают согласие и как подсчитывают голоса, наиболее важно для устранения двусмысленности термина «народ». Действительно, хотя в некоторых европейских языках этот термин может использоваться в качестве «единично-коллективного» имени существительного, правила игры и процедуры голосования отвечают за то, чтобы сделать его множественным, составным и даже конфликтным. Популистская идеология стремится стереть этот плюралистический аспект и превратить народ в толпу с одним голосом, лидером и мнением. По этой причине такая идеология выступает против демократического процедурализма. Этот взгляд напрямую соотносится с тем, как коллектив принимает

решения; по сути, он искажает характеристики собрания в демократическом государстве. Например, Афины в эпоху до Перикла нельзя с полным правом считать демократией, несмотря на то, что на собраниях этого полиса имели право присутствовать все мужчины. То же самое можно сказать о собраниях на Пьяцца Венеция в Риме в 1920–1930 годах. Объясняется это отчетливым пониманием того, что демократию определяет не просто присутствие народа *en masse*.

До того как голосование стало отдельным индивидуальным правом, то есть до Перикла, народ в Афинах собирали, чтобы послушать речи важных лидеров, однако сами собравшиеся в качестве отдельных граждан не имели права голоса. Они могли, конечно, действовать, и заявить о своем присутствии, но лишь в качестве неразличенного единства; «они выражали свои чувства лишь коллективно, голосованием и в основном криками»⁹⁴. Индивидуальное выражение было привилегией меньшинства, а не большинства. Действительно, афинская демократизация совпала с распространением этой привилегии на всех граждан и особенно с установлением *равенства слова (isegoria)*, благодаря которому люди неблагородного происхождения (а также плохие люди, грубые или невежды) были уравнены со знатью в праве говорить и голосовать на собрании. Следовательно, в своей «Надгробной речи» Перикл назвал Афины «демократией», поскольку правление было «не для немногих, а для многих», а также потому, что каждый гражданин по отдельности имел то же право, что и все остальные, на высказывание на собрании и рассмотрение своего дела в суде⁹⁵.

94. Raaflaub K. A. Equalities and Inequalities in Athenian Democracy // *Demokratia* / J. Ober, C. Hedrick (eds.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 147; Meier C. Athens: A Portrait of the City in Its Golden Age / Robert and Rite Kimber (trans.). London: Murray, 1999. P. 162–188.

95. *Thucydides*. History of the Peloponnesian War. 2.37.1.

Соответственно, можно сказать, что главное политическое качество — это не столько коллективное привлечение народа, сколько привлечение его в качестве индивидуумов, обладающих *равной политической свободой*. В конце концов, именно в этом заключалось основное различие между Спартой и Афинами. Спартанское собрание было дисциплинированной массой не отличающихся друг от друга членов, для которых были характерны одновременно отсутствие свободы слова и практика равенства как единообразия: его члены были *homoioi*, а не *isoi*, то есть они были подобны друг другу, но по-настоящему не равны, если рассматривать их *uti singuli* (как отдельные лица)⁹⁶. В Афинах действительно использовался эгалитарный принцип «один гражданин — один голос», количество поднятых рук считалось или «оценивалось», тогда как в Спарте метод «открытого голосования криками неявно отрицал этот принцип, а потому такое голосование было полной противоположностью афинского процесса выбора решения»⁹⁷. Спартанцы голосовали путем аккламации и должны были либо одобрять, либо не одобрять, но не формулировать свое согласие или несогласие. «Людей собирали на открытом воздухе, и никому из них не позволялось высказывать свои советы, лишь утверждать или отвергать то, что должно было выноситься на утверждение царем или сенатом»⁹⁸.

И в античное, и в Новое время победа политической демократии совпадала с завоеванием индивидуальных избирательных прав, что согласуется с ключевой идеей: демократия означает не массовую мобилизацию или массовую организацию, а равную свободу выражения каждого индивидуально, а не всей совокупности.

96. Raaflaub. Equalities and Inequalities. P. 153.

97. Cartledge P. Comparatively Equal // Demokratia. P. 180.

98. Plutarch. Lycurgus // Life of the Noble Grecians and Romans / J. Dryden (trans.). New York: Modern Library, 1992. P. 54.

Несомненно, демократическая политика означает также коллективное действие, но и в этом случае коллективность предполагает действительное сотрудничество индивидов в общем проекте. Эту мысль точно выразил Джон Дьюи, когда в 1939 году определил демократию как «*личный стиль индивидуальной жизни*» в мыслях и поступках, в частной и политической жизни⁹⁹. В определении демократии всегда учитывается одновременно равенство и возможность индивидуального выражения или свобода; по этой причине уже древние считали именно Афины, а не Спарту демократией. «Все граждане, — писал Аристотель, — должны пользоваться равными правами»¹⁰⁰, а это означает, что именно «права» гражданина, а не масс, помогают определить демократию. Как я постоянно доказываю в этой книге, демократия — это ее процедуры. Считать последние средством для чего-то — будь то поиск истины или объединение народа вокруг гегемонического лидера — значит предавать демократию, а не почитать ее.

Следовательно, крайне важно уделять внимание значению и характеристикам коллектива. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, когда говорили об антипатии римской республиканской традиции к собраниям, занятым обсуждениями и риторикой, проявление там социальных конфликтов традиционно выступало основной причиной недоверия к демократии. Джеймс Харрингтон признавал обсуждение и индивидуальную свободу выражения только в Сенате, где собирались мудрейшие¹⁰¹, тогда как Руссо, в схеме которого было только одно собрание, считал, что оно должно быть достаточ-

99. *Dewey J. Creative Democracy — The Task Before Us // The Later Works, 1925–1953, Vol. 14, 1939–1941 / J. A. Boydston (ed.). Chicago: Southern Illinois University Press, 1988. P. 226.*

100. *Аристотель. Политика, 1317b5–10. // Т. 4. С. 571.*

101. *Harrington J. The Commonwealth of Oceana // The Political Writings of James Harrington / C. Blitzer (ed. with an intro.). Westport, CT: Greenwood Press, 1980. P. 141.*

но тихим местом. Именно потому, что целью собрания должно быть единодушие — или хотя бы единодушие максимального большинства, — Руссо связывал наличие немногих хороших законов с простым языком и простой нравов: чем менее искушены люди, тем менее склонны они к риторическим дискуссиям и спорам: «Общее благо предстает повсеместно с полной очевидностью, и, чтобы понять, в чем оно, нужен лишь здравый смысл. Мир, единение, равенство — враги всяких политических ухищрений. Людей прямых и простых трудно обмануть именно потому»¹⁰². Когда предлагается новый закон, если он справедлив, то нет нужды в обсуждении, поскольку он выражает то, что «все уже чувствуют, и не требуется ни происков, ни красноречия, чтобы стало законом то, что каждый уже решил сделать». Как заключает Руссо, здоровье республики пропорционально отсутствию споров, то есть молчанию собрания. «Но долгие споры, разногласия, шумные перебранки говорят о преобладании частных интересов и об упадке Государства»¹⁰³.

Как мы уже сказали, крайне неточно, если не абсурдно, относить Руссо (не говоря уже о Харрингтоне) к отцам-основателям популизма. Руссо не стирает индивидуальные различия граждан, не сплавляет их в анонимную совокупность собрания, — уже хотя бы потому, что, как мы указывали, по его мысли, граждане должны приходить на собрание по одиночке и составлять свое мнение независимо друг от друга. Именно определение общей воли как бесспорной истины гарантирует правильный результат конечного обсуждения. Разум,

102. Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре // Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 228.

103. Там же. С. 230. Соответственно, Руссо предпочитал язык музыки языку театра и риторики, поскольку первый способен направить внимание вглубь разума, от вымышленного мира представления и театрального действия. См.: *Dugan, Strong. Music, Politics, Theater, and Representation in Rousseau*. P. 342–344.

а не демагог — вот что объединяет граждан. Кроме того, политическую автономию образует именно подчинение публичному разуму; подчиниться воле демагога — значило бы для народа стать рабом. Следовательно, именно разум (который говорит через институты и процедуры) защищает республику Руссо от популизма, а не сами по себе характеристики ее собрания. По этой причине, хотя решения принимаются по правилу большинства, общий критерий, которым обосновывается этот метод, — это единогласие.

Но ясно, что собрание индивидов, которые не взаимодействуют друг с другом, не более демократично, чем собрание, мнения участников которого ничем не отличаются друг от друга, по крайней мере если под демократией мы понимаем *также и* обсуждение, разногласия и противостояние, одним словом, плюрализм, а не единогласие. Руссо, в основном, занимался одной из двух властей, составляющих суверенитет (волей), и по этой причине его анализа политических институтов недостаточно для описания демократии. Основываясь на этой точке зрения, я описываю эпистемическую и популистскую демократии как отражения друг друга, а не как альтернативные взгляды на демократию. Действительно, альтернативой им обеим является тот взгляд, согласно которому демократию следует рассматривать и с точки зрения победителя (большинства), и с точки зрения побежденного (политического меньшинства)¹⁰⁴. От популизма (как крайнего выражения мажоритаризма) ее отличает то, что популизм всегда косит в одну сторону. Следовательно, его можно согласовать с демократическим принципом суверенитета, только когда демократия перестает основываться на принципе *равенства прав*. Следовательно, если мы не хотим отказаться от такого понятия демократии, которое включает ограничение власти, билль о пра-

104. *Kelsen. General Theory of Law and State. P. 287–288.*

вах, дискуссию как особую форму политической жизни, мы вынуждены прийти к выводу, что популизм не является выражением демократии.

Разумно и важно сказать, что демократия предполагает не только и не просто конституциональную рамку вместе с правилами игры. Действительно, если мы всерьез относимся к этому тезису, значит демократию нельзя ограничивать исключительно борьбой за политическую власть, в противоположность тому, что делает популизм. Демократия — это также и требование распространить ценности равенства и негосподства на те области социальной жизни, где эти ценности все еще не работают. Другими словами, проект демократизации должен направляться за пределы сферы политической власти, к гражданскому обществу в целом¹⁰⁵. Однако такой проект вовсе не отвергает процедурную природу демократии. Все как раз наоборот, поскольку, когда мы критикуем отношения господства в наших социальных отношениях, мы требуем, чтобы наши голоса были услышаны, а наша воля — учтена, и, кроме того, чтобы среда, в которой мы действуем, была устроена в соответствии с процедурами, которые мы можем отследить и проверить. Везде и всякий раз, где и когда мы требуем соблюдения определенных условий и правил, полагающих нас в качестве морально автономных существ, которые свободны и равны в уважении и возможностях, мы требуем демократии.

Внимание к процедурам не означает, что наличное распределение власти не должно критиковаться и ставиться под вопрос. Но оно, и это более логичный вы-

105. Именно в связи с этим Касториадис выступал, ссылаясь на Афины и демократию в целом, за различие между понятием «политики» и понятием «политического». Действительно, «демократическое движение не ограничивается борьбой вокруг власти в ее [власти] явной форме, в потенции оно нацелено на общее переустройство общества». См.: *Castoriadis C. Power, Politics, Autonomy // Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1991. P. 159.

вод, означает, что господство — это не только политический феномен, политическая сфера — не единственная его ниша, наконец, демократия, включающая в себя либеральные ограничения, может стать инструментом реализации более широкого проекта демократизации. Ни в коей мере не являясь признаками слабости, такие ограничения легитимируют демократическое государство, позволяя ему развивать более последовательную политику демократизации, пока они удерживают это государство под своим контролем. Однако в руках популистской демократии та же самая политика на самом деле может стать опасной стратегией социальной инкорпорации и гомогенности. Таким образом, «гарантированная» и институционализированная демократия допускает более широкий спектр политических ресурсов и инициатив, чем популизм. Последний, похоже, не способен решить дилемму: «или быть миноритарным, или стать деспотическим». При популистском режиме быть в меньшинстве небезопасно, и это уже достаточная причина не доверять ему.

Populus и плебс

Вернемся теперь к мысли Туре относительно несовместимости *populus*'а и плебса с народом граждан-избирателей. В популистском воображении народ рисуется политическим актором, который утверждает свою суверенную власть, пребывая в постоянном состоянии мобилизации. Этого он достигает за счет усиления идеологической поляризации. Как я говорила, его главная схема — это дуализм косвенной и прямой политики, который опирается на такое значение «народа», которое на самом деле не относится к демократической традиции. В этом разделе я попытаюсь объяснить значение народа в популизме, соотнося его с опытом, отличным от демократии, а именно с республиканизмом.

Лаклау и сам весьма кстати напоминает нам о том, что генеалогию популизма следует искать в римской традиции. Он также проясняет, что «народ» как политическая категория стремится к возвращению *populus*'а, однако именно *populus*'а римского форума, а не собраний избирателей. «Чтобы получить „народ“ популизма, нам надо нечто большее, нам нужен *плебс*, который претендует на то, чтобы быть единственным легитимным *populus*, то есть нужна частность, которая функционирует в качестве тотальности всего сообщества»¹⁰⁶. Следовательно, популизм и поляризация сливаются — в виде постоянных конфликтов двух сторон полиса, питающих его энергией. «Причины этого ясны: политические идентичности являются результатом артикуляции (то есть столкновения) противоположных логик эквивалентности и различия, и если баланс двух этих логик нарушен одним из двух полюсов, который переходит порог и берет верх над другим, этого уже достаточно, чтобы народ как политический актор распался»¹⁰⁷. Этим тезисом постулируется то, что ни один из двух полюсов не должен превалировать, что борьба должна идти без конца: именно благодаря этому, по Лаклау, популизм, демократия и политическое действие — это все одно и то же. Превалирование одного из двух полюсов (например, в случае противостояния Робеспьера и жирондистов или Муссолини и либералов с коммунистами) должно повлечь прерывание поляризации и демократии.

Популизм — это стремление к тотализующему единству общества, однако, когда таковое не достигается, он представляет собой, как утверждает Лаклау, перманентный антагонизм. Он не может завершиться тем, что одна партия займет общество и объявит, что все социальные слои объединены ее взглядом на общество.

106. Laclau. On Populist Reason. P. 81.

107. Ibid. P. 200.

В этом он не совпадает с национализмом¹⁰⁸. Популизм у Лаклау можно было бы описать в качестве коллективного суверена в перманентном *status nascendi* (состоянии зарождения) — эта перманентная мобилизация является наиболее радикальным противоядием от кристаллизации политики в институтах и, возможно, наиболее сильной гарантией того, что популизм не подорвет демократии. Таким образом, если продлить эту параллель с Римом, можно сказать так: чтобы популистская политика существовала и сохранялась, плебс никогда не должна стать *populus*. Несмотря на свою этимологию, термин «популизм» обозначает только народ на форуме, но не народ суверенных собраний, на которых принимались решения. Процесс, благодаря которому плебс начинает осознавать свою способность оформлять общество в его целостности, происходит за пределами институционализированного пространства республики. Насколько отличались «народ» на форуме и «народ» в собраниях избирателей или комициях (*comitia*)?¹⁰⁹

Populus на форуме играл роль чуткого собеседника политических лидеров, которые выступали перед собравшейся группой людей, чтобы найти идеологическую поддержку для своих планов по завоеванию власти. То есть это не был народ в его функции избирателя и не граждане, которые собирались, чтобы высказаться посредством избирательных процедур. *Populus* на форуме состоял из свободно собравшихся многих, которые действовали за пределами институтов и чьи действия не регулировались процедурами, то есть людей, которые проводили большую часть дня на форуме, чтобы попристутствовать на представлении, устраиваемом по-

108. Приводимый Лаклау пример непопулистской политики — это Ататюрк, который не только пытался, но и действительно смог упразднить все группировки и классы в турецком обществе, чтобы построить турецкую нацию (Ibid. P. 209).

109. См.: Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford: Oxford University Press, 2004. Chap. 5.

литическими кандидатами и риторам. Это был не народ в его способности к принятию решений, а народ, который своими криками подбадривал или осмеивал тех, кто боролся за политические должности или пытались привлечь народ к своим программам. Противоположностью этого народного собрания выступал Сенат, здание которого располагалось в конце форума: в отличие от людей на форуме, Сенат был структурирован как открытая для наблюдений организация на открытом для наблюдения месте, а его члены не смешивались с плебсом. Как я сказала, народ и Сенат были двумя компонентами республики. То, что их можно было видеть, являлось существенным качеством политической жизни римского государства, которое признавало не индивидов или *isotes*, а граждан в рамках двух заранее выделенных групп, составлявших республику, то есть когда они действовали в качестве суверенных органов. Эта дуалистическая парадигма на протяжении веков выступала главным качеством и римского политического стиля, и республиканизма: не-институционализированный народ *en masse* (в целом, в массе) в противовес институционализированным должностным лицам; организованное меньшинство в противовес толпе большинства; включение в поляризованные институциональные сферы в противовес равному включению всех и равным возможностям участия в процессе принятия политических решений или конкуренции за политические должности.

Я буду анализировать власть толпы и различия между народом на *форуме* и народом в комициях в следующей главе, где сосредоточусь на плебисците зрителей в современной демократии. Здесь же я подчеркну другой момент римской истории, который напрямую связан с цезаризмом и поляризацией.

Как указывалось в предыдущем разделе, популизм и демократия не так близки и не так уж совпадают друг с другом, как хотелось бы популистам, причем и в том случае, когда демократия выступает в своей прямой форме. Это различие я проиллюстрировала характе-

ром голосования, показав, что демократическое избирательное право исходит из центральной роли отдельного гражданина, который является истинным суверенным актором. На этом противопоставлении основана враждебность популизма и к политике прав, и к плюрализму. Антииндивидуалистические корни популизма позволяют объяснить и его неприятие политического равенства как гражданского статуса, отделенного от статуса социально-экономического. Это же отличает поляризацию от политического плюрализма. Маккормик, важный для современного возрождения популизма автор, вполне открыто (и верно) утверждает, что популизм — это в большей мере часть республиканской традиции, а не демократической, а потому он требует единства народа не в абстрактных правовых терминах, а как граждан, сгруппированных в социально-экономические кластеры в силу своего благосостояния, социального статуса и политической власти. Маккормик соглашается с Лаклау в том, что институты нужны для защиты слабого класса от притеснений со стороны элиты, и на этом основании критикует демократический процедурализм. Этот аргумент, в котором смешаны нормативный и дескриптивный уровни, опирается на выдвинутую Бернардом Маненом теорию представительного правления как скрещения олигархии и демократии, теорию, которая основана не на представительстве, а на электоральном отборе, который Манен считает нарушением политического равенства, поскольку некоторые будут только править (выступая в качестве полноценных суверенных акторов), тогда как подавляющее большинство — лишь соглашаться и оценивать. В таком случае представительное правление воспроизводит античную Римскую республику с Сенатом, выдвигающим предложения и руководящим всей сценой, и *populus*'ом, обсуждающим (на форуме), голосующим и одобряющим законы путем плебисцита (в *comitia*).

Неслучайно Манен возвращается к республиканской идее смешанного правления, которая предпола-

гает не просто конституционный механизм разделения властей (вроде «смешанного устройства» [государства]), но и два варианта процедур для двух разных групп граждан в управлении политическими институтами. Политическое равенство, если следовать предложенной Маненом интерпретации выборов, безоговорочно нарушается, поскольку последние в современном обществе воспроизводят разделение *populus/senatus*, присущее Римской республике. К этой интерпретации, опирающейся на «Учение о конституции» Шмитта, мы как раз и должны обратиться, если желаем найти оправдание большей части недавно появившихся работ по популистской и плебисцитарной демократии. Эта идея будет развиваться в следующей главе.

Заключение

Эту главу я начала с аргумента о неожиданном сходстве между популистской и эпистемической версиями демократии, поскольку обе они оспаривают диархический характер представительной демократии и, кроме того, относятся к демократическим процедурам как средству, служащему более высокой ценности, внешней по отношению к самому процедурному упорядочению мнений и формированию воли. Я также сделала несколько ссылок на исторический контекст и отнесла истоки популизма к эпохе демократизации. Если его античные и концептуальные источники можно найти в Римской республике, то его современные источники — в антилиберальной реакции на парламентскую и партийную политику, которая начиная с Французской революции периодически дает о себе знать, выступая против институционализации народного суверенитета посредством политического представительства, основанного на согласии избирателей и открытом форуме мнений, которые выступают двумя областями, основанными на индивидуалистическом фундаменте политического права.

Хотя популизм претендует на поддержание антагонистической демократии, он не доверяет плюрализму конфликтующих интересов, считая его спектаклем сутяжнических претензий, который он намеревается преодолеть, создав поляризованный сценарий, который упрощает социальные силы, дабы дать народу шанс встать на правильную сторону. Однако упрощение и поляризация порождают не более народное и более непосредственное участие в политике, а, напротив, вертикализацию политического согласия, которая открывает путь к более тесному объединению масс под сенью органического нарратива и воплощающего его харизматического лидера. Таким образом, я пришла к выводу, что, если популизму удастся взять власть в демократическом государстве, он может радикально изменить его облик и даже подтолкнуть к изменению режима.

Плебисцит зрителей и политика пассивности

КОГДА призыв к народу сочетается с массовым обществом и массмедийной коммуникацией, он может упростить плебисцитарную трансформацию демократии: «Плебисцитаризм обещает восстановить понятие Народа в качестве полновесного понятия коллективной идентичности, подходящего для современной политической жизни», причем именно за счет того, что в своих коллективных способностях народ должен стать «массовым зрителем [деятельности] политических элит»¹. Однако когда лидеры обращаются непосредственно к народу, они радикализируют вопросы и затрудняют переговоры между партиями; в результате политика становится плодородной почвой для активизма лидеров, который, однако, не предполагает народного активизма². «Впрочем, когда репрезентация через парламент исчезает и уже не пользуется доверием, тогда плебисцитарный процесс имеет наибольшую силу»³,

1. *Green*. The Eyes of the People. P. 27–28.

2. По этому вопросу см. старое, но все еще актуальное исследование: *Kernell S. Going Public: New Strategies of Presidential Leadership*. Washington, DC: CQ Press, 1986. Chap. 1.

3. *Шмитт К.* Легальность и легитимность // Государство: Право и политика. М.: Территория будущего, 2013. С. 276. Это подтверждается словами Бонапарта, которыми он прокомментировал плебисцит 1802 года, когда стал пожизненным консулом: «Плебисцит был полезен потому, что легализовал продление моего срока на посту, подведя под него наиболее мощное основание». Цит. по: *Woloch*. From Consulate to Empire. P. 33.

а демократия может стать требованием легитимации, обеспечиваемой зрителями, то есть в обход правовых институтов⁴. Миф о единогласии или единстве более глубоким, чем получаемое арифметическим сложением голосов, наделяет плебисцитарную политику аурой демократии более сильной и подлинной⁵.

Быть *на глазах у народа* — вот плебисцитарная позиция, которая популярностью пытается заменить подотчетность, зависящую от процедур и институтов, наделяя при этом публичную сферу новым значением и формой, поскольку публика теперь играет, в основном, эстетическую, театральную функцию. Как пишет Джеффри Эдвард Грин, представляя свою теорию плебисцитарной демократии как приложение того восхваления политической жизни, которое мы находим у Ханны Арендт, этот взгляд на демократию отказывается от «автоматического, повторяющегося природного процесса» и соглашается с той идеей, что «событийность — это ценность, которой должны пользоваться не только политические акторы, разыгрывающие событие, но и гораздо большее число зрителей, наблюдающих за ним»⁶. В этом пункте популизм и плебисцитаризм расходятся, поскольку, хотя они в равной мере против теорий демократии, подозрительно относящихся к Народу как целостности, существующей до политического процесса, и видящих источник власти в индивидуальном избирательном праве, популизм наделяет Народ политическим присутствием, тогда как плебисцитаризм допускает лишь пассивное его присутствие, к которому привязана негативная функция наблюде-

4. Дуализм воли и разума использовался для призывов к цезаризму во Франции в 1850 году и поддержки переворота Луи Наполеона. См.: *Richter M. Tocqueville and French Nineteenth-Century Conceptualization of the Two Bonapartes and Their Empires // Dictatorship in History and Theory. P. 87.*

5. *Rosanvallon. La légitimité démocratique. P. 45–46.*

6. *Green. The Eyes of the People. P. 21.*

ния. Первый призывает к участию в политике; второй желает прозрачности.

Плебисцитарную демократию в ее зрительском варианте я буду обсуждать здесь в качестве демократии во всех отношениях постпредставительной, поскольку она желает развенчать миф о политическом участии (то есть гражданстве как автономии) и превознести роль массмедиа как внеконституционного фактора надзора (в действительности даже более важного, чем система конституционных сдержек). Она объявляет о конце той идеи, что политика — это сочетание решения и суждения, и превращает ее в деятельность по визуальному сопровождению, которой заняты зрители и основной вопрос которой состоит в качестве коммуникации между правительством и гражданами или же в том, что именно знают люди о жизни своих правителей⁷.

Если популизм на протяжении многих десятилетий не раз становился объектом самого пристального анализа, то после крушения тоталитарных режимов плебисцитаризм утратил привлекательность для исследователей политики. В последнее время ситуация несколько изменилась. В США политическая теория также отмечает возрождение интереса и симпатии к плебисцитарной демократии, что является результатом большей благосклонности к мажоритаризму и идее демократии, менее озабоченной институциональными ограничениями и более внимательной к стимулированию различных форм народной активности — либо прямого популистского действия, либо утверждения визуальной прозрачности власти. В некоторых европейских странах парламентская демократия столкнулась с плебисцитарной трансформацией, обусловленной несколькими действо-

7. Интересный социологический анализ «тщетности» действия в политической системе коммуникации, которая вытеснила любую внешнюю инстанцию суждения, см. в: *Boltanski L. Distant Suffering: Morality, Media and Politics* / G. D. Burchell (trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1999, особенно p. 170–181.

вавшими одновременно факторами, важнейшими из которых являются упадок традиционных партий, роль телевидения в конструировании политического согласия и усиление функции исполнительной власти в экономико-финансовых ситуациях чрезвычайного характера.

Цель критического исследования, представляемого мной в этой главе, — прояснить этот новый энтузиазм по поводу плебисцитарной демократии и представить его в качестве иллюстрации загадочной роли публики как власти, которая может достаточно радикальным и примечательным образом изменить черты демократии, хотя на первый взгляд и кажется, что именно благодаря ей демократия отличается от авторитарных режимов. Попробую вкратце наметить основные моменты моей аргументации. Плебисцитарная демократия, как и популизм, является возможной траекторией развития, которая вызревает в представительной демократии и стимулируется массмедиа. Зрительская демократия в эпоху массовой коммуникации приобретает плебисцитарную форму. В противоположность неполитической и эпистемической демократии, она отвергает любую попытку исправить мнение истиной; в противоположность популизму, она не стремится отменить диархию демократии, превратив одно гегемоническое мнение в правящую в государстве власть. Плебисцит зрителей допускает диархическую структуру представительной демократии и готов поддержать шумпетерианскую трактовку демократических процедур как метода отбора лидеров, однако он дает новую интерпретацию роли публичного форума, благодаря которой одна из его функций преувеличивается и разрастается. Действительно, эту форму плебисцитаризма мы можем заметить всякий раз, когда наблюдаем сферу мнения в ее многообразных функциях (когнитивной, политической и эстетической), а также в качестве сложной деятельности, которая состоит в производстве и распространении информации, формировании политических суждений, требованиях предъявлять публике действия

лидеров. Как я уже несколько раз заявляла в этой книге, сложная природа форума — важная причина силы демократии. Кроме того, форум является областью, в которой наиболее заметны изменения во внешних проявлениях демократии. Далее я сначала проанализирую значение и теоретизацию плебисцитарной демократии в контексте работ исследователей-классиков, а именно Макса Вебера и Карла Шмитта, а затем обращусь к современному ренессансу плебисцита зрителей в сложившихся демократиях.

Призыв к народу

В своем классическом смысле плебисцитаризм предполагает выборную форму создания лидеров, которые ищут народного одобрения (в следующем разделе я подробнее объясню его исторические корни, которые обнаруживаются в Римской республике, и его возрождение в XIX веке вместе с представительным правлением). В терминологии Шмитта, плебисцитаризм означает требование легитимности (именно для нее нужно одобрение), которая опирается непосредственно на народ как суверен, находящийся «вне или над любой конституционной нормой»⁸. Однако неповоротливый суверен не обязательно активен в демократическом смысле. Пассивность народа фигурирует в инструментальной трактовке процедурной демократии. Йозеф А. Шумпетер, как известно, писал: «Демократия означает только то, что у людей есть возможность принять или отвергнуть тех, кто должны править ими»⁹. *Одобрение* — это ключевая тема плебисцита, знак утверждения в должности и доверия. В отличие от популизма, воплощающего в себе идеал мобилизации, плебисцитарная демокра-

8. *Schmitt*. Constitutional Theory. P. 271.

9. *Schumpeter*. Capitalism, Socialism, and Democracy. P. 284–285.

тия сужает роль активного гражданского участия, выводя на первый план, напротив, реагирование людей на обещания, поступки, решения и внешний вид лидера (или лидеров). Обратной стороной призыва к народу становится *прозрачность*: если лидер идет к людям за одобрением, у людей есть право требовать публичной видимости лидера. Прозрачность — это цена одобрения. Два этих феномена притягивают друг друга и позволяют понять плебисцитарное устранение границы между «популярным» и «публичным». Я буду анализировать этот ключевой аспект, обсуждая идеи Шмитта, и покажу, что, если следовать им, современные «плебисцитарные демократы» наделяют приоритетом прозрачность и превращают мнение, как один из двух столпов диархии, в театральный эффект. Они утверждают, что в современной демократии парадигма политической автономии уступает место парадигме аудитории, а потому «демонстрация лидера» становится первейшей целью демократической политики¹⁰. Плебисцитарная демократия — это прославление политики пассивности.

У плебисцитаризма, как и у популизма, цезаристское призвание. Вебер полагал, что, когда массы приводятся в действие демократическим путем, плебисцит выступает инструментом, который харизматический лидер иногда использует для закрепления своей харизмы в восприятии людей, причем с формального народного одобрения¹¹. Представительные институты и конституционные правила выходят в этот момент на сцену в роли стратегий, не позволяющих плебисцитарному лидеру стать плебисцитарным диктатором. С точки зрения Вебера, парламент и формальная конституция важны не потому, что они регулируют согласие и контролируют легитимность, а потому что они дают то, чего не спо-

10. Green. The Eyes of the People. Chap. 2.

11. Weber M. Parliament and Government in Germany under a New Political Order (1918) // Political Writings / P. Lassman, R. Speirs (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 221.

собен дать харизматический лидер: институциональную стабильность, поддержание правового порядка, плавный переход от одного лидера к другому. Правовые ограничения сопутствуют лидерству; они важны в том вполне предсказуемом и, разумеется, всегда вероятном событии, когда лидер теряет доверие масс¹². Так, Перон, Чавес и в определенной мере Берлускони — это популистские, а также цезаристские в веберовском смысле лидеры, которые ищут доверия и признания масс, однако при этом желают получить народное одобрение путем формального голосования и при этом не презирают парламент как таковой. Презирают они любые ограничения их решений и власти, которые могли бы налагаться неполитическими институтами, такими как верховный или конституционный суд. Они стремятся к прямому контакту с аудиторией («Чавес потратил более 1500 часов на разоблачение капитализма на своем собственном телевизионном шоу „Alo Presidente“»¹³, а Берлускони годами оставался постоянным героем передач как государственного телевидения, так и его собственных телеканалов). Плебисцитарная демократия — это президентская массовая демократия, которая снижает значение либеральной концепции ограничения власти и разделения властей. По Веберу, американская президентская система представляет собой шаг вперед после парламентской демократии, поскольку она поддерживает прямое отношение с народом вне процедур выборов и в то же время способна оставаться в рамках конституционной демократии.

Вебер считал, что демократизация режима выборов состояла в переходе от тех времен, когда политического лидера объявлял или выбирал «круг нобилей», а потом этот лидер утверждался парламентом (примерно

12. Ibid. P. 222.

13. Между тем Чавес «пошел в атаку на интернет как „траншею“, в которой зреют „заговорщицкие настроения“». *Morozov. The Dark Side of Internet Freedom*. P. 113.

так представительное правление работало в додемократической Германии), к временам, когда лидер «использует инструменты массивированной демагогии для завоевания доверия масс и веры в него как личность»¹⁴. Как мы увидим, оставаясь в рамках этой трактовки, некоторые теоретики доказывают сегодня, что медийная система исполняет контролирующую функцию более эффективно, чем правовые стратегии сдержек и противовесов, а также разделение властей. Однако, как Джеффри К. Талис отметил в своем классическом исследовании по риторической конструкции президентской власти, когда главным собеседником президента является народ, а не Конгресс, качество коммуникации и речи президента меняется, поскольку его цель — не передача документов или специальных посланий собранию, а пробуждение народных чувств, а потому «видимое и слышимое представление становятся столь же важными, как и заранее подготовленный текст»¹⁵. Плебисцитарному президенту важнее выступить с впечатляющей речью, чем дать информацию или обменяться разумными аргументами с другими ветвями государственной власти.

Популизм становится дорогой, ведущей к плебисцитарной трансформации демократии, поскольку благодаря ему главную роль в представлении единства Народа начинает играть личность, а выборы превращаются в плебисцит, которым коронуется вождь¹⁶. По этой причине президентские демократии более склонны и к популистскому стилю в политике, и к плебисцитарному

14. Weber. Parliament and Government. P. 220.

15. Tuls J. K. The Rhetorical Presidency. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987. P. 133.

16. Связь между плебисцитарным лидерством и популизмом, как она мыслилась Вебером, была рассмотрена в работах: *Slagstad R. Liberal Constitutionalism and Its Critics: Max Weber and Carl Schmitt // Constitutionalism and Democracy. P. 122–123; Eliasson S. Max Weber and Plebiscitarian Democracy // Max Weber: Democracy and Modernization / R. Schroeder (ed.). New York: St. Martin's Press, 1998. P. 47–60.*

типу отношений между лидером и народом. Позиция лидера представляется здесь в большей степени средством, профилактической стратегией или тормозом, блокирующим, если говорить словами Антонио Грамши, «катастрофическое равновесие» властей. Следовательно, идея, согласно которой лидер должен быть плебисцитарным, дополняет мысль о том, что он больше способен к управлению. Некоторые исследователи различали цезаризм и плебисцитаризм, утверждая, что, если первый — это категория, относящаяся к авторитарному режиму правления, то второй относится, напротив, к одной из разновидностей демократии¹⁷. Но примерно так же, как в случае «хороших» и «плохих» демагогов, описанных Аристотелем, цезаризм может обладать разными коннотациями, так что мы можем интерпретировать народное президентство в качестве разновидности демократического цезаризма, то есть категории, которая подходит, к примеру, к президентству Вильсона¹⁸. Однако независимо от того, что сильный лидер может выступать фактором, способствующим воодушевлению, цезаризм, без сомнения, опасно близок к решениям, идущим вразрез с конституцией и разделением властей. В крайних случаях, когда лидер предлагает авторитарные решения, правительству, руководимому им, не нужно даже опираться на согласие избирателей, не говоря уже о коммуникации с парламентом или обращении к нему, и в большинстве случаев такое правительство в конце концов создает полицейское государство с пропагандой, дирижирующим народным согласием. Цезаристское решение показывает, что доверия или одобрения народа еще не достаточно для гарантированного создания демократического режима, поскольку для обеспечения контроля и подотчетности нужно нечто боль-

17. Poulantzas N. State, Power, Socialism / S. Hall (introduction). London: Verso, 2000. P. 203–216.

18. *Tubs*. The Rhetorical Presidency. Chap. 5.

шее. Необходимы другие институты, которыми сторонники плебисцитаризма пренебрегают. Ключевой фактор—это *форма* народного одобрения. Теперь я объясню, что делает народ, когда голосует на плебисците.

Что такое плебисцит

Римский *plebiscitum* являлся положительным или отрицательным решением («да или нет») плебса по предложению, которое поступало от народного трибуна. На протяжении веков эта форма решения использовалась, чтобы подкрепить согласием определенный факт или порядок действий, которые уже были предприняты государством или лидером. Значение плебисцитарного консенсуса состоит больше в народном *высказывании*, а не народном *решении*. Поэтому Грин совершенно справедливо подчеркивает, что плебисцитарная демократия противоположна гражданскому активизму и в действительности является провозглашением принципа «управляемости граждан»¹⁹. Эта форма народного участия, то есть высказывание за или против, которое, однако, не следует таким процедурным нормам, как референдум или голосование за определенного представителя, должна была санкционировать исключительное событие, отвечать на запрос доверия, а не на требование провести выборы, которые бы могли ограничить власть или призвать к ответственности выборных руководителей²⁰. Несколько исторических примеров помогут прояснить это различие между плебисцитом и выборами.

19. Green. The Eyes of the People. P 32. См.: Millar F. The Crowd in Rome in the Late Republic. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. P. 13–14; Lintott. The Constitution of the Roman Republic. P. 53–55.

20. Шмитт объяснил различие между референдумом того типа, что относится к системе государства с законодательным парламентом (то есть [референдумом] отклоняющим или предлагающим зако-

Плебисцит проводился Наполеоном Бонапартом в нескольких ключевых эпизодах смены режима, инициированной им, в частности в 1800 году, после государственного переворота 18 брюмера 1799 года, когда была лишена власти Директория, и он «закончил революцию» и сделал себя военным диктатором в роли пожизненного консула. Это решение он захотел потом освятить плебисцитом (1802)²¹, и тот же самый прием был использован, когда он провозгласил себя императором (1804)²². Плебисцит был использован королем Сардинским в 1861 году для получения одобрения со стороны жителей северных регионов Италии (значительная часть мужского населения имела избирательное право), ранее присоединенных военным путем. Плебисцит может найти и демократическое применение. В наиболее демократической форме он используется тогда, когда идет речь о смене режима, например, так было в Италии, когда принималось народное решение о выборе между республикой и монархией 2 июня 1946 года, или же в случае решения 1992 года о разделе Чехословакии. В этих и подобных им случаях, когда голосование должно открыть новую демократическую фазу, а не короновать лидера, плебисцит отождествляется с конституционным референдумом или, если использовать удачное выражение Вацлава Гавела, с радикальным решением, принимаемым «цивилизованным путем»²³.

ны, по которым парламент принял или примет решение), и референдумом другого типа, когда «„народ“ выступает в качестве единственно определяющей фигуры демократически-плебисцитарной системы». Шмитт К. Легальность и легитимность. С. 276.

21. Бонапарт сам сформулировал предложение, по которому должен был голосовать французский народ: «Будет ли Наполеон Бонапарт пожизненным консулом?». Woloch. From Consulate to Empire. P. 32.

22. Ibid. P. 44.

23. Young R. A. The Breakup of Czechoslovakia // Research Paper No. 32, Institute of Intergovernmental Relations. Kingston, Ontario, Canada: Queen's University, 1994. P. 14.

У этих разных примеров есть общая черта: они показывают, что цель плебисцита — прямая народная поддержка лидера или предложения в обход любого институционального опосредования. Помимо этого технического смысла и применения, плебисцит должен также обладать сильным символическим значением и воздействовать на людей эмоционально, поскольку это акт веры в будущее, выражение доверия к тому, чем обещает быть лидер или новый режим, ставка на них. Соответственно, Эрнест Ренан считал, что плебисцит используется для обозначения преданности нации своему прошлому или будущему, обета, посредством которого она выбирает из своего исторического прошлого то, что желает сохранить или, наоборот, отбросить, стремясь определить свою культурную идентичность и укрепиться в решении развивать ее и защищать. Плебисцит, таким образом, выражает своего рода религиозный консенсус, торжественное признание начала или обновления²⁴. Когда он интерпретируется как одобрение лидера, то является актом идентификации с его деяниями, словами и обещаниями. Этим объясняется, почему лидер больше всего боится низкой явки, а не резкого отпора; действительно, именно массовое участие в плебисците, а не большинство голосов само по себе, — вот что скрепляет бесспорную подпись народа под планами лидера²⁵. Подсчет избирательных бюллетеней не может дать того же эффекта, что зрелище явного консенсуса.

Давайте вернемся к римскому значению плебисцита и причине, по которой в античные времена он использовался как стратегия укрепления покорности, преданности и веры за счет укрепления солидарности

24. *Renan R. Qu'est-ce qu'une nation?* (1882) // *Discours et Conférences*. Paris: Calmann-Levy, 1887. P. 278, 285, 295–296, 299.

25. При плебисците во Франции в 1802 году власти были озабочены не возможностью отрицательного ответа, а низкой явкой. *Woloch. From Consulate to Empire*. P. 34.

плебса с его лидером, единства плебса под сенью лидера или благодаря ему. Должность народного трибуна была учреждена в 494 году до н.э. в результате уступки патрициев солдатам-плебей, которые отказались воевать и удалились на Авентин, потребовав права избирать своего собственного представителя. Народный трибун в Риме служил наиболее важным гарантом свободы. Трибуны не были выходцами из аристократического или сенаторского класса, поставлявшего Риму должностных лиц, а потому трибунов избирал не весь народ Рима (плебеи и патриции), а только плебеи. В результате трибун не был, собственно говоря, должностным лицом, и это обстоятельство объясняет, почему он должен был стать «неприкосновенным». неприкосновенность трибуна означала то, что его нужно было защищать от аристократических семейств — «вмешательством богов или народной мести»²⁶. Трибун приобрел свою неприкосновенность благодаря взятому народом обязательству убить всякого, кто повредил бы ему или вмешался бы в его деятельность, пока он в Риме и на своем посту. неприкосновенность трибуна скрепляла его единство с плебсом, превращая любую нанесенную ему обиду в обиду плебсу (фактически причинение вреда трибуну, пренебрежение его вето или же препятствование ему в исполнении служебных функций означало урезание права плебса на противодействие притеснениям со стороны должностных лиц). неприкосновенность в то же время предполагала защиту трибуна и прерогатив плебса, пока трибун оставался гарантом гражданских свобод римских граждан, защищая их от произвола государственной власти²⁷.

26. Weber M. General Economic History / F. H. Knight (trans.). Glencoe, IL: Free Press, 1950. P. 325–326.

27. Об учреждении должности трибуна см.: Livy. The Rise of Rome / B. O. Foster (trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1922. P. 33–34 (III, ix. 6–12); о прерогативах трибуна см.: Lintott. The Constitution of the Roman Republic. P. 120–128.

Соответственно, плебисцит являлся актом, обозначавшим единство плебеев, поскольку они освящали свою веру в лидера и доверие к нему. Этот аспект лучше всего иллюстрирует различие между плебисцитом и избирательным правом в смысле современной демократии, в которой особое внимание уделяется суждению каждого гражданина в акте принятия решения и совокупному исходу голосования²⁸. Голосование при политических выборах разделяет народ на части и по интересам, тогда как голосование при плебисците создает единство народа, преодолевающее внутренние разделения.

Голосование или плебисцит

Голосование на политических выборах — это вопрос одновременно предпочтения и доверия; парадокс в том, что чем в большей мере вопрос, решаемый на выборах, это вопрос доверия, тем меньше они играют роль контрольного механизма. Идеологические пристрастия, вера и индивидуальный выбор находятся в сложных отношениях друг с другом, и именно поэтому выборы приводят к размежеванию. Выборы зависят от разных факторов, таких как широкое распространение информации, интерпретаций и мнений, продвижению которых способствуют и пресса, и опосредующие объединения, такие как партии или гражданские организации. Также они основываются на вере (по той дополнительной причине, что информация поступает избирателям

28. Когда после Амьенского мирного договора Сенат и Трибунат искали лучший способ показать «благодарность» французского народа Наполеону, они не думали, что будет уместен вотум доверия, поскольку голосование в Сенате считалось инструментом интриг и махинаций. См.: *Woloch. From Consulate to Empire*. P. 30. Об индивидуалистическом аспекте избирательного права (как граждан, так и их представителей) см.: *Rosanvallon P. Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France*. Paris: Gallimard, 1992. P. 167.

по каналам, которые сами они, как я указывала в первой главе, не контролируют и не создают), а это означает, что знание не всегда является определяющим фактором решений избирателей. Конечно, как Болингброк пояснил еще в 1734 году, без веры в конституцию партийные «разделения» становятся деструктивными²⁹. Кроме того, как было объяснено в немалом числе работ по поведению избирателей, эмпирические исследования которого продолжают вот уже сто лет, чтобы выборы функционировали в качестве надежной системы назначения представителей, граждане должны ожидать, что кандидаты и выбранные представители будут вести себя в соответствии с данными обещаниями. Без этой веры они не могут предсказать, как поведут себя кандидаты, а потому и оценить их. Однако если эта вера играет основную роль, у граждан мало власти над избранными представителями³⁰. В целом информация — это частный компонент, который вера включает в себя. Вера играет основную роль, поскольку будущее — это перспектива, соотносясь с которой избиратели выбирают кандидата, ведь у них нет всей той информации, которая была бы им нужна, чтобы сделать совершенно рациональный выбор (если даже предполагать, что такой выбор действительно возможен). Вера или доверие, следовательно, применяется ко всем соци-

29. *Bolingbroke. A Dissertation upon Parties*. P. 85–86.

30. Обычно считается, что выборы, больше основанные на соображениях *ex ante* (доверии или вере), а не суждении *ex post*, больше согласуются с «делегативными демократиями», выступающими «низшей» формой представительства, которая больше соответствует плебисцитарным и популистским демократиям. См.: *Stokes S. C. What Do Policy Switches Tell Us about Democracy? // Democracy, Accountability, and Representation / A. Przeworski, S. C. Stokes, B. Manin (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 100; об обратном отношении между идеологической идентификацией избирателей с кандидатами и функцией подотчетности см. также: Mansbridge J. J. Rethinking Representation // American Political Science Review. 2003. Vol. 97. P. 515–528.*

альным отношениям как условие, без которого граждане оказываются друг для друга чужаками, не обладающими достаточной информацией, чтобы согласовывать свое поведение³¹. По этой причине доверие рассматривалось в качестве основы общества, разрушение которой ведет к плачевным последствиям — как писал Томас Шеллинг, разрушение доверия приводит к «разрушению коммуникации, созданию недоверия и подозрения, невозможности контролировать выполнение соглашений, подрыву реформ, упадку солидарности и дискредитации лидеров»³².

Однако голосование на плебисците включает в себя только одну из двух компонент голосования, поскольку работает на то, чтобы доказать силу веры народа в предложенного ему лидера; следовательно, подотчетность тут совершенно неуместна, а голосование является скорее аккламацией, чем выборами³³. Значение имеют скорее доверие и популярность, а не информация. Как говорил президент Вудро Вильсон, «убеждение, а не информация, — вот сила; убедить получается, когда удается войти в доверие к тем, кем вы будете руководить»³⁴. Следовательно, в противоположность выборам представителя, плебисцит не определяет поступки выбираемого лица, но вследствие плебисцита утверждается или принимается его руководящая роль. Плебисциты нужны не для того, чтобы сделать лидера подотчетным, а для того, чтобы сделать его популяр-

31. Интересный случай разрушения веры и доверия см. в: *Pagden A. The Destruction of Trust and Its Economic Consequences in the Case of Eighteenth-century Naples // Trust: Making and Breaking Cooperative Relations / D. Gambetta (ed.). Dept. of Sociology, University of Oxford, electronic edition, 2000. P. 127–114.*

32. *Schelling T. C. Strategic Analysis and Social Problems // Choice and Consequence. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. P. 211.*

33. *Schmitt. Constitutional Theory. P. 270.*

34. *Wilson W. Leaders of Men / T. H. Vail Motter (ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952. P. 29.*

ным. Поэтому Вебер подчеркивал то, что плебисцит может использоваться и для санкционирования диктаторских полномочий: «Лидер возвышается либо военным путем — как военный диктатор, Наполеон I, который затем закрепляет свою позицию плебисцитом, либо гражданским путем, как невоенный политик (Наполеон III), чья претензия на лидерство подтверждается плебисцитом, а затем принимается армией»³⁵. Мы должны помнить о двух этих аспектах — «плебейском» одобрении и антиэлекторальном характере, — поскольку они, как мы увидим, являются столпами, на которых стоит современная трактовка плебисцитарной демократии³⁶.

В целом по причине обеспечиваемого плебисцитом формального условия народного согласия, он включается в число демократических процедур. Однако этого недостаточно, чтобы сделать провозглашенного лидера демократическим.

Форма и материя

Вебер первым приветствовал переход к плебисцитарной политике, считая его переходом к демократизации. Также он решительно отделял демократию от конституции. Контроль и стабильность — дело государственных институтов, а не демократии, которая, с точки зрения Вебера, как и последующих сторонников плебисцитаризма, по существу означала массовые действия, внешние для правового порядка, то есть что-то вроде чистой и неоформленной энергии³⁷. Политическая концепция

35. Weber. Parliament and Government. P. 221.

36. См.: Baehr P. Max Weber and the Avatars of Caesarism // Dictatorship in History and Theory. P. 163–164.

37. Работа Вебера «Парламент и правительство» представляла собой «попытку повлиять на мнение по конституционному вопросу» с целью «наметить предварительные условия для эффективно-го парламента», но также «призвать к системе, которая в зна-

Вебера опиралась на поляризованное представление о форме и материи: жизнь в клетке легализма и рационализма противопоставлялась жизни экстраординарного, которая дает политике новые силы и даже наделяет ее поэтикой героизма³⁸. На этой неоформленной материи оставляет свой отпечаток лидер³⁹. В сценарии массовой демократии парламент играл важную роль, но не как источник политической легитимности (которым выступало исключительно народное согласие, выражаемое в плебисците), а как инструмент контроля (над плебисцитарным лидером) и стабильности (демократии)⁴⁰. По Вольфгангу Моммзену, Вебер полагал, что лидер и парламент должны работать в тандеме, чтобы сгладить худшие свои черты, проявляющиеся у них по отдельности, и ответить на вызов, обусловленный ростом бюрократии, которая как раз и является мишенью плебисцитарной демократии у Вебера⁴¹. Макиавеллевская трактовка политического конфликта как механизма, который наделяет силой и одновременно создает великих людей, — возможное и вполне

чительной мере оставляет пространство для плебисцитарного лидерства». *Kilker E.* Max Weber and Plebiscitarian Democracy: A Critique of the Mommsen Thesis // *Politics, Culture, and Society*. 1989. Vol. 2. P. 446.

38. *Weber M.* The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism / T. Parsons (trans.). London: Routledge, 1992. P. 182; ср.: *Kalyvas A.* Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 17–21.

39. Об иррационализме и романтическом ницшеанстве Вебера см. среди прочего: *Cavalli L.* Carisma: La qualità straordinaria del leader. Roma-Bari: Laterza, 1995.

40. *Baehr.* Max Weber and the Avatars. P. 164.

41. См. главу Макса Вебера «Бюрократия» (1922) в: *From Max Weber: Essays in Sociology*. P. 216, 220, 224–227. Такую уделяющую внимание парламенту интерпретацию можно найти в работе: *Mommsen W. J.* The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber. New York: Harper Torchbooks, 1974. P. 72–94.

законное прочтение веберовской критики парламентского бюрократизма⁴². Однако призыв Вебера к лидеру как фигуре, которая дает возможность обновления демократии, был нацелен на преодоление стесненных условий парламентской демократии и легалистских ограничений конституции. Харизматический лидер, живший исключительно политикой, обладает, с точки зрения Вебера, способностью прорваться через норму легализма и преодолеть ограничения законодательной власти, созданные конституционализмом, когда народ давал лидеру силу, в которой он нуждался⁴³.

В веберовской интерпретации роли лидера использовалось традиционное рассуждение о древних государствах, в первую очередь Афинах и Риме. Эта интерпретация «оставалась в плену у такого взгляда на массы, согласно которому последних надо удерживать в изоляции и воздействовать на них. Такая ситуация неизменно приобретает трагический оттенок: государственный деятель может контролировать массы или в определенной мере преобразовать их, но лишь на какое-то время, пока они не вышли из под его контроля, а сам он не стал их жертвой»⁴⁴. В действительности источником вдохновения для Вебера послужила данная Теодором Моммзеном трактовка Юлия Цезаря как главы «но-

42. Вопреки Моммзену, Дэвид Битам (*Beetham D.* Max Weber and the Theory of Modern Politics. Oxford: Oxford University Press, 1985) утверждал, что мысль Вебера эволюционировала к уделяющему большее внимание личности понятию лидера, который обычно отделяет себя от парламента, и этот переход получил трагическое воплощение в немецкой истории. Не менее критичен к благожелательной интерпретации Моммзена и Килкер: *Kilker.* Max Weber and Plebiscitarian Democracy.

43. Одно из первых сравнений Маркса и Вебера по вопросу о тормозящем воздействии отчуждения и нормальности на креативность см.: *Lovith K.* Max Weber and Karl Marx. London: Allen and Unwin, 1982.

44. Ср.: *Lane.* Origins of the Statesman. «Харизма знает только внутреннюю детерминацию и внутреннее ограничение». *Weber.* From Max Weber. P. 246.

вой монархии», способной положить конец коррумпированной «старой республике», раздираемой распрями. Подобно Периклу, Цезарь был демагогом, который смог превратить народную поддержку в творческий источник энергии, изменивший характер его государства, как во внутренних делах, так и на международном уровне⁴⁵. Такова была веберовская модель плебисцитарного лидера, «подлинного государственного деятеля», как Моммзен писал о Цезаре, который «не служил народу за награду, пусть даже за любовь народа, а пожертвовал расположением своих современников ради процветания последующих поколений и прежде всего ради возможности спасти и возродить нацию»⁴⁶.

В этой модели плебисцитарная политика совпадала с демократией, если только демократию понимать не как согласие, достигаемое на «регулярных выборах», а как «народное выражение веры в призвание лидера» посредством аккламации⁴⁷. Подобное отождествление было неизбежным, поскольку, по Веберу, демократия существовала либо в массовой форме, либо не существовала вовсе. В самом деле, чтобы у масс была возможность того или иного функционального, инструментального или рационального действия (необходимого для достижения какого-либо результата, без которого

45. *Mommsen T. The History of Rome / W. P. Dickson (trans., with the sanction of the author). London: Bentley, 1900. Vol. 5. P. 325, chap. 11.* Интересное обсуждение потенциала и риска харизматического лидерства во времена международного кризиса, а также различия между «демократическим лидерством» (Рузвельт и Черчилль) и «идеологическим лидерством» (Муссолини, Гитлер и Сталин) см., соответственно, в: *Schlesinger A. Democracy and Heroic Leadership in the Twentieth Century; Friedrich C. J. Political Leadership and the Problem of Charismatic Power // Journal of Politics. 1961. Vol. 23. P. 16.* Как ни интерпретировать концепцию харизматического лидерства, она предполагает иррациональную природу масс.

46. *Mommsen. History of Rome. Vol. 5. P. 324.*

47. *Weber. Parliament and Government. P. 220–221.*

все так и осталось бы на уровне анархии), им был нужен лидер, и точно так же лидеру были нужны массы, чтобы явить свои качества миру. Харизма понималась как судьба, а не выбор: по этой причине выборное представительство признавалось неуместным, поскольку, хотя харизму и можно пытаться имитировать, ее нельзя изобразить, она не может быть подделкой, созданной хитрыми лидерами или пропагандистами⁴⁸.

После Вебера дуализм материи и формы стал парадигмой плебисцитаризма как демократии в действии; его противоположностью считалась выборная парламентская демократия, представлявшаяся демократией, впавшей в летаргический сон. В этом смысле плебисцитарная составляющая присутствует во всех электоральных теориях демократии, в которых выборы считаются признанием, которым массы расписываются в собственной неспособности действовать без помощи лидеров⁴⁹. Шумпетер называл свою антиклассическую теорию демократии «теорией конкурентного лидерства», пусть даже он был против того вывода, что правительство должно и в своих рутинных действиях полагаться непосредственно на народ⁵⁰. Однако именно прямая зависимость правительства от мнения людей подчеркивается теоретиками плебисцитарной демократии. В рамках

48. Соответственно, Вебер критиковал «взгляд, популярный среди наших литераторов», которые рассматривали демократизацию как следствие бесспорной манипуляции, которой демагог занимается безо всяких угрызений совести. *Weber. Parliament and Government*. P. 219.

49. Функция выборов не в том, чтобы «сделать демократию более демократичной, а в том, чтобы сделать демократию возможной. Как только мы соглашаемся с тем, что выборы необходимы, мы минимизируем демократию, поскольку понимаем, что система не может управляться самим демосом». *Sartori G. Democratic Theory*. New York: Praeger, 1965. P. 108. Новую формулировку той же характеристики см. и в другой работе Сартори: *Sartori G. Theory of Democracy Revisited*. Vol. 1. P. 102–110.

50. *Schumpeter. Capitalism, Socialism, and Democracy*. P. 284, 287.

этой схемы радикальный дуализм между государственным аппаратом и массами питает идеологию антипарламентаризма. В самом деле, от мысли, что парламентская политика враждебна демагогии, можно перепрыгнуть к выводу (чего, правда, не сделал Вебер), что истинная демократия означает умаление значения функции голосования на выборах и порождаемого им институционального контроля⁵¹.

Конечно, по Веберу, парламентская организация политики более антагонистична по отношению к плебисцитаризму, чем военный цезаризм или даже диктатура. Фактически последняя может пользоваться поддержкой масс, что показывают случаи Перикла или Наполеона, однако парламентская политика убивает демагогию как таковую. «Каждая парламентская демократия, со своей стороны, прилагает все усилия, чтобы исключить плебисцитарные методы выбора лидеров, поскольку они угрожают власти парламента»⁵².

Вебер может стать нашим ориентиром в понимании следующих факторов, выступающих начальными составляющими любой плебисцитарной формы демократии: во-первых, строгого дуализма и даже конфликта между правовым порядком и порядком масс; во-вторых, утверждения, будто массы являются источником власти лидера, действующим за пределами или поверх

51. Интерпретация роли плебисцитаризма в политической мысли Вебера является предметом обширной литературы. Я назову авторов двух представительных интерпретаций: с одной стороны, это Дэвид Битам, согласно которому позитивная оценка Вебером плебисцитаризма совпала с резким поворотом в его мысли к иррационалистическому, ницшеанскому решению, а с другой — Моммзен, который считает, что эта оценка, не выступая поворотным моментом, совпала с его глубокой обеспокоенностью упадком немецкого национального влияния в европейской политике. См. соответственно: *Beetham. Max Weber and the Theory of Modern Politics; Mommsen. The Age of Bureaucracy.*

52. *Weber. Parliament and Government. P. 221, ср.: Baehr. Max Weber and the Avatars. P. 164–166.*

представительных процедур, например выборов, которые институализируют требование подотчетности (при этом иррациональная природа масс исключает и выборное уполномочивание, и подотчетность). Переход к плебисцитарной демократии является, следовательно, не просто риторическим; это изменение самого образа демократии, поскольку это умаление процедурной формы демократии. Эта перемена с большей легкостью происходит в президентской системе, чем в парламентской, а также в обществе, опирающемся на всеобщую систему массмедиа. Идея президента как народного лидера стала «бесспорной посылкой нашей политической культуры. Интеллектуалы и колумнисты, не задаваясь более вопросами о природе народного лидера, подхватили это понятие, требуя, чтобы у народного мнения появился более сильный или более умелый лидер. Сегодня считается очевидным, что президенты *должны* постоянно публично себя защищать, продвигать на общенациональном уровне свои политические инициативы и вдохновлять население»⁵³. Популярность — это добродетель, которая снижает значение подотчетности.

Мы, конечно, можем поставить под вопрос эффективность требования подотчетности. Но главный момент в том, что наличие определенной формы выбора, включающей такое требование, само по себе играет ключевую роль: такие выборы отделяют народ от выбранных лиц и ставят последних в такое положение, в котором с них можно спрашивать и контролировать их. Избранники отвечают за «то, как они принимают и исполняют» общественные решения⁵⁴. Когда президент общается с народом через Конгресс или парламент, он избегает стиля, допустимого в прямой ком-

53. *Tulis. Presidential Rhetoric. P. 4.*

54. *Dunn. Situating Democratic Political Accountability // Democracy, Accountability, and Representation. P. 330.*

муникации, а потому в этом случае он внимательнее к рациональным, а не эмоциональным характеристикам своей риторики, стремясь подкрепить свои доводы доказательствами. Как, собственно, и говорил Талис⁵⁵, обращение с речью к парламенту — это публичное представление вопросов; обращение к народу — это способ сделать их популярными. Как вполне откровенно прояснил Шмитт, плебисцитаризм состоит в устранении всякой дистанции (как в суждении, так и во мнении) между лидером и народом, то есть в слиянии «публичного» и «популярного», а также в возможности обойти процедуры и нормы, разработанные конституционной демократией для того, чтобы укротить меньшинство (демагогов), а не только большинство. Но плебисцит, выступая актом аккламации или веры, не включает в себя никакого запроса на контроль, речь по правилам и подотчетность. Кроме того, выборная подотчетность нацелена на устранение произвола и регулирование политической темпоральности посредством привязки решений к будущему (обещаниям) и прошлому (то есть итогу) их исполнения, а не только к моменту их инициативы. «Отличительным качеством подотчетности в современной демократической политике является попытка контролировать подобные случайности не в момент (и не в преддверии) общественного выбора, а на основе последующей оценки и инициативы»⁵⁶. Ответственность лидера и регулируемая темпоральность — вот две характеристики, которыми представительная демократия наделяет политику, и именно им противостоит плебисцитарная демократия.

55. *Tulis. Presidential Rhetoric. P. 46. См.: Holmes S. Precommitment and the Paradox of Democracy. P. 225–235; Дуалистическая концепция политической жизни опирается на электоральное понятие представительной демократии, как в работе: Ackerman B. A. Neo-federalism? // Constitutionalism and Democracy. P. 155–193.*

56. *Dunn. Situating Democratic Political Accountability. P. 332.*

Публика-зритель и тайное голосование

Обыгрывая различие между выборами и аккламацией, Шмитт радикализировал аргумент Вебера касательно плебисцита, дополнив его ключевым уточнением, которое в будущем сместит плебисцитаризм в сторону от либерального конституционализма, освободив его от парламентской системы сдержек. Он выступил против тайного голосования, то есть против самого основания представительной демократии, которому он противопоставил плебисцит как наиболее истинное выражение голоса народа⁵⁷. Если Вебер критиковал ослабляющее и расхолаживающее влияние партийной политики и парламентской демократии на национальную политику, Шмитт проник в самую сердцевину проблемы и задал вопрос о процедурной организации выборной демократии, основание которой было заложено в XVIII веке, то есть об *индивидуальном избирательном праве в форме тайного голосования*. Неслучайно то, что он критиковал Французскую революцию 1789 года за ее либеральный характер, который породил «буржуазную (конституционную) демократию», основанную на правах отдельного гражданина⁵⁸. «Однако при современном порядке тайной по-

57. Об отношении Шмитта к политической мысли Вебера и особенно к плебисцитарному и харизматическому лидерству см.: *Mommsen W. J.* Max Weber and German Politics, 1890–1920. Chicago: University of Chicago Press, 1984. P. 381–389; *Slagstad.* Liberal Constitutionalism and Its Critics. P. 103–130; *McCormick J.* Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 135.

58. *Schmitt.* Constitutional Theory. P. 102–103, 127–132. Следовательно, как мы увидим, различие определяется формой присутствия «народа-суверена» в публичном пространстве. Плебс-демос характеризуется совпадением присутствия народа и мнения народа. Диархическая структура преодолевается моноархической природой коллективного суверена, который, однако, провозглашается существующим не в институциональной организации (как, например, у Сийеса), а в реальном собра-

дачи индивидуальных голосов он [индивидуум] именно в решающий момент превращается в частного человека. Тайна избирателя—это место, в котором происходит превращение демократии в либеральную защиту частного. В этом, возможно, заключена одна из *arcana* современной буржуазной демократии»⁵⁹. Противопоставление *arcana* и публичности выступало у него параллелью к противопоставлению *тайного голосования* и плебисцита.

Аргументы против тайного голосования были широко распространены в XIX веке, и не только среди критиков либерализма⁶⁰. Шмитт же упорно отстаивал открытое голосование в XX веке, причем не скрывал того, что цель здесь—отделить демократию от либерализма и противопоставить первую последнему. Этот проект, от которого он никогда не отказался, был связан с его радикально антилиберальным определением публики. «Такое равное право имеет смысл лишь там, где есть гомогенность», но это не означает, что «каждый взрослый человек, просто как человек, должен *eo ipso* иметь равные политические права с другим человеком»⁶¹. Следовательно, чтобы голосование стало гласом Народа, оно должно быть отделено от «лица» (отдельного гражданина) и превращено в публичное выражение воли масс⁶². Следовательно, центральную роль играет форма такого выражения.

нии людей, так что только «правление мнения» обозначает «демократию» (Ibid. P. 272–275). Анализ конституционной теории Шмитта см. в: *Kennedy E. Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar*. Durham, NC: Duke University Press, 2004. P. 119–153.

59. *Schmitt. Constitutional Theory*. P. 274.

60. Я анализировала этот феномен в связи со спором в Англии в середине XIX века в работе: *Urbinati N. Mill on Democracy: From the Athenian Polis to Representative Government*. Chicago: University of Chicago Press, 2002. P. 104–122.

61. *Шмитт К.* Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. Предварительные замечания. С. 12.

62. Отождествление народного суверенитета с массовой демократией было верно схвачено в работе: *Kalyvas. Democracy and the Politics of the Extraordinary*. P. 96–100.

В своих нападках на тайное голосование Шмитт выдвинул новую концепцию *публики*, которая уже не была завязана на индивидуальные права и предоставляемую ими защиту от злоупотреблений со стороны государственной власти. Эта публика, напротив, должна была обеспечить эстетическое, визуальное и театральное представление (*representation*) суверена. Следовательно, его критика была направлена не на *arcana imperii*, как в кантовской традиции публичности, а на приватность как индивидуалистическую трактовку суверенной власти (осуществляющуюся путем тайного голосования). Шмитт призывал к демонстративности ради того, чтобы устранить анархическую, противодействующую контрвласть, которую несло в себе индивидуальное избирательное право. Его ход был вполне рациональным, поскольку цель состояла в восстановлении государственной власти, а не в том, чтобы сделать правительство ответственным перед избирателями. «Вера в общественное мнение... дело скорее не в общественном мнении, но в общественности [публичности] мнения», — писал Шмитт в «Духовно-историческом положении парламентаризма»⁶³. Этот антилиберальный взгляд, основой которого была визуальность, а не формулировка идей и интересов в коммуникативной практике, которой заняты равные граждане, дает о себе знать и в современном плебисцитарном возрождении.

Шмитт разработал наиболее последовательное антилиберальное определение публики, отождествив ее с визуальным. В этом смысл его атаки на тайное голосование. Если в XIX веке критики тайного голосования (среди которых был и такой либерал, как Джон Стюарт Милль) видели в нем крайний упадок политической добродетели и возможность применения политической власти для частных интересов (или, как говорили последователи

63. Шмитт К. Духовно-историческое положение парламентаризма // Шмитт К. Политическая теология. Сборник. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 189.

Бентама, «дурных интересов»), Шмитт критиковал его с позиции, которая не имела ничего общего с гражданской или республиканской традицией, поскольку была озабочена, по существу, одним — *восстановлением авторитета государств*. Теологический догмат католицизма предоставил ему парадигму для осуществления своего плана.

Подобно католическим теологам в постреформационных спорах о догмате пресуществления и присутствии Христа в евхаристии, Шмитт утверждал, что суверенитет Народа составляет единство с его видимостью в плебисците: точно так же, как символ евхаристии является подлинным телом Христа, аккламация Народа является телом Народа. Форма и есть субстанция. Часть выступает символом, который открывает присутствие мистической сущности, не доступной для рационального осмысления⁶⁴. Если говорить о политике, то единства со своими частями Народ достигает не за счет дискуссии. Такое единство должно быть просто видно в действии, до всякой дискурсивной стратегии. Нет слов, которые могли бы передать то, что думает Народ, — как и в случае тайны плоти и тела Христова, которое стало хлебом⁶⁵. Символ должен служить откровением, а не объяснять. Используя терминологию Пьера Бурдьё применительно к шмиттовскому понятию суверенитета, мы могли бы сказать, что суверенитет во всех отношениях представляет борьбу за «выработку и навязывание единого взгляда всему миру»⁶⁶.

64. Интересный пример столкновения из-за интерпретации евхаристии и религиозных мифов в ходе следовавших за Реформацией споров см. в анализе образцового случая коллоквиума в Пуасси: *Nugent*. *Ecumenism in the Age of the Reformation*.

65. Источником шмиттовской аналогии суверенной власти и католической теологии был Жозеф де Местр, а также Доносо Кортес, две главные фигуры антимодернизма и антилиберализма в эпоху после Французской революции; см. в частности: *Шмитт К.* Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000.

66. *Bourdieu P.* In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology / M. Adamson (trans.). Stanford, CA: Stanford University Press, 1990. P. 133.

Следовательно, выборы должны не создавать дистанцию между гражданами и лидерами (при которой, как мы отмечали, становится осмысленным вопрос о подотчетности), а, напротив, служить их объединению, устранению любого различия. Выборы являются демократическими в той мере, в которой они упраздняют индивидуальное рассуждение. Контроль и ограничение в таком случае совершенно неуместны, поскольку символ тождественен материи, а не процедуре, посредством которой индивиды выдвигают свои интерпретации или интересы. Очевидно, что отвержение Шмиттом тайного голосования и замена последнего публичной демонстрацией голоса народа (*созерцанием* голоса на спектакле голосования) — вот локус наиболее радикальной антилиберальной формулировки публики в XX веке⁶⁷. Окуляр — вот что такое публика.

Публика в терминах Шмитта не означала «публичного интереса» или «общего интереса». Она означала форму проявления суверена. Она даже не предполагала власти, которая бы выступала противовесом государственной власти, склонной скрывать свои намерения и деяния. Шмитт противопоставлял публику-зрителя просвещенческой (и особенно кантовской) идее публичности государственной власти, выступающей против абсолютного государства. Просвещение использовало публичность, чтобы усмирить Левиафана. Шмитт же использовал ее, чтобы сделать Левиафана сильнее, а его власть — еще более бесспорной, ведь она должна была утверждаться голосом и обликом самих масс, а не быть результатом соглашения индиви-

67. Антитезисом к шмиттовской идее открытого голосования является, разумеется, теория Кельзена об электоральной демократии, которую он представил в спорах о Веймарской республике, а также, стремясь опровергнуть представление Шмитта о массовой демократии, в своей работе «Сущность и ценность демократии» (*Kelsen. The Essence and Value of Democracy*) — см. в частности главу 8 о «выборе лидеров».

дов. Следовательно, у Шмитта публика означала то, что было видимым или что делалось на публике. Ее противоположность — это *arcanum*, которое не имело никакого отношения к природе вопроса и в этом смысле не выступало противоположностью частных интересов как таковых: в действительности, если частный интерес мог получить поддержку плебсита, он тут же становился публичным. *Arcanum* означал не-сделанное-на-публике, скрытое или скрываемое.

Ключевое значение имела форма, а не содержание. То, что решил суверен, само по себе уже было публичным, и в этом моменте решения не может возникнуть суждений, у которых были бы основания задаться вопросом о содержании государственных решений, поскольку не существует нормативной позиции вне выраженного и видимого голоса суверена. Содержание того, что было сделано на публике, не имеет значения. Например, министры иностранных дел могут отстаивать государственные интересы в тайне, поскольку не хотят, чтобы их видели или слышали враги. Шмитт не стал бы возражать против *этих arcana*, как и против обширного списка самостоятельных решений, принимаемых исполнительной властью не на глазах у народа. Он исключал тайну лишь в выборах и в выражении мнения суверена.

В трактовке Шмитта тайное голосование выступало покровом приватизации, которым либерализм окружил демократию; оно предстало нарушением принципа публичности, который как раз предполагался народным суверенитетом. Следовательно, публичность означала не только и не столько легальность или же то, на что распространялось действие гражданских властей, становясь предметом санкционированных государственной юрисдикцией решений. Скорее, она означала действие суверена на открытой сцене, подобное в этом смысле публичным казням на площадях монархической абсолютистской Европы. «Публичную пытку следует понимать не только как судебный, но и как политический ритуал. Даже во второстепенных случа-

ях ее применения она принадлежит к церемониям, посредством которых власть показывает себя»⁶⁸. В анализе Шмитта народ уподоблялся толпе, которая при Старом порядке присутствовала на зрелищах наказания.

Дела вершились перед народом, и у него было впечатление (или иллюзия), что именно он является судьей — такова внутренняя логика визуального значения публики, которая открывает возможность скорее для пропаганды, чем для контроля или надзора, поскольку она не основывается на правах и свободах интерпретации и критики, требуя публичности не для защиты субъектов от произвола государственных решений, а чтобы показать и доказать авторитет публики. «Свобода выражения мнений — это свобода частных лиц», которая служит конкуренции на выборах, но не правлению публики⁶⁹. Следовательно, Шмитт атаковал тайное голосование именно потому, что оно влекло людей в сторону от видимой сцены — примерно так же, как современное государство перенесло судебный процесс в систему правосудия, подчинив ответчиков суждению, которое выносится за закрытыми дверьми, а затем публично зачитывается публично назначенными судьями в соответствии с публичными (то есть государственными) процедурами. Тайное голосование следовало той же траектории, что и концептуализация правосудия в XVIII веке: в кабине для голосования и в собрании присяжных суждение и индивидуальный разум действуют *внутри* (сознания или за закрытыми дверьми), *не на глазах* у публики, хотя их действие подчиняется публичным процедурам (заполнения бюллетеня и оглашения приговора). Чезаре Беккария и маркиз де Кондорсе (упомянем лишь двух теоретиков, внесших наибольший вклад в определение характера и процедур этих публичных

68. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. С. 71.

69. Шмитт К. Духовно-историческое положение парламентаризма. С. 193.

актов, а потом ставших мишенью для Шмитта) предложили понятие публики, на которое Шмитт обрушился со своей радикальной критикой. Беккария и Кондорсе отождествили публику с открытой дискуссией (следовательно, со свободой слова и прессы), а также с индивидуальным размышлением (а потому и равенством голов всех граждан), предположив, что такая публичность будет «самой действенной защитой от политического произвола»⁷⁰. Кант, как известно, заявил, что именно она является признаком современности и свободы: «Для этого просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях *публично* пользоваться собственным разумом»⁷¹.

Стремясь освободиться от идеи публичного использования собственного разума (то есть индивидуального суждения как основы общественного мнения), Шмитт набросился на тайное голосование, дабы представить суждение вопросом калькуляции, а его результаты — предметом суммирования. В этом смысле индивиды, осуществляющие свои политические права, действуют как частные лица, и только подсчет их решений является публичным. Содержание остается приватным, пусть оно и облачается в публичные одежды. Но именно это содержание Шмитт как раз и хотел сделать публичным, поскольку только таким образом голосование можно было бы очистить от связи с суммированием и сделать актом аккламации. Форма, которую мнение принимает в диархической структуре представительной демократии, стала проблемой, против которой Шмитт мобилизовал плебисцитарный консенсус.

Следовательно, по его мнению, форма присутствия (одевание) — вот то, что определяет природу акторов и их поступков. *Публичность как то, что делается*

70. Шмитт К. Духовно-историческое положение парламентаризма. С. 192.

71. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 8. С. 31.

на публике: именно одевание или форма наделяет политику содержанием. «Народ» как суверен мыслим только на публике. Следовательно, тайное и молчаливое голосование выступало гарантией частного индивида, позволяя ему протаскивать свои социальные или экономические интересы, а не гарантией власти Народа, которого попросту смещали в тот самый момент, когда граждане голосовали тайно и индивидуально. Народ как массу невозможно представить через волю и мнение индивидов, отправляющихся на голосование. Публичное явление и массы — вот два главных взаимосвязанных аспекта того, в чем, по мнению Шмитта, состоит демократия. С его точки зрения, если начать с понятия публичного, мы сможем увидеть парадокс представительной демократии, тайну как субстанцию суверена. Суверен становится *arcana*, не-видимой сущностью, которая получает признаки публичности благодаря конституционному закону и процедурам, регулирующим действия ассоциированных индивидов.

Шмитт склоняет нас к той мысли, что именно форма и способ действия суверена — вот главная характеристика режима. Если публичность как театральность — это форма политического, тогда плебисцитарная демократия — это наилучший вид демократии. Естественно, противоположностью демократии будет тогда не монархия или какие-то другие режимы, в которых власть принадлежит меньшинству. Ее противоположностью оказывается представительная демократия в ее парламентской форме, замещающая аккламацию избирательным правом и развивающая такое общественное мнение, которое стоит на индивидуальных правах и свободах, тем самым выполняя функцию информирования, познания, оспаривания и защиты интересов, а не эстетической реакции на публичное явление избранных лидеров⁷².

72. Действительно, Шмитт писал, что большевизм и фашизм противоположны либеральной демократии, а не демократии как таковой: Шмитт К. Духовно-историческое состояние современ-

Но, по Шмитту, демократия состоит в изгнании частного разума избирателя из общественного мнения, а вместе с ним и свободы. Мы должны учесть, что для него политика была обителью не свободы, а авторитета, а потому местом аккламации, а не разногласия, единства, а не разнообразия и множественности мнений.

Отождествление народа с публикой, предлагаемое Шмиттом, согласуется с определением демократии как «правления посредством общественного мнения», однако уже в совершенно ином (и я бы сказала — искаженном) смысле. «Никакое общественное мнение не может возникнуть путем тайного индивидуального голосования и сложения мнений изолированных частных лиц. Все эти методы регистрации — попросту вспомогательные инструменты, и в таком качестве они полезны и ценны. Однако они никоим образом не способны полностью охватить общественное мнение. *Общественное мнение — это современный тип аккламации*»⁷³. Конечно, никакой рациональный голос в таком взгляде на общественное мнение не предполагается, поскольку не допускается никакого индивидуального мнения. Общественное мнение по Шмитту — это не выражение мнений многих разных групп в публике, а народная поддержка лидера или режима, оказываемая путем аккламации и исключаящая разногласия, общественное мнение — это акт веры и идентификации.

Вопрос веры

Римская республика — это образец, который больше подходит для взгляда на массовую демократию как правление форума. Следовательно, парламентская де-

ного парламентаризма. Предварительные замечания. С. 14; ср.: McCormick. Carl Schmitt's Critique of Liberalism. P. 314; Scheuerman W. Carl Schmitt: The End of Law. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999. P. 251–255.

73. Schmitt. Constitutional Theory. P. 275.

мократия — это главный враг *демократии на публике и демократии публики*. С момента формирования современной демократии, то есть, как объяснял Шмитт, с плебисцитаризма Наполеона, существуют два противоположных взгляда на правление посредством мнения: согласно первому, решение, принимаемое голосованием, отделяется от мнений на форуме (диархия воли и мнения), согласно второму данное различие сохраняется, однако две этих области меняют свою форму и значение, особенно мнение, которое приобретает простоту народного выражения на форуме. Мнение более не выполняет той сложной функции, о которой мы говорили ранее, скорее, теперь его единственная функция — это визуальное подтверждение аккламации народа. «Подлинно собравшийся народ — это в первую очередь люди... Они одобряют, выражая свое согласие или несогласие простым выкриком, более или менее громкими голосами, прославляя лидера или предложение, чествуя короля или кого-то другого, либо отказывая в аккламации молчанием и порицанием»⁷⁴.

Таким образом, мы можем понять, почему, по мнению Шмитта, формой выборов в плебисцитарной демократии должна быть аккламация. Последняя является актом народного собрания, которое реагирует на определенное предложение, взгляд или факт, которые не являются производным или результатом самого этого собрания. Шмитт весьма откровенно говорит о том, что обращение с петицией или предложение по закону всегда являются делом меньшинства или даже одного человека. Однако неважно, как именно делается предложение. Народным его делает не участие народа в его составлении, а реакция народа на него: петиция, которая не получает одобрения народа, остается всего лишь частным фактом, тогда как получившая поддержку большинства становится, соответственно,

74. Ibid. P. 272.

публичной. С точки зрения позитивистского формализма Шмитта, именно победа большинства делает тот или иной вопрос публичным актом. Следовательно, народ не управляет, не представляет и не осуществляет какой-либо специфической политической функции: «Особенность слова „народ“ состоит именно в том, что действуют как раз *не должностные лица*», а народ, который простым «да» или «нет» санкционирует то, что эти должностные лица делают ⁷⁵. Народ — это масса, и он действует в качестве массы, неразличенного единства тождественных частей; его нельзя призвать к разуму, и он не может действовать так, как индивиды; его деятельность состоит в массовом санкционировании и массовой реакции.

Масса — вот, кто судит. Тот факт, что ее суждение является нерационализируемым типом присутствия (а не основой для сложения голосов, подобно интересам и предпочтениям), как раз и делает народ *en masse* единственным господином, абсолютным в своем произволе сувереном. Правление посредством мнений и воли, диархический характер непрямой демократии радикально меняют свой облик, дабы подстроиться под плебисцит как публичный «*fiat*». Одним словом, Шмитт радикализировал и сферу воли, и сферу мнения. Первую он сделал выражением одной-единственной процедуры — правила большинства, а вторую — выражением одной-единственной формы мнения, публичной демонстрации согласия.

В предыдущих главах мы отмечали, что собрание, проявляющее себя в аккламации, больше похоже на спартанское собрание, чем афинское; в действительности, оно похоже на римский форум и комиции. Его образец — это римский форум, ведь действие публики состоит в массовом высказывании своего мнения, и в то же время римские комиции, поскольку на та-

75. Schmitt. Constitutional Theory. P. 270–271.

ких собраниях граждане голосовали публично, вместе выкрикивая «да» и «нет» или поднимая руки в ответ на предложения, поступающие от должностных лиц. Не менее важен и мажоритарный характер плебисцитов. В Спарте и Риме, но не в Афинах, при подсчете оценивался голос большинства. В римских комициях подсчет останавливался, как только достигалось большинство, поскольку собрание должно было продемонстрировать мнение народа или большинства, а не зафиксировать каждое мнение⁷⁶. Если использовать жаргон Шмитта, плебисцит в противоположность «буржуазному» индивидуальному голосованию должен был продемонстрировать формальное значение голосования, которое на самом деле было выкриком или аккламацией, поскольку должно было сделать публичным не каждого индивидуума (не говоря уже о меньшинстве), а только большинство. Голосование, следовательно, имело значение не как выражение равных прав каждого, а как выражение включения всех в общую массу (*collective public*). Публичное голосование, противопоставляемое тайному, являлось упразднением индивида, его участия в формировании как мнения, так и решения. Действительно, в плебисцитарной демократии отдельный гражданин не имеет места или власти, он просто не существует. Фактически [в таком случае] в политике не остается места для мышления, поскольку, как я уже утверждала, оно сохраняет частный облик и частную форму суждения, осуществляясь в сознании индивида (и именно по этой причине Руссо требовал молчаливого собрания). Однако политика состоит в демонстрации мнений, в видимом представлении воли народа. Следовательно, в плебисцитарной демократии политика отличается врожденной иррациональностью, с которой тщетно пытается справиться арифметика подсчета голосов, тогда как плебисцит принимает ее и прославляет.

76. *Millar F. The Roman Republic in Political Thought*. Hanover, NH: University Press of New England, 2002. P. 18–22, 154–156.

Похожий аргумент недавно был выдвинут Лаклау, который выступил против интерпретации выборов, предложенной теорией рационального выбора. Как мы отмечали в предыдущей главе, Лаклау, уподобляясь теоретикам эпистемической демократии, выстраивает свою популистскую позицию, атакуя классический аргумент иррациональности и политической некомпетентности толпы. Как и указанные теоретики, он желает спасти демократическую политику от этого классического аристократического аргумента, время от времени воспроизводящегося в разном виде. Однако его ответ противоположный. Лаклау в своем анализе психологического влияния риторической политики на сознание индивидов, когда они действуют как масса, возвращается к классическому исследованию Гюстава Лебона о толпе. Он отвергает антидемократическую идеологию Лебона, однако сохраняет некоторые из ключевых тем его рассуждения. Собравшиеся вместе люди, утверждает Лаклау вместе с Лебоном, создают элемент иррациональности, новый и отличный от индивидуальной иррациональности, поскольку ему не может противодействовать рациональность каждого из индивидов, составляющих толпу, или же сумма индивидуальных мнений. Соответственно, Лаклау вместе с Лебоном ставит под вопрос «идеал», который был рожден вместе с представительным правлением, согласно которому «большое собрание людей способнее малого их числа прийти к мудрому и независимому решению по данному вопросу»⁷⁷. Даже если предположить, что каждый член толпы рационален, их совместное действие в качестве однородного целого определяет саму природу их решения — последнее является властным актом, которое не имеет ничего общего с суждением индивидуальной рациональности или иррациональности. Конечно,

77. *Le Bon G.* The Crowd: A Study of the Popular Mind / R. K. Merton (introduction). New York: Viking Press, 1960. P. 187; *Laclau.* On Populist Reason. P. 23–29.

этот новый тип иррациональности может быть поставлен на службу рациональным планам и целям, а потому в инструментальном плане быть вполне рациональным (например, когда лидеры ищут народной поддержки для своих явно непопулярных политических программ).

По существу, и в популистском, и в плебисцитарном мышлении защита толпы осуществляется не через утверждение ее рациональности и не совпадает с защитой наиболее информированных индивидов. Этим она отличается от эпистемической ревизии диархической демократии. Популизм и плебисцитаризм — это атака на парламентскую демократию, которая по своему смыслу противоположна критике теоретиков эпистемического подхода, поскольку основана на радикальном отвержении индивидуального суждения в политике. Однако разоблачение рационализма проводится не ради процедурной демократии и не для того, чтобы поддержать систему норм, служившую бы регулированию конфликтов и компромиссов в сценарии, который не может быть полностью рациональным и очищенным от иррациональности. Процедурная демократия признает и не исключает возможности того, что иррациональное — это часть политики, не порок, от которого надо освободиться, а источник энергии, которую процедуры направляют на создание решений. Для этого и нужна идеологическая партийность. Однако разоблачение рационализма, которым заняты плебисцитаристы и популисты, меняет отношение между сферой мнений и сферой воли. Действительно, с точки зрения процедурной позиции признание того, что при демократии мнение — это содержание политического дискурса, полностью совмещается с признанием того, что правомочная воля народа должна следовать правилам и процедурам, которые обеспечивают уважение к индивидуальному суждению, отражая его, хотя и не для того, чтобы очистить от иррациональных элементов. Именно поэтому демократические правила способны управлять темпоральностью политики, не подчиняя ее воле

большинства. Роль политических партий как промежуточных органов, опосредующих множественность политических мнений и их перевод во временное большинство, является ключевой. Но в плебисцитарных формах это не так. В действительности аккламация предполагает мнение того типа, которое говорит на языке мифа и пропаганды, а не аргументов и разногласий, то есть скорее провозглашает, чем голосует, идентифицируется с избранными лидерами, а не требует их подотчетности как представителей. Аккламация желает прямоты и упрощения, а не регулируемой темпоральности. Плебисцитарная политика завязана в большей мере на успех (завоевание большинства), а не на политический процесс, который лишь частично отождествляется с выборным большинством; она определяется победой лидера, скрепленной печатью народного согласия и поддержки.

Здесь мы можем сделать вывод из проведенного нами сравнения процедурной и плебисцитарной демократии. Последняя предполагает определенную форму народного согласия, которая противоположна голосованию как форме согласия, характеризующей избирательное право в представительной демократии. Причина, прежде всего, в том, что она поддерживает понятие Народа как чистого утверждения власти (театрального представления мнения), которое может оформлять или направлять внешний деятель. Трансцендентность, которую скрывает аргументация, отсылающая к Народу, — это теологический аспект шмиттовской теории массовой демократии, поскольку без оформляющего воздействия провозглашенного лидера власть Народа остается немой⁷⁸. Эта позиция резко расходится с либеральной, конституционной теорией демократии, которая провозглашает непротиворечивое и при этом

78. См. его защиту трансцендентности и атаку на имманентизм, вытекающий из представительного правления в: *Шмитт К. Политическая теология*. С. 75–79.

имманентное основание политической легитимности и власти. Процедуры сами дают форму голосам граждан. Различие двух этих взглядов на демократию огромно, поскольку, в то время как один прививает демократии понятие о политике как прославлении власти, второй признает несогласие (даже в толковании основополагающего договора) не только возможным, но даже и структурным условием демократической системы принятия решений. В авторитарном формате деятель, держащий в руках нити политики, остается внешним для самого народа, хотя плебисцитарная пропаганда и может убедить народ в обратном. Однако без безличных правовых инструментов (Вебер) или харизматичного лидера (Вебер и Шмитт) народ ничего не значит. По Шмитту, как и по позднему Веберу, лидер, на самом деле, — лучшее решение, поскольку он-то и является подтверждением внутренней иррациональности, свойственной массам⁷⁹. Это посылка политики веры или доверия, поиска некоего религиозного консенсуса, который может объединить лидеров и массы, положив конец конфликтной природе политики, которая в противном случае неминуемо приведет к гибели.

Кризис парламентской демократии

Лояльность и вера должны поддержать или восстановить власть и гармонию в стране за счет преодоления или замалчивания разногласий и конфликтов. Лояльность, то есть акт доверия состоит в активном проявлении поддержки или согласия с идеалами и планами власти, которая выступает объектом доверия.

79. Как пишет Битам, Вебер, который начинал в качестве марксиста и считал социальные классы основанием политических партий, закончил ницшеанцем, а потому государственную политику связывал в основном с великими личностями. См.: *Beet-ham*. Max Weber. P. 215–249.

Когда политика становится вопросом лояльности, веры и убеждения, личность лидера естественным образом представляется лучшим ориентиром, чем независимое обсуждение граждан. С другой стороны, формальные механизмы и процедуры, на которые опирается конституционная представительная демократия, предполагают такое поведение людей, которое обязательно остается в какой-то мере частным, а потому не исключает инструментальной рациональности и подсчета интересов. С процедурной точки зрения на демократию социальное никогда полностью не отбрасывается, хотя его проникновение в государственную сферу ограничивается правовыми сдержками, фильтрами таких опосредующих организаций, как политические партии, а потому подчиняется правилам парламентского обсуждения. И хотя избирательные кампании нацелены на создание доверия к кандидату или лидеру, процедуры должны разделять доверие и согласие, допускать недоверие и критику, дабы ни один выборный политик не получил такого доверия, которое бы позволило ему уйти от контроля (и новых выборов). Замена этических качеств лидера процедурами, а лояльности и веры в лидера — нормами и правилами процесса обсуждения стала важным вкладом конституционализма XVIII века в правления посредством мнения. С конца XIX века тот же момент превратился в главную мишень плебисцитаризма. Возрождение последнего в современной политике говорит о хроническом упадке партийной системы и парламентской демократии, который невозможно игнорировать.

Плебисцитарная демократия, отпавляясь от дуализма правовых ограничений и ограничений, налагаемых мнением, обращает внимание на радикальное противопоставление процедурного регулирования правления посредством мнения и видимого, внеконституционного проявления мнения народа. Эту стратегию разделяет и популизм, и плебисцитаризм. Их мишенью становится конституционная демократия — в силу ее индивидуалистической трактовки народного суверенитета (как изби-

рательного права) и одновременно из-за отождествления в ней политической свободы с институциональным опосредованием лидеров и общества, то есть в конечном счете с разделением властей. Но хотя представительная демократия заменяет доверие процедурами, причина не в том, что она считает доверие неважным. Выборы и представительство предполагают доверие. Но именно потому, что этические и психологические аспекты играют главную роль в избирательной политике, необходимо принять меры предосторожности и создать здоровое ощущение недоверия и сомнения, дистанции между гражданами и институтами или политическими деятелями⁸⁰. Из этого вытекает, что мнение, хотя именно оно делает власть публичной, вынося ее на обозрение публики, не является надежной контролирующей силой, если не выполнены некоторые дополнительные условия. К числу таких условий можно отнести значительный уровень свободы прессы и многообразие средств информации и коммуникации, без которых формирование доверия лидеру, нацеленное на завоевание народной поддержки, становится синонимом деспотического господства⁸¹.

В ключевом тексте, написанном в 1789 году, первый теоретик представительной демократии изложил некоторые из наиболее важных понятий, которые могут помочь нам понять значение плебисцитарного искажения. Кондорсе предложил провести различие между произвольной властью *де-юре* и *де-факто*, то есть между *прямым* деспотизмом и *косвенным*. В противоположность античной форме «прямого» деспотизма, косвенный облакает классическую форму господства («подчиненности произволу других») в новые формы, соответствующие

80. Это одна из тем работы Розанваллона «Контрдемократия».

81. По этому вопросу см. Шумпетера, который отнес плюралистическое общественное мнение и «значительный объем» свободной прессы к существенным условиям конкурентной борьбы за власть: Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy. P. 272.

правлению, основанному на мнении и рыночном обществе. Кондорсе не был удовлетворен индивидуалистическим характером классического определения деспотизма (которое в его времена преобладало среди «философов»⁸²), поскольку понимал, что любая самовольная власть должна опираться на определенный класс или элиту, которая поддерживает ее, гарантируя ее сохранение. Индивидуальное лидерство и индивидуальный деспотизм «существуют только в воображении», поскольку любому правителю нужно содействие определенного числа приспешников⁸³. Ключевое значение имеет отсылка к косвенности. Косвенность связывалась с таким деспотизмом, который действует посредством «влияния», совместимого с публичной сферой и свободой слова и собраний. Он может развиваться в свободном обществе, в котором социальные классы (определяемые привилегиями или благородством, экономической и финансовой властью, религиозными предрассудками и невежеством) обладают неравной властью, позволяющей влиять на закон. «Проще освободить нацию

82. *Condorcet*. On Despotism: Thoughts on Despotism (1789) // Political Writings. P. 163. В своей статье «Деспотизм» в «Энциклопедии» Луи де Жакур определил его как «тираническое, самовольное, устаревшее правление одного человека»; тот же централизованный на индивиде подход можно найти у Дидро, Гольбаха и Руссо. Ср.: *Krieger L.* An Essay on the Theory of Enlightened Despotism. Chicago: University of Chicago Press, 1975. P. 29–31.

83. *Condorcet*. On Despotism. P. 163. Теория Кондорсе нашла историческое подтверждение через несколько лет в цезаризме Наполеона, системе, которая опиралась на «множество хороших граждан», которые посредством его пожизненной власти пытались обеспечить себе стабильность, будучи классом, рожденным Термидором и обогатившимся в наполеоновских военных кампаниях; см.: *Woloch*. From Consulate to Empire. P. 39, 34. Похожий взгляд можно найти и у самого Вебера: «Опасность заключается не в массах... Наиболее глубокое ядро социально-экономической проблемы — это вопрос не экономической ситуации управляемых, а политической квалификации руководящего и восходящего классов». *Weber M.* The Nation State and Economic Policy // Political Writings. P. 26.

от прямого деспотизма, чем от косвенного», поскольку последний основан не на мобилизации, а на индивидуалистической разобщенности. Следовательно, косвенный деспотизм, по мысли Кондорсе, с большей легкостью произрастает в современных, основанных на территориальной организации государствах в силу географической концентрации масс в больших городах и центрах торговли, а также, добавляю я от себя, благодаря неожиданной помощи, оказанной массмедиа⁸⁴.

В странах, где институты опосредования немногочисленны, удалены от политики и более всего заинтересованы исключительно в осуществлении своих социальных целей, тогда как общественное мнение, в основном атомизированное, испытывает на себе сильное влияние телевидения (на что указывает пример многих современных демократий), открывается обширное пространство для лидерства, создаваемого плебисцитарными механизмами. Видеополитика способствует появлению политических аутсайдеров, которые захватывают внимание, разжигая эмоции, бередящие общественное мнение и выливающиеся в консенсус избирателей, имеющий решающее значение для завоевания власти: эфемерное становится верным способом пробиться к государственной власти. Если к тому же механизмы, контролирующие лидеров, немногочисленны и слабы, а их действие существенно ограничено, так что остается разве что возможность смещения лидера на следующих

84. Описывая два типа деспотизма, Кондорсе охарактеризовал косвенный деспотизм следующим образом: «Однако деспотизм янычар является исключительно косвенным. Нет никакого особого закона или установленной традиции, согласно которым султан должен повиноваться их воле. В некоторых странах люди, живущие в столице, осуществляют косвенный деспотизм; в других руководители страны отказались от своей независимости в пользу имущих классов; последние заставляют [правительство] назначать министров, которые получают их одобрение, а нация в таком случае подчиняется деспотизму банкиров». *Condorcet. On Despotism*. P. 164–165.

выборах, тогда риски плебисцитарной демократии, как актуальные, так и будущие, становятся довольно значимыми⁸⁵.

Если судить по современным исследованиям и политике, риски, порождаемые этими трансформациями, понимаются все меньше и меньше.

Плебисцитарный ренессанс смыкается с реалистской трактовкой политики, которая намеревается разоблачить идеологию демократической автономии, откровенно заявляя, что в политике народ играет роль всего лишь поддержки и визуальной проверки для лидера, за которым он желает наблюдать издалека. «Если традиционные демократические теории, ориентированные на идеал автономии, пытаются вручить Народу власть над средствами законодательства, плебисцитарная демократия пытается со всей откровенностью передать ему *власть над средствами публичности*», которая, однако, «является негативной, поскольку предполагает лишение лидеров их господствующего положения, а не наличие Народа, который сам бы точно определял, как должна проходить публичная презентация»⁸⁶. Исследователи Вебера среагировали на его воодушевленную интерпретацию плебисцитарной демократии, предложив использовать его рассуждения как негатив, то есть для того, чтобы выявить «риск харизматически-авторитарного переворота плебисцитарно-демократической власти»⁸⁷ и привлечь к нему внимание. Этот риск определяется внутренней нестабильностью плебисцитарной демократии, поскольку коронование посредством народной аккламации дает лидеру сильный стимул нарастить, а не ограничить свою власть. Лояльность и доверие не являются поэтому надежными стратегиями ограничения власти, зато могут стать не-

85. Pasquino G. Plebiscitarismo // Enciclopedia Treccani (перевод мой. — Н.У.).

86. Green. Eyes of the People. P. 14.

87. Mommsen. Age of Bureaucracy. P. 19.

обычайно богатыми ресурсами поддержки лидера. Поскольку плебисцитарный лидер напрямую обращается к настроениям и эмоциям людей, он стремится к постепенному накоплению власти, если его не ограничивают сильные противовесы в конституции и институциональной конструкции, которые работают независимо от мира мнения, если, другими словами, не признается диархическая структура демократии.

Американское возрождение плебисцитарной демократии

После Вебера несколько поколений исследователей — начиная с Моски и Сартори и заканчивая Линцем и Акерманом⁸⁸ — предлагали рассматривать США в качестве успешного примера умеренного плебисцитаризма, поскольку они являют собой пример реалистического, прагматического взгляда на демократию и одновременно президентской системы, которая, опираясь на отношения с массами, выстроенные снизу вверх, создает для энергичной исполнительной власти больше возможностей, чем лишенная верховного руководства парламентская демократия. Недавно было опубликовано несколько работ, в которых предлагается весьма патетическая интерпретация плебисцитарной политики как оживления демократического правления, которому противопоставлена идеология конституционных сдержек и противовесов, а также безвольное подчинение исполнительной власти Конгрессу и представляемым им интересам, то есть в конечном счете противопо-

88. Mosca G. The Ruling Class / A. Livingston (ed. and rev.), H. D. Kahn (trans.). New York: McGraw-Hill Book Company, 1939. P. 487; Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 86–9; Ackerman B. We the People: Transformations. Cambridge MA: Harvard University Press, 1998. Vol. 2. P. 135–136, 388–389. См. по этому вопросу классическую работу: Linz J. J., Stepan A. (eds.). Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1978; Linz J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000.

ставляется сам парламент как центр представительной демократии. И если прошлые поколения исследователей демократии (в традиции Шумпетера) использовали теорию элит для выражения неудовлетворенности функциональностью теории демократии или для порицания правления меньшинства, не обращающего внимания на провозглашенный триумф масс⁸⁹, современные плебисцитарные теоретики отмечают и одновременно превозносят роль лидера в демократии⁹⁰, перекладывая вину за кризис власти на конституционный легализм и парламентскую политику⁹¹.

Вера в популярность

Эрик А. Познер и Эдриен Вермель предложили в своей книге «Исполнительная власть без границ» описание актуального политического курса и трансформации баланса властей в американском государстве — описание, которое одновременно стремится стать рецептом для американской демократии. «Бытие» сливается с «долженствованием». Авторы сетуют на то, что дуализм, противостояние правовых ограничений и ограничений политического мнения вредит эффективности политических решений во времена тяжелых испытаний, например войн или международной нестабильности. Они критикуют «мэдисоновскую модель» республики, заявляя, что «либеральный легализм доказал свою неспособность создать эффективные сдержки исполни-

89. Как писал Ч. Райт Милс, теоретики, которые решили, что массы вот-вот одержат победу, ошибались, поскольку в наше время влияние масс уменьшилось, а когда кажется, что какое-то влияние у них все же есть, ими «дирижируют», так как они не совершают никакого автономного публичного действия. См.: Mills C.W. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1957. P. 309.

90. Green. Eyes of the People. P. 17–29.

91. Posner E. A., Vermeule A. The Executive Unbound: After the Madisonian Republic. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 60–61.

тельной власти»⁹². Также они обсуждают диархический характер представительной демократии, дабы показать, что для свободы он в большей мере представляется проблемой, чем гарантией сохранения. Делиберативные институты вместе с бюрократическими цитаделями, созданными за годы существования социального государства, признаются ответственными за паралич решений и угрозу национальным интересам. «Законодатели не столько обсуждают, сколько ведут переговоры, в основном следуя партийной линии»⁹³. По утверждению авторов, чрезвычайные обстоятельства в международной политике со всей ясностью показывают нищету и слабость коллективного, лишенного руководства подхода к политическим решениям. Эта проблема столь же стара, как конституционно-представительное правление, но именно Шмитт приписал ей новое значение. «Когда возникает чрезвычайная ситуация, законодательные органы, действующие в условиях дефицита времени, экспертных знаний и институциональных сил, обычно сталкиваются со следующим выбором: не делать вообще ничего или передать новые полномочия исполнительной власти, чтобы та справилась с кризисом»⁹⁴.

Познер и Вермель стремятся сократить роль легалистических ограничений и усилить другой тип ограничений: со стороны общественного мнения, которое представляется более надежной силой, поскольку его можно мобилизовать для надзора и контроля официальной власти, не ослабляя при этом ее эффективности в принятии решений. И если легалистические сдержки и противовесы настолько связывают политического деятеля, что он становится слабым и перестает действовать, общественное мнение с его требованием прозрачности — лучший источник контроля, поскольку

92. Ibid. P. 7.

93. Ibid. P. 42.

94. Ibid. P. 8.

благодаря ему правительство становится активнее, берет на себя больше ответственности, чем в том случае, когда оно было робким и скованным ограничениями. В эпоху, когда международные конфликты угрожают национальной безопасности и самому имиджу нации, Познер и Вермель поднимают на щит идеи Вебера и Шмитта, которые также занимались вопросами патриотической чести и национальной гордости. Подобно своим немецким учителям, современные плебисцитаристы разоблачают парламентский стиль политики, компромиссную игру, изнурительные споры, которые обессиливают правительство, лишая его мужества. Военный и экономический кризис выявляет бессилие умеренного либерализма, превращая чрезвычайное положение в рутинную политику, которая требует от конституционных демократий «передать обширные полномочия исполнительным и административным органам, которые повсеместно считаются более пригодными для задач, требующих быстрого и непосредственного действия»⁹⁵. Этот аргумент приобрел большую популярность и в Европе в связи с финансовым кризисом, который за несколько недель смел несколько выборных правительств и заменил их техническими исполнительными органами, которые парламенты поддержали едва не единогласным вотумом доверия. Чрезвычайное экономическое положение подорвало ход парламентской политики и саму диалектику большинства и меньшинства, показав при этом, что демократии, лишённые лидеров, все же могут иметь сильную исполнительную власть, не становясь президентскими или непосредственно плебисцитарными.

Познер и Вермель считают делиберативную и представительную демократию отнимающей массу времени и «неприспособленной» для быстрых и серьезных решений. Сильная президентская власть или цезаристское управление более способны поддерживать сильный

95. *Scheuerman W. Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time.* Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2004. P. 124.

децизионизм, сохраняя при этом народную поддержку. Ограничения, обусловленные переизбранием, и необходимость появляться перед публикой, привлекая ее внимание, считаются наиболее эффективными и, по сути, достаточными методами, заставляющими исполнительную власть действовать в интересах страны, не ставя под угрозу демократию. «Действительно, чем больше становится власть президента, как за счет делегирования и других механизмов *де-юре*, так и за счет ослабления надзорных институтов, тем важнее популярность и доверие, находящиеся в фокусе внимания публики к президентской власти»⁹⁶. Следовательно, поскольку главная цель средств информации и коммуникации состоит в признании и пропаганде интересов нации, они в большей мере стремятся воодушевлять или создавать положительно настроенную публику, доверяющую системе, чем порождать несогласие. В результате массмедиа становятся естественным ресурсом демократии зрителей, поскольку они по самой своей природе подталкивают людей идентифицироваться с идеалом национальных интересов и при этом задают горизонт публичного дискурса посредством постоянного производства информации, из-за которого кажется, что эти интересы всегда еще только оформляются⁹⁷.

Много лет назад Никлас Луман объяснил, что массмедиа задают стандарт приемлемого и неприемлемого, а потому порождают фоновую реальность (одновременно фактуальную и нормативную), которая ограничивает мнения люди, не оказывая на них непосредственного принудительного воздействия⁹⁸. Кроме того, аутопой-этическая структура массмедиа делает их автономной стабилизирующей системой контроля, которая даже более эффективна, чем традиционная правовая систе-

96. Posner, Vermeule. Executive Unbound. P. 11–12.

97. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 129–130.

98. Там же. С. 104.

ма. Отправляясь от похожих посылок, Познер и Вермель противопоставляют мэдисоновской либеральной республике плебисцитарную президентскую республику. «Даже между выборами президенту нужны и популярность — чтобы получить политическую поддержку своего курса, и доверие — чтобы убедить других в том, что его утверждения о фактах и причинах верны, а его намерения добропорядочны»⁹⁹. Их оптимистический взгляд на публичную роль медиа, похоже, ведет к недооценке того, что «у газет и телестанций мало стимулов следить за политиками и государственными деятелями в постоянном режиме, по каждому конкретному вопросу и каждой проблеме. Подобные отчеты просто перегрузили бы те способности по обработке информации, которые есть у *частных* граждан, составляющих массовую аудиторию. Публика желает „новостей“... Если они хотят новостей, политики и государственные деятели дадут им новости»¹⁰⁰. Дополнительный риск, связанный с видеополитикой, заключается в том, что она превращает президентские выборы в «крайне рискованное событие»¹⁰¹.

Плебисцитарная демократия приписывает общественному мнению одну-единственную функцию — формирования популярности президента и доверия к правительству. У нее две основных составляющих: прямая связь между лидером и публикой, позволяющая зарабатывать или увеличить популярность и сформировать доверие, и усиление роли лидера за счет роста его независимости от правовых ограничений — роста, поддержанного народом. *Суждение*, получаемое от народа, конкурирует с системой правового контроля. Несмотря на то, что к любой аналогии следует подходить с предельной осторожностью, не будет преувеличени-

99. Posner, Vermeule. Executive Unbound. P. 13.

100. Ackerman. We the People: Foundations. P. 249.

101. Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 134.

ем распознать в этой критике либерального конституционализма отзвуки веберовского неодобрительного отношения к расхолаживающим правовым ограничениям, навязанным Рейхстагом государственной власти, то есть в конечном счете увидеть в этом предложении правления, завязанного на исполнительскую власть и коренящегося в популярности, отзвук веберовского призыва к цезаристскому лидеру, одобряемому плебисцитом¹⁰². В действительности Познер и Вермель радикальнее, чем можно было бы решить по этим аналогиям, поскольку они отсылают к авторитету Шмитта и его концепции диктаторского лидерства, нигде не цитируя Вебера.

Поставив под вопрос республиканскую тиранофию, авторы «Исполнительной власти без границ» завершают свое восхваление сильной плебисцитарной исполнительной власти, указывая на анахронизм негативных мифов о римском Цезаре или Кромвеле времен английской гражданской войны — мифов, которые вдохновляли американских отцов-основателей. По сути, их противником становится традиция конституционализма XVIII века. Так, если Кондорсе предупреждал о том, что из согласия избирателей может родиться новая форма деспотизма, Познер и Вермель уверяют нас в том, что тирания — это риск, оставшийся в прошлом. Если Кондорсе считал, что рыночная экономика и общественное мнение способны привести к новым формам господства, они, напротив, полагают, что эти современные силы освободили нас от риска тирании. Познер и Вермель утверждают, что сложность, естественным образом создаваемая рыночной экономикой, и постоянный поток информации, приводимый в движение современной системой формирования мнения, не оправдывают тревожных ссылок на античных тиранов, которые в качестве примера использовались

102. Weber. Parliament and Government. P. 160–166.

конституционализмом XVIII века. «Современные президенты и так достаточно ограничены, но не древними статутами или даже Конгрессом и судами, а тиранией публики и (особенно) мнением элит. Каждое действие тщательно проверяется, утечки от чиновников исполнительной власти образуют полноводный поток, журналисты враждебны уже в силу своих профессиональных обязанностей, а потенциальные злоупотребления быстро становятся достоянием общественности... Современные президентские системы и более подотчетны, чем их предшественники, и с большей готовностью отвечают на перемены в настроениях элит и в массовом мнении... В этом смысле президенты всегда находятся под самым пристальным вниманием публики»¹⁰³. Поскольку получать политическую информацию в современной экономике значительно проще и поскольку у богатого, образованного и имеющего досуг населения есть время и технические возможности следить за действиями президента и государственными институтами, может показаться, что люди в наши времена приобрели способность контролировать своих лидеров, не ослабляя их. Создание публичной сферы мнения, обеспечиваемой рынком и медиатехнологией, похоже, позволяет современной республике быть плебисцитарной без риска выродиться в тиранию.

Демократия без автономии

Второй вклад в возрождение плебисцитаризма в политической теории, который я собираюсь проанализировать, еще более важен для темы демократии как правления посредством мнения, поскольку он склоняет к радикальному пересмотру понимания демократии и самой плебисцитарной позиции. Согласно этой новой трактовке, предлагаемой Грином, плебисцитарная

103. Weber. Parliament and Government. P. 201–202, 204.

демократия отражает визуальную трансформацию власти мнения, являющуюся результатом технологической революции средств информации и коммуникации, начавшейся в XX веке. Грин заменяет плебисцитарные массы, выкрикивавшие имя вождя на переполненных площадях фашистской Европы, «глазами Народа», требующими от лидеров и других высоких чиновников «появляться на публике в условиях, которые сами они не контролируют»¹⁰⁴. При плебисцитаризме 1930-х годов лидер контролировал толпу посредством хорошо выстроенной пропаганды; в современных видеодемократиях толпа (вкус аудитории) контролирует лидеров, делая публичными их поступки.

В отличие от Познера и Вермея, Грин не заинтересован в отстаивании центральной роли исполнительной власти, противопоставляемой законодательной (хотя это неизбежный результат плебисцитаризма); он, скорее, желает перестроить отношение между властью воли (решений, голосования, выборов и выражения согласия или несогласия на публичном форуме) и властью мнения и суждения (надзора и контроля), дабы переопределить значение и роль Народа, а потому и политической автономии, являющейся наиболее важным принципом демократии.

Опираясь на веберовскую интерпретацию плебисцитаризма (и при этом симпатизируя шмиттовской теории публики), Грин предполагает, что вождистская демократия, которая, родившись в начале XX века, затем сгинула из-за дурной репутации, которой ей стоили тоталитарные режимы, неминуемо снова возродится и в действительности уже является «формирующейся теорией, которой, правда, еще предстоит окрепнуть»¹⁰⁵. Причина в том, что эпоха телевидения и широкого распространения интернета способствовали восстано-

104. Green. *Eyes of the People*. P. 207.

105. Ibid. P. 120.

лению демократии в изначальной, по мнению Грина, форме, а именно в виде режима, основанного на прямом отношении масс к лидерам. Опять же, основанное на принципе индивидуализма обоснование политической легитимности, то есть суверенность гражданина — это наследие XVIII века, которое Грин критикует.

В традиции антидемократической мысли, начавшейся еще с Жозефа де Местра, который объявил атаку на демократию во имя сильного индивида-суверена, монархическая поправка к принципу политического равенства использовалась для доказательства неспособности обычных людей эффективно действовать в качестве коллектива, лишенного верховного руководства. Стоит вспомнить о том, что Фукидид изобразил афинскую демократию в ее гегемонический момент в виде княжества, представив такое отношение между лидерами и массами, которое стало парадигмальным в теории элит и плебисцитарной демократии. В традиции Монтескье (которая вскоре была возрождена Гегелем) Эммануэль-Жозеф Сийес считал монархию этическим институтом, воплощавшим в себе нацию, освобожденную от частных интересов ее членов, и служившим образцом для политики как профессии, поскольку он определялся доблестью, честью и компетенцией, а не просто амбицией и корыстью¹⁰⁶.

106. *Sieyes E.-J. Pour ma dispute avec Payne // Les Manuscrits de Sieyes: 1773–1799 / C. Faure (ed.). Paris: Honore Champion, 1999. P. 445.* «Следовательно, монархия... создается, чтобы сохранить равенство того рода, которого невозможно достичь в республике; она выступает действительным ограничением неравенства, поскольку говорит вам, что, какой бы высокой позиции вы ни достигли, интерес общества всегда будет выше вас. В этом случае существует лишь легальное неравенство, неравенство между всеми и каждым по отдельности; оно представлено личностью принца. Это превосходство не должностного лица, а чисто личное неравенство, единственное неравенство». Вместе с Руссо Сийес говорил: «Нам нужен принц, чтобы избежать риска и зла, возникающих будь у нас господин» (*Ibid.* P. 421.).

Грин возрождает парадигму демократического княжества и корректирования элитой правления большинства, но при этом лишает ее антидемократического смысла, утверждая, что лидерская демократия — наиболее последовательная фигура народного правления. Демократия без демагогов становится не столько плохой, сколько ослабленной демократией. Как мы уже отмечали ранее, с точки зрения традиции, созданной великим историком Рима Вольфгангом Моммзенем, Вебер объяснял причины величия Афин величиим их лидера и его гармоничными отношениями с демосом. «Перикл, как человек, пользовавшийся величайшим уважением сограждан за свой пронизательный ум и несомненную неподкупность, управлял гражданами, не ограничивая их свободы и не столько поддавался настроениям народной массы, сколько сам руководил народом.... По названию это было правление народа, а на деле власть первого гражданина»¹⁰⁷. Это представление о демократии имело значительный успех во второй половине XIX века в связи с усилением критики парламентской демократии и нашло сильного союзника в лице Вебера, чьими величайшими героями были, как уже отмечалось, Цезарь и Перикл¹⁰⁸. «Однако важные решения в политике, особенно в демократиях, принимаются *отдельными людьми*, и это обстоятельство неизбежно означает, что массовая демократия — на протяжении всей своей истории начиная с Перикла — должна была платить за свои успехи значительными уступками цезаристскому принципу выбора лидеров»¹⁰⁹. Сегодня плебисцитарное видоизменение демократии определяется тех-

107. Фукидид. История. Л.: Наука, 1981. С. 92.

108. Momigliano A. The Classical Foundations of Modern Historiography, Sather Classical Lectures. Berkeley: University of California Press, 1990; Romilly J. de. Problèmes de la démocratie grecque. Paris: Herman, 1975; Canfora L. La democrazia di Pericle. Roma-Bari: Laterza, 2008.

109. Weber. Parliament and Government. P. 222.

нологией: интернет и трансформация политического языка под воздействием упрощенной подачи информации и легковесной рекламы отмечают собой упадок политики как обсуждения и подъем политики как формирования лидеров. В этом смысле Грин убедительно доказывает, что плебисцитарная демократия вполне может оказаться нашим ближайшим будущим.

Плебисцитарная демократия смыкается с популизмом, доказывая возрождение римского стиля политики и в современных практиках, и в теоретическом анализе, — особенно идеала откровенности (или *candor*, от которого происходит слово «кандидат») и публичной демонстрации лидера народу на форуме, который судит его, а потому и роли народа как аудитории, которая визуальнo контролирует внешний вид и действия лидера¹¹⁰. Эта модель форума, как мы увидим далее, довольно существенно меняет стиль политики, поскольку основным чувством политического участия становится зрение, а не слух. Из этого Грин делает, однако, достаточно неожиданный вывод: трансформация публичного мнения в сторону визуальности повышает защищенность плебисцитаризма от возможных злоупотреблений со стороны лидеров. Действительно, если прямая демократия античных республик заставляла народ идентифицироваться со словами своих лидеров, массмедиа естественным образом создают определенную дистанцию, которая сама является причиной более надежного отношения между народом и лидерами — отношения, состоящего в критической поддержке.

Подобно Познеру и Вермелю, Грин выражает полное доверие ограничительной силе рыночной экономики и современной информационно-коммуникационной системы, которые представляются двумя условиями, позволяющими большому диверсифицированному об-

110. Green. *Eyes of the People*. P. 130. Неслучайно римские пьесы Шекспира «Кориолан» и «Юлий Цезарь», фигурируют у Грина в качестве образцовых документов плебисцитарной теории.

щество функционировать в качестве единой системы, не нуждающейся в большей степени инкорпорации и социально-культурной гомогенности. Кроме того, указывается, что телевидение, выводя на первый план зрение, а не слух, способствовало очищению мнения масс от любой претензии на рациональность, на которую опиралась власть убеждения, используемая ораторами. В эпоху телевидения идеология прогресса, родившаяся в XVIII веке, едва ли может сохраниться. Видеодемократия утверждает тот факт, что политика масс относится к области эстетического и театрального, а не когнитивного или делиберативного, то есть она вообще не имеет ничего общего с рациональностью. Этот пункт имеет ключевое значение.

Телевидение, как объяснил Луман, это главный контраргумент на теорию публики, как она сформировалась в XVIII веке, поскольку «чем большую роль играет при этом „воспринятое“, то есть телевидение, тем активнее коммуникация опирается также и на имплицитное знание, которое даже невозможно представить в коммуникативной форме»¹¹¹. Эстетическая функция публики как зрителей должна указывать на то, что участие в наблюдении осуществляется без намерения зрителей использовать воспринятое ими в качестве того, что может подвигнуть их на действия. «Наглядное знание» невозможно контролировать субъективно, поскольку то, что зрители получают совместно (одни и те же образы), определяет не только их, но и сам способ восприятия вещей. «Если Просвещение еще исходило из того, что общность состоит в коммуникативном интересе разума», коммуникация посредством массмедиа превратилась в процесс зрительской идентификации¹¹². Следовательно, публика как зрители — это публика, идентичность которой состоит в суждении, соответ-

111. Луман Н. Реальность массмедиа. С. 129.

112. Там же.

ствующем актуальной моде, в которой субъективная точка зрения становится обременительным признаком анахронизма. «*Homo sapiens* является или развился в читающее животное, способное на абстрагирование... *homo videns*, животное, созданное телевидением, чей разум оформляется теперь не понятиями и абстрактными ментальными конструктами, а образами. *Homo videns* просто „видит“... его горизонт ограничен образами, на которые ему дают посмотреть, следовательно, если *homo sapiens* имеет право сказать совершенно невинную фразу „я вижу“, которая означает „я понимаю“, *homo videns* видит без понимания»¹¹³. Но если это так, с чем, видимо, соглашается Грин, неясно, как публика-зритель со столь скудным критическим потенциалом могла бы выступать контролирующим органом.

Грин доказывает, что вместе со своей когнитивной ролью публичная сфера мнения в новой системе медиа теряет также и свою политическую роль, поскольку, как я буду объяснять далее, она не повышает способности граждан к самоуправлению и не превращает их в мобилизующуюся массу, которая претендовала бы на суверенную власть. С точки зрения Грина, теоретики эпистемической демократии (а также делиберативисты) и популисты в равной мере заблуждаются. В соответствии с эстетической функцией форума, публику, чтобы она была политической, не нужно вдохновлять на участие в политике. Она является политической, пока позволяет людям навязывать своим лидерам необходимость быть на виду, и в этом *образы* эффективнее слов. Поскольку видимость, а не понимание, является оружием контроля, видеополитика — система контроля, которая даже эффективнее голосования. Кроме того, образы дают больший эффект эгалитаризации, они демократичнее слов. Предлагаемая Грином параллель между двумя формами, ориентированной на логос

113. Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 148.

и ориентированной на зрительное восприятие, интересна и убедительна, кроме того, она содержит немалый потенциал для общества вроде нашего, то есть общества, основанного на образах, и, более того, сконструированного из образов и визуального контроля за далекими лидерами.

Дурная сторона риторики определяется тем, что она основана одновременно на речи и разуме («логос» — греческое слово, обозначающее и то и другое), а потому целеполагание ораторов становится совершенно произвольным и непроверяемым фактором, ведь ее невозможно продемонстрировать зрителям. Грин выступает против слов и за примат зрения, утверждая, что слова и слух сосуществуют с системой непрозрачности власти (хотя и реагируют на нее); этим может объясняться, почему «публика» родилась вместе с большими государствами, которым были нужны централизованные системы организованного поведения и информирования, и вместе с видеотехнологией. Соответственно, как указывает Грин, демократия непосредственного общения обычно менее прозрачна, чем медиадемократия, поскольку основана почти исключительно на словах или речи, а риторика предполагает скорее сокрытие, чем прозрачность. Однако как только политика начинает действовать на форуме, основанном на образах, намерения или даже манипуляции оратора не могут слишком долго оставаться незамеченными: рано или поздно они попадут на глаза людям и получают отпор. Грин считает, что максима Макиавелли, согласно которой хороший лидер должен говорить, не имея в виду сказанного, лучше работает в политике, не основанной на образах, поскольку последняя не требует того, чтобы действия лидера публично демонстрировались. Однако образы фатальны для популярности (и сокрытия) — в гораздо большей степени, чем слова. И хотя лидеры во все времена и во всех странах испытывают искушение манипулировать согласием людей, шансов на успех у них больше именно тогда, когда они исполь-

зуют слова. В конце концов, образы гораздо доступнее зрителям, чем слова. Лидеры чувствуют влияние моды так же, как и все остальные, поэтому власть образов эгалитарнее, а ее ограничительная способность — эффективнее.

Грин желает разоблачить риторику делиберативной демократии, согласно которой голос, диалог и слово представляют форму демократического участия в процессе принятия решений. Он, напротив, утверждает, что откровенность и плебисцитарная демонстрация личности лидера аудитории — вот более демократичный механизм, хотя он и не пробуждает желания участвовать в политике. В действительности теория делиберативной демократии с ее склонностью к абстрактной схоластике скрывает тот простой факт, что меньшинство правит, не давая большинству никакой реальной возможности повлиять на политическую игру, поскольку игра политики выходит за пределы нормы обсуждения. Тогда как плебисцитарная политика начинается с признания этих простых фактов и желает сделать так, чтобы «те, кто обладают непропорционально большой властью и авторитетом в демократии, в каком-то смысле были обязаны выплачивать публике *компенсацию* за эту привилегию»¹¹⁴. Демократия зрения признает и принимает наличие дисбаланса во власти между управляемыми и управляющими, но подчиняет его норме сделок: *do ut des* («даю, чтобы ты дал»/«ты мне, я тебе»). Иначе говоря, она обменивает автономию граждан на публичность лидера, навязываемую ему тогда, когда он пытается отделаться словами¹¹⁵.

Демократия зрения претендует на нормативное значение, и сравнение взгляда и слова наиболее важно

114. Green. *Eyes of the People*. P. 26.

115. «Элементарный политический процесс — это воздействие одного ума на другой посредством речи», а не образов. *Jouvenal B. de. Sovereignty: An Inquiry into the Political Good* // J. F. Huntington (trans.). Chicago: University of Chicago Press, 1957. P. 304.

для его понимания. Риторика ответственна за создание большей пассивности под предлогом развития знания и разумной аргументации в публичном дискурсе. Кроме того, она более систематично, чем визуальное представление, нарушает принцип равенства. Пример красноречия, похоже, подтверждает аргументы Грина. Публичная убедительная речь нацелена на многих, она требует равенства в некоем базовом потенциале, например, в способности выносить моральные суждения, но не требует каких-то специальных интеллектуальных навыков, знаний или умений¹¹⁶. Публичное использование слов не предполагает прямого ответа или обмена в диалоге: аудитория оратора, подобно аудитории актера, играющего на сцене, по большей части расположена слушать, а не говорить. Фактически красноречие не может существовать без аудитории, а захватывающие внимание слова важнее логических выводов, поскольку эстетика может привести в движение чувства. Следовательно, аудитория играет важную роль, поскольку определяет качество аргументов и поведение ораторов¹¹⁷. Соответственно, Платон в «Государстве» сравнивал красноречие с поэзией потому, что оно предполагает наличие аудитории и благожелательного отношения между автором или оратором и читателем или слушателем¹¹⁸. Но его цель — повлиять на волю представителей аудитории, тронув их чувства и подогрев их решимость действовать, а не сделать их равными участниками или наделить способностью к контролю.

Переворачивая идею, составляющую ядро лингвистического обоснования делиберативной демократии,

116. *Perelman, Olbrechts-Tyteca. The New Rhetoric. P. 14–19.*

117. *Ibid. P. 24.*

118. *Платон. Государство, 605a–607d. Т. 3. С. 402–405.* Если «красноречие слушают, поэзию подслушивают», — отметил примерно в том же духе Милль в своих «Размышлениях о поэзии и ее разновидностях» (*Mill. Thoughts on Poetry and Its Varieties (1833) // Collected Works. Vol. 1. P. 348, 363.*)

Грин приходит к выводу, что слова защищают людей от вмешательства и манипуляции не больше образов, они не обеспечивают большего политического участия и не являются более эгалитарными. В целом нет, по-видимому, причин полагать, что публика слов составляет более качественную демократию, чем публика образов. Сравнение становится еще более убедительным, если рассмотреть способность этих двух форм демократической публики к контролю. Хотя плебисцитарная демократия начинается с допущения неравенства в отношениях между политическими лидерами и взглядом обычных граждан, она допускает «корректирующую» стратегию, в отличие от делиберативной демократии, которая делает из демократии философский идеал (определяемый нормативными ценностями автономии, взаимности и универсальности), однако не может ничего сказать о том, как на самом деле работает демократия. Разрыв между реальностью и идеалом приводит к неэффективности и незащитности делиберативной теории демократии.

«Корректирующая» стратегия, предлагаемая плебисцитарной демократией, не имеет своей целью усиление власти народа или противопоставление одной позитивной власти (участия) другой (решению). Напротив, она основывается на той идее, что открытие *arcana* равноценно их освобождению от элемента произвольности, который состоит в секретности. Грин полностью согласен с Шумпетером в том, что решение остается у немногих, поскольку оно не может быть сферой неорганизованного большинства. Однако затем он отдает «Народу» ту власть, которой нет у меньшинства, а именно власть разоблачения. Средство против неизбежного дисбаланса власти, конститутивного для политики (и демократия — не исключение), предоставляется властью «негативного типа, то есть властью, которая налагает особое визуальное бремя на избранное меньшинство, кому дано право представлять других своими голосами, обсуждать общественные вопросы с дру-

гими членами элиты и принимать реальные решения». Откровенность требует «дополнительного бремени, которое должны нести публичные фигуры», уравнивания зрителей и тех, за кем они наблюдают, в чем-то важном, в публичной демонстрации их поступков или в визуальной власти¹¹⁹.

Грин превозносит демократический, эгалитарный потенциал взгляда, ссылаясь помимо прочего на экзистенциальный аспект контроля и действия, который навязывается лидеру зрителем. Несмотря на неприятные и зачастую извращенные следствия, которые может иметь политика взгляда, определенно то, что она приводит к прямому столкновению зрителей и зримых, а это, в противоположность слуху, есть еще одно эгалитарное следствие. Дисциплинарная власть взгляда признает «зрителя в качестве того, кто способен занимать положение власти по отношению к тому индивиду, которого он видит»¹²⁰. Парадигма зрителя, предложенная Бентамом и Фуко, в которой власть увеличивается пропорционально невидимости, поддерживает гриновскую модель демократии зрителей, в которой у масс есть та же самая всемогущая невидимость, что и у охранника в тюрьме, чья архитектура спланирована так, чтобы его присутствие было невидимым (Бентам, которого Шмитт назвал «фанатиком либеральной рациональности» из-за его защиты представительного правления, предложил наделить силой суждение народа — примерно так же, как зрителя тюрьмы, поскольку публичное мнение он определил как «власть суда»)¹²¹.

119. *Green. Eyes of the People. P. 23.*

120. *Ibid. P. 11.*

121. *Шмитт К. Духовно-историческое положение парламентаризма. С. 192.* «Публика составляет суд, который сильнее всех других судов, вместе взятых. Индивид может делать вид, что не обращает внимания на его решения, представляя их в качестве производного изменчивых или противоположных мнений, уничтожающих друг друга; но каждый чувствует, что, хотя

Смещая власть суждения народа от слов к зрению, Грин желает сделать «суд мнения» действительно эффективным и полагает, что революция средств информации и коммуникации подкрепляет его аргументы, поскольку возвращает Народу его настоящую функцию, которая состоит не в действии (масса, как показал Вебер, не может действовать без лидера), а в наблюдении и суждении. Плебисцитарная демократия перестраивает диархическую структуру, создавая двух акторов: народ как множество избирателей (с идеологиями, интересами, намерением и желанием бороться за власть) и Народ как безличное и совершенно бескорыстное единство, которое наблюдает за игрой политики, устанавливая публичность. Участие граждан в политике минимально, оно состоит в электоральном выборе элиты. Реальное место Народа — это форум, в котором, однако, он не занят формированием мнений, поскольку его форма — не множественность интересов или точек зрения, а, скорее, анонимная масса зрителей. Народ — это верховный контролер, который «просто наблюдает», но «не выигрывает», поскольку не участвует в конкурентной политической игре, являющейся уделом немногих¹²².

суд этот и может заблуждаться, он непогрешим; он постоянно стремится стать более просвещенным; он объединяет в себе мудрость и справедливость нации; он всегда определяет судьбу публичных фигур; наконец, наказание, которое он налагает, неотвратимо. Те, кто негодуют на его суждения, обращаются к нему же; а добродетельный человек, оспаривая сегодняшнее мнение и поднимаясь над общим шумом, втайне рассчитывает на голоса ему подобных, взвешивая их». *Bentham J. An Essay on Political Tactics, or Inquiries Concerning the Discipline and Mode of Proceeding Proper to Be Observed in Political Assemblies... // The Works of Jeremy Bentham published under the superintendence of his Executor, John Bowring (1843). Elibron Classics Series. Boston: Adamant Media Corporation, 2005. P. 310.*

122. Green. *Eyes of the People*. P. 29.

Цена публичности

На то, чтобы стать публичным лидером в плебисцитарной демократии зрителей, должно уходить много средств, ведь такая высокая стоимость — единственный ресурс контроля, имеющийся у аудитории. Цена, которую лидер должен платить за получение инструментов государственной власти, состоит в отказе от значительной части своих индивидуальных свобод. Лидер целиком и полностью в руках народа, поскольку он постоянно у него на глазах. Это и есть «дополнительное бремя, которое несут публичные фигуры», навязываемое плебисцитарной демократией зрителей. Предложение Грина выглядит привлекательным, поскольку, бесспорно, конкурирующие за власть должны понимать, что они не располагают той же негативной свободой, что и обычные граждане, и не могут на нее претендовать. Больше власти — значит больше ответственности и, следовательно, меньше возможности скрыться. Политическая власть желает заполучить кольцо Гига, то есть способность быть невидимым и делать то, что другим не под силу¹²³. Тайна — базовое достояние частной жизни индивида, однако она может стать неприемлемым препятствием, если речь идет о публичных фигурах. Конечно, основные права министра или премьер-министра защищены так же, как у любого другого человека;

123. Чрезвычайно интересные размышления о секретности и непрозрачности как бесценном благе для человека и новом риске, проистекающем из навязчивого стремления к информированию, технологиям наблюдения и опознания, см. в: *Kateb G. On Being Watched and Known // Patriotism and Other Mistakes. New York: Yale University Press, 2004. P. 93–113.* О сферах, в которых публичность ценна или, наоборот, имеет ограниченную ценность, см. работу: *Gutmann, Thompson. Democracy and Disagreement. P. 95–127;* о возможностях, предоставляемых публичностью в демократическом государстве, см: *Bobbio. Il futuro della democrazia. P. 85–113.*

однако чтобы доказать, что в его частной жизни нет ничего скрытого и что он законопослушен, может потребоваться дополнительный досмотр. В подобном случае доверие не возникает *ex ante*, как карт-бланш, оно требует реального подтверждения фактами. В действительности выдвижение на политический пост — свободный выбор кандидата, и результат такого выбора сочетает в себе почет и обременения.

Когда Грин восхваляет превращение лидера в объект визуального внимания, меньше убеждает его уверенность в том, что, если вывести лидера на сцену, его власть будет в большей мере ограничиваться и проверяться, а публика, по существу, сможет заменить конституцию в функции ограничения власти, достигнув тем самым цели большей демократизации политики, ведь публика меньше подчинена контролю со стороны недемократических институтов. Однако «стремление политиков надеть социально приемлемую маску не исчезло с приходом современной демократии»¹²⁴, и довод Грина в пользу контролирующей власти публики-зрителя представляется неубедительным и необоснованным. Он строится на абстрактных рассуждениях о роли публики как зрителя, которые, судя по всему, опровергаются реальным опытом.

Премьер-министр Сильвио Берлускони постоянно был на глазах у медиа, которые вмешивались в его жизнь, но не столько для того, чтобы разоблачить его незаконные действия, сколько для удовлетворения публики, жаждущей скандальных новостей, что, в свою очередь, создало рынок скандалов, ограничив общественное мнение форматом таблоидов¹²⁵. Хотя частная

124. Green. Eyes of the People. P. 29.

125. См. интересное исследование политики скандалов в: *Dirks N. Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2006. В нем утверждается, что подогревавшиеся медиа моральные скандалы в Британской империи в XVIII и XIX веках в действи-

жизнь премьер-министра проходила на глазах у народа, это не привело ни к контролю, ни к ограничению его власти; более того, это не заставило его хоть в чем-то изменить свою жизнь. Отягощающим фактором было, конечно, то, что Берлускони владел или управлял шестью национальными телестанциями, но это не единственная причина превращения итальянской демократии зрителей в пассивную демократию, которая вряд ли могла его контролировать. Действительно, более важным фактором, чем собственность на средства информации, является сама империя визуального и инфляция образов, благодаря которой зрение в значительной мере теряет возможность служить средством контроля.

Парадокс превознесения эстетического фактора общественного мнения в ущерб пониманию и участию в формировании политического суждения состоит в следующем: не учитывается то, что образы — это источник суждения, которое оценивает вкусы, а не политические или моральные факты. Вкус, как объяснил Кант, стимулирует, а не сдерживает риторические потенции зрения, и при этом он изолирует, не способствуя коммуникации. Действительно, хотя можно «рассуждать о вкусе», невозможно «спорить о нем», поскольку в области вкуса невозможно выйти к какой-либо понятийности, которая бы лежала за пределами такого спора. Самое большее, мы можем *верить* в то, «что должна быть надежда прийти к взаимному согласию», и работать ради этой надежды. Вкус — это субъективное мнение, и он вряд ли может быть инструментом достижения взаимного согласия зрителей. Напротив, у гипотетического суждения (или воображения, выражаясь в терминах Канта) есть силы и способность возбуждать волю, заставляя наш разум разрабатывать стратегии, которые могли бы привлечь согласие: «Должна быть наде-

тельности служили, скорее, для поддержки и оправдания проекта империи, а не для его критики (см. особенно р. 87–132).

жда на возможность прийти к согласию; таким образом можно рассчитывать на основания суждения, которые имеют значимость не только для отдельных людей и, следовательно, не только субъективны, а этому прямо противоположно приведенное выше основоположение: *у каждого свой вкус*»¹²⁶. Идеология — это детище гипотетического рассуждения и воображения; она заставляет нас представлять будущее, дабы мобилизовать нашу волю к такому действию в настоящем, которое способно это будущее осуществить. Выдвижение идеологических объяснений — рациональное поведение в такой области, как политика, которая имеет дело с обращенным к будущему поведением и с решениями, благодаря которым нечто должно случиться. Однако каков результат действия образов и вкуса? «Конечный итог таков: приоритетами телевидения стала сенсация, кадр (удачный образ) и рейтинги (максимально широкая аудитория)»¹²⁷. Предсказуемым результатом оказывается информация, которая сама по себе несколько не усиливает способность суждения.

Гегемония визуальности может увлечь публику в прямо противоположном от заявленного Гринем направлении. Аудитория не контролирует лидера, но подсказывает ему, что он должен, а что не должен делать, чтобы заручиться расположением людей (и это не обязательно совпадает с интересами общества) и, по сути дела, сформировать их положительное мнение. Более того, империя визуального неизбежно подрывает силу и стиль политического дискурса. Итальянский опыт подтверждает этот диагноз, поскольку в годы правления Берлускони, который фактически был плебисцитарным лидером демократии зрителей, вопросы политическо-

126. Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: в 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 4. С. 180. Ср.: Steinberger P. J. The Concept of Political Judgment. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 138–153.

127. Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 149.

го диалога диктовались логикой коммерческого маркетинга и публичности. Политические вопросы, контролируемые массмедиа, вычеркивались из публичного дискурса просто потому, что не были привлекательными для телестанций и зрителей¹²⁸. Парадокс тотальной видеопубличности или «дополнительного бремени», возложенного на публичные фигуры, состоит в том, что политические решения остаются невидимыми и неразоблаченными, поскольку они почти всегда непривлекательны для эстетического вкуса и противостоят стремлению к зрелищности, присущему телевизионной толпе. Итальянские граждане почти ничего не знали о том, что делают выбранные ими политики, — и именно в этом состоит цена, которую они заплатили за превращение во всемогущую аудиторию зрителей, вскормленную информацией, которая должна была впечатлять людей образами, пробуждающими сострадание или страх. «Поэтому результат воздействия массмедиа, а может быть, и их функция, видимо, состоит в воспроизводстве непрозрачности на основе прозрачности, в воспроизводстве *непрозрачности воздействия* на основе *прозрачности знания*»¹²⁹. Следовательно, если сделать жизнь лидера видимой, превратить ее в предмет зрелища, это может привести к новой форме непрозрачности, прикрывающейся мнимой публичностью.

Пример Италии доказывает, что трансформация политики, которая основывается теперь уже не на партийных программах, а на аудитории, не только ослабила власть Народа, но на самом деле лишила его способности наблюдать, открыв больше возможностей для кор-

128. Комментируя внебрачные похождения президента Клинтона, которые занимали американскую публику половину его второго срока, Гутман и Томпсон верно заметили, что качество обсуждения было бы меньше «дискредитировано, если бы мы меньше говорили о частной безнравственности официальных лиц». См.: *Gutmann, Thompson. Democracy and Disagreement*. P. 124.

129. Луман Н. Реальность массмедиа. С. 160.

румпирования политической сферы. Много лет назад Алессандро Пиццорно истолковал парадокс, выявленный подобной трансформацией, в качестве признака упадка политического языка и суждения, а также его замещения языком и суждением субъективной нравственности и вкуса. Приоритет символов перед программами, личности лидера перед коллективом сторонников партии отражает приоритет моральных качеств перед политическими в формулировании гражданином политического суждения. Политические добродетели (рассудительность, компетентность и т. д.) в упадке, и на первый план выходят личные добродетели (эстетические, сексуальные и т. д.). Неизбежным результатом таких перемен оказывается рост коррупции, поскольку то, что должно быть предметом общественного внимания, не столь интересно зрителям и медиаэкспертам, как личность лидера. Политика становится более профессиональной в том смысле, что превращается в деятельность, которая существует благодаря скрытым коммуникациям. В действительности зрительский плебисцит способствует коррупции¹³⁰.

В чем смысл наблюдения?

Наделение Народа исключительно визуальной властью не дает ему никакой гарантии того, что он увидит самое важное, то есть дела правительства и политиков, на которые обществу стоило бы взглянуть¹³¹. Чтобы мнения были публичными, недостаточно распространить их в публичке; необходимо также, чтобы они относились к «публичным вещам», к *res publica*, а суждение о таком отношении — и есть то, что граждане вырабатыва-

130. Pizzorno A. Il potere dei giudici: Stato democratico e controllo della virtù. Roma-Bari: Laterza, 1998. P. 45–63.

131. Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 149–50.

ют свободно, когда участвуют в формировании своей воли и суждений в качестве именно граждан, а не просто зрителей¹³². И для этого им нужно не только наблюдать, но и делать кое-что еще: участвовать в движениях, собраниях и выборах; сообщать своим представителям о своих проблемах и интересах; спорить с ними; голосовать за них и снимать их своими голосами с должностей. При этом определенный факт становится публичным не только благодаря содержанию и тому, кто выводит его на публику, но и благодаря форме, в которой он дан. Граждане участвуют в формировании публики, когда побуждают государство делать то, что, по Канту, оно должно делать, а именно выносить свои действия на суд граждан, дабы они оценивались по принципам публичного использования разума, представляющего собой равенство в обсуждении и свободе. Публичное использование разума граждан требует, чтобы действия государства были публичными. Но с чего начинается публичность публичного деяния? С того ли, что такое деяние существует в форме плана, задуманного политиками¹³³, или же с того, что оно начинает обсуждаться в публичных институтах, например в законодательном собрании¹³⁴?

132. Sartori. *Theory of Democracy Revisited*. Vol. 1. P. 87.

133. См.: Walzer M. *Political Action: The Problem of Dirty Hands* // *Philosophy and Public Affairs* 1973. Vol. 2. P. 160–180; Nagel T. *Ruthlessness in Public Life* // *Public and Private Morality* / S. Hampshire (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1978. P. 75–91.

134. Этот вопрос особенно важен, когда дело касается религии: как религиозное убеждение должно проникать в публичную сферу? Должны ли граждане всегда переводить свой частный религиозный взгляд на язык публичного разума? См. в частности: Rawls. *The Idea of Public Reason Revisited*; Habermas J. *Religion in the Public Sphere* // *European Journal of Philosophy*. 2006. Vol. 14. No. 1. P. 1–25; Статья Хабермаса недавно была переиздана с небольшими изменениями под заглавием «Когнитивные предпосылки „публичного использования разума“ религиозными и светскими гражданами»: Habermas J. *Cognitive Presuppositions for the 'Public Use of Reason' by Religious and Secular*

Комментируя кантовскую максиму публичного разума, Норберто Боббио поставил следующие вопросы: если сокрытие правительством своих действий само по себе допускает, что они являются основанием для скандала, тогда «что именно составляет скандал?» и «в какой момент скандал рождается?». В какой мере то или иное деяние должно демонстрироваться публике, чтобы можно было считать, что оно осуществляется на глазах у народа? Иными словами, ни одно решение не может быть принято полностью прозрачным образом, особенно когда, как в демократии, индивидуальная свобода является принципом, который руководит политическим поведением (не только частным), поскольку именно благодаря этому условию можно достичь компромисса и соглашений между разными партиями и интересами¹³⁵. То, как публичные деяния становятся публичными (когда? в какой форме? посредством какого рода образов? и т. д.), — вопрос не прозрачный.

Ответ плебисцитарной демократии, похоже, никоим образом не устраняет непрозрачность: «Откровенность полезна, поскольку она направлена на разрешение задач второго рода, распространяясь не на политические программы, по которым выносятся законодательное решение, а на лидеров, которым дано право принимать законы»¹³⁶. Визуальная власть Народа воздействует на личность лидера, а не на политический курс. Благодаря этому она составляет новое слово в плебисцитаризме. «Президентские дебаты, публичные расследования и пресс-конференции» — всё это стратегии визуальной демократии, которая, по существу, состоит в «наблюдаемости» поведения¹³⁷. Однако, как убедительно до-

Citizens // Between Naturalism and Religion. London: Polity Press, 2008. P. 114–147.

135. *Bobbio*. Il futuro della democrazia. P. 93.

136. *Green*. Eyes of the People. P. 203.

137. *Ibid*. P. 203, 200.

казал Луман, непрозрачность предполагается самой парадигмой публики как тотального зрителя: «Именно в силу того, что развлечение предлагает себя извне, оно — как когда-то мифические рассказы — стремится активировать пережитое самим адресатом, его надежды, опасения, им забытое»¹³⁸. Публика как зритель стимулирует идентификацию и симпатию, то есть два феномена, которые вряд ли способствуют развитию установок на критику и контроль.

Следовательно, хотя визуальная трансформация публики порождает «постоянное присутствие» публики, это, скорее всего, не то присутствие, которое способно контролировать. Видеть больше и видеть постоянно — не обязательно значит видеть всё и видеть то, что важно увидеть, чтобы вынести суждение о лидерах или привлечь их к ответственности за их решения. Но главное — это, вопреки мнению Грина, не значит, что граждане получают больше власти, чем при голосовании на политических выборах. «Плебисцитарный подход к демократической реформе ценен именно тем, что он лишает привилегии как специфический акт голосования, так и общую концепцию рядового гражданина как последней инстанции принятия решений»¹³⁹. Однако выборы, которые являются противоположностью «постоянного присутствия», могут сместить неприятного лидера с его поста; тогда как, с другой стороны, наблюдение за лидером путем получения информации и образов, поставляемых каждый день массмедиа и пресс-агентами, внушает гражданам чувство бессилия, если только визуальная демократия не понимается в качестве инструмента более значительного участия в политике или даже слома обычной политики. Однако, по Грину, не на это должен быть нацелен народ при плебисцитарном режиме, поскольку аудитория

138. Луман Н. Реальность массмедиа. С. 94.

139. Green. *Eyes of the People*. P. 199.

должна подменить собой участие в политике, а не вдохновлять к нему¹⁴⁰.

В этом пункте возникает вопрос: поскольку предполагается, что Народ является исключительно аудиторией зрителей, у которой нет никакой роли в принятии решений (она есть лишь у меньшинства), какой ему смысл наблюдать? Если лишить людей «способности создавать нормы и законы», публичная сфера будет играть чисто эстетическую роль, влияние которой состоит больше в развлечении, чем в контроле. Утверждение, согласно которому «в современной демократии правят *меньшинства*», следовало бы поэтому дополнить тем, что они правят после того, как их выбрал народ. Поскольку визуальная демократия не включает участие или «волю» в определение Народа, она лишается цели или, говоря точнее, не имеет иной цели, кроме наблюдения. Диархия воли и суждения — вот что делает народ демократии источником контроля, поскольку она предполагает структурную коммуникацию между политическим действием и политическим суждением (регулируемую процедурами и конституционными нормами, а исполняемую такими опосредующими ассоциациями, как партии и организации гражданского общества). Эта диархия искажается, если воля отдается меньшинству, определяющему процедурную и институциональную игру (в качестве избранной элиты), а суждение — народу, но лишь в форме визуального и эстетического.

Таким образом, я бы предложила перевернуть плебисцитарный аргумент и подчеркнуть то, что, возможно, быть на глазах у народа — это хитрая стратегия, используемая лидерами или просто медиаэкспертами для сокращения народного контроля над властью лидера, когда не выполнены определенные условия, относящиеся не только к регулированию его появления на публике. Как мы недавно отмечали, Грин указывает на то, что гла-

140. Green. *Eyes of the People*. P. 28.

ве исполнительной власти или президенту, чтобы подчиниться визуальной власти народа, достаточно проводить регулярные пресс-конференции, а кандидатам — участвовать в открытых и честных дебатах на телевидении, то есть в целом превратить политическую арену в битву гладиаторов. Эти события, как он полагает, согласуются с идентичностью народа как единства, которое не расколото на части по партийному признаку. Выборы выносят вердикт большинства и отражают партийные битвы. Они суть средства в руках политических групп, а не процедура, которую демократический суверен использует для создания, контроля и ограничения государственной власти. В толковании Грина, выборы и уполномочивающий голос не относятся к компетенции Народа, которая сводится к одному — наблюдать и судить с позиции, которая находится над партийными взглядами и не имеет никакой деятельной цели. Политический суверенитет народа исчезает. Суверен — это всего лишь аудитория¹⁴¹. Эстетический и театральный публичный форум замещает и политическую, и делиберативную функции.

Демократия зрителей

Утверждалось, что видеополитика отмечает завершение эпохи гражданина массового общества, трансформацию, последствия которой еще не вполне нам очевидны, поскольку «телевидение приступило к переделке нашей жизни», теперь и интернет вносит свой вклад в эти перемены¹⁴². Согласие с этим фактом служит введением к новой теории демократии, созданной «с учетом специфических патологий и дисфункций», вызванных технологиями массовой коммуникации и особенно интернетом, хотя ее цель и не заключается в поиске средств

141. Ibid. chap. 7.

142. Sartori. Comparative Constitutional Engineering. P. 148.

от этих патологий и дисфункций¹⁴³. Демократия зрителей знаменует признание упадка идеала политической автономии. В своей классической работе о массовом обществе Уильям Корнхаузер много лет назад поставил вопрос о том, как мы можем различить хороший и плохой плебисцитаризм при демократии, в которой массы играют роль воспринимающего движителя лидерства. Корнхаузер предложил ответ, который и сейчас остается значимым (и тревожным): ключевой фактор, на который мы должны обратить внимание, состоит в том, как именно лидеры относятся к массам и другим лидерам. В плебисцитарной политике фактор контроля привязан к личности лидера, а не к процедурам и институтам. Точкой отсчета для суждения о том, какой у нас плебисцитарный лидер — плохой или хороший, становится характер этого лидера, то есть случайность или условие, которое аудитория вряд ли способна контролировать. Демократия зрителей — это политика, открытая случайностям.

Это подтверждается аргументом Грина о том, что откровенность и прозрачность — единственные стратегии сдерживания, которые есть у нас в массовой демократии. Однако откровенность и прозрачность невозможно в полной мере реализовать посредством институтов и норм (не считая случаев явного нарушения основных прав на неприкосновенность частной жизни и индивидуальную свободу слова). Следовательно, хотя, как я уже говорила, ответственность перед аудиторией предполагает то, что у лидера меньше прав на частную жизнь, его согласие демонстрировать свою жизнь аудитории в основном зависит от его морали или благоразумного расчета — либо его собственного, либо его команды¹⁴⁴. Следовательно, возрождение плебисцитаризма

143. Green. *Eyes of the People*. P. 5.

144. Удивительно, что Грин считает готовность лидера расстаться со своим правом на личную жизнь ключевой чертой политического контроля и надзора. Ведь более вероятно то, что рост

подтверждает диагноз, поставленный Корнхаузером массовому обществу, которое в силу упадка гражданственности легко поддается на манипуляции и мобилизуется¹⁴⁵. Кроме того, как постоянно предупреждали нас авторы либеральной традиции начиная с Милля или Токвиля и заканчивая Уолтером Липпманом, «массовый человек» уязвим не только перед лидерами, но и перед самими массами. На эти предупреждения Грин отвечает, что в силу сложной системы зависимости вся власть демократической массы состоит в мнении, которое к тому же постепенно трансформировалось в образы и визуальное внимание. Благодаря массмедиа за правительством постоянно следят люди, которым, чтобы действовать в качестве суверена, не нужно добиваться еще и участия в политике. Плебисцитарная демократия завершает трансформацию политического народа в публику, выполняя обещание создать правление, основанное на мнении, то есть правление, которое стоит на негативной власти суждения, форме политического участия, которая желает скорее сдерживать, чем принимать решения, не стремится осуществлять какие-либо планы и не слишком озабочена проблемой делегирования полномочий. Власть зрителя — это единственная власть, которая остается у Народа, и, более того, это единственная сдерживающая власть.

Массмедиа и электронные системы прямой коммуникации оказывают беспрецедентную поддержку демократии зрителей, обуславливая крушение различия и опо-

публичного внимания к личной жизни лидеров и их частым делам питает видеократию, опирающуюся на бесконечные развлеченя и культуру знаменитостей, которая не имеет ничего общего с надзором над политическими решениями и *arsana impetii*, остающимися за закрытыми дверями. И наоборот, неясно, почему правильно работающие институты публичной прозрачности должны требовать публичной демонстрации частной жизни политиков.

145. Kornhauser W. The Politics of Mass Society. Glencoe, IL: Free Press, 1959.

средования между частным лицом и гражданином¹⁴⁶. Исчезновение всеобщего актора (или фикции политической идентичности граждан) означает то, что само суждение меняется, все более соответствуя точке зрения и специфическим вкусам отдельного человека, все чаще выступая прямой реакцией на события или факты, которые человек наблюдает. «Не существует гражданина, который беседует с другими гражданами в интернете»¹⁴⁷. Как указал еще несколько десятилетий назад Липпман, совершенство демократии публики соответствует созданию мира, в котором не будет точки отсчета, внешней для разума и жизни частного человека, а потому не будет и какой бы то ни было перспективы удостоверения фактами¹⁴⁸. Мир, созданный массмедиа, — это самодостаточный мир, тотальная и единственная реальность. По Липпману, это, в общем-то, и не мир коммуникации, поскольку благодаря новым инструментам взаимодействие между отправителями и получателями образов исключается. И именно это прерывание прямого контакта гарантирует высокий уровень свободы медиа, а получатели, как предполагается, становятся просто пассивными реципиентами¹⁴⁹. Однако вследствие этого, скорее всего, меняется значение публичности и публичной сферы, подрывая идею Бентама о публике как судье. Следовательно, диархия воли и суждения дает публике власть, поскольку включает определенную регулятивную идею (гражданин как идентичность, принадлежа-

146. См. превосходную, пророческую работу Лоуренса К. Гросмана: *Grossman L. K. Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age*. New York: Penguin Books, 1995.

147. *Becker B., Wehner J. Electronic Networks and Civil Society: Reflections on Structural Changes in the Public Sphere // Culture, Technology, Communication: Toward an Intercultural Global Village / C. Ess, F. Sudweeks (eds.)*. Albany: State University of New York Press, 2001. P. 74.

148. *Lippmann W. The Public Philosophy*. New York: Mentor Book, 1955. P. 22–24.

149. *Луман Н. Реальность массмедиа*. С. 10.

щая всем в равной мере и не тождественная социальной реальности частного лица), благодаря которой суждение само становится «публичным» актом, ведь это качество, которым каждый гражданин умеет пользоваться и посредством которого можно оценивать правильность государственных действий и решений.

Как мы отмечали ранее, Шмитт дал новую интерпретацию плебисцитарной демократии, соотнеся ее с изменением понятия «публика», которая теперь уже не определяется в юридическо-нормативном смысле (относящемся к гражданскому государству), а означает нечто выставленное напоказ или существующее в театральном смысле (как совершаемое на глазах у других). Эта точка зрения на публику возвращается в современном плебисцитаризме. Воскрешение идей, определявших критику парламентаризма в Германии начала XX века, — интересный признак нового и весьма тревожного тренда в теории демократии. Возможно, наиболее важным документом по этому направлению является книга Бернара Манена, посвященная представительной демократии. Главная тема книги Манена — диагноз упадка партийной демократии и возникновения демократии публики, в которой доверие к лидеру и готовность согласиться с требованием наделить исполнительную власть полномочиями действовать по собственному усмотрению сочетается с изменением в организации политических выборов, в которой большую роль теперь играют уже не партийные лидеры и активисты, а эксперты по коммуникации. «Демократия зрителей — это правление *медиаэкспертов*»¹⁵⁰, или, как отмечает Грин, дополняя диагноз Манена, превознесение власти визуального. Хотя при партийной демократии выборы по большей части основывались на тех аспектах политики, которые связаны с речью и волей (главным показателем народного суверенитета выступало участие

150. Manin. Principles of Representative Government. P. 221.

в политике), сегодня искусство политики определяется через появление на публике. В одном случае главную роль играют слова, споры и конфликт идей и интересов, а в другом — откровенность и прозрачность, поскольку органом народной власти выступает «скорее взгляд, а не решение, тогда как критическим идеалом народной власти становится откровенность, а не автономия»¹⁵¹. Демократия зрителей по Манену — важный и изобретательный шаг к трактовке политического участия как пассивного созерцания.

У Манена не было намерения развивать это направление. На самом деле его диагноз основывался на той мысли, что зрительская аудитория — это суверенный судья, а потому он поддерживал традиционную идею, утверждающую, что согласие и дискуссия существенны для легитимности, но само по себе суждение не является признаком самоуправления. Таким образом, Манен толковал переход от партийной демократии к демократии зрителей как упадок суверенной власти народа, поскольку речь идет о лишении граждан власти принимать решения. Когда раньше люди голосовали за партии с определенными платформами, они применяли свое суждение к будущей политике; их голоса не просто выражали доверие к личности того или иного видного деятеля, как это было на заре представительного правления, когда фигурой представительства выступали такие кандидаты. В партийной демократии имидж кандидата не заменял собой ожидания избирателей, в отличие от ситуации в плебисцитарной демократии, где выборы проходят на основе такого имиджа, а отсылка к программам и платформам почти полностью лишается значения. Отсюда следует, что сама подотчетность становится бессмысленной, ведь у избирателей нет никакой власти над политическими программами и вопросами, причем даже во вре-

151. *Green. Eyes of the People.* P. 15.

мя избирательной кампании. Конечно, Манен оценивал этот переход от обсуждения и участия к присутствию и наблюдению как признак «недуга», а не усовершенствования. Собственно, в конце книги он приходит к достаточно мрачному выводу: «Как кажется, представительное правление более не идет по пути к народному самоуправлению»¹⁵².

Но стоит только отказаться от оценочного суждения Манена о переходе от партийной демократии к демократии зрителей и принять последнюю в качестве свершившегося факта, как станет ясно, что нормативный сценарий меняется. Как утверждает Грин, последовательная созерцательная позиция требует окончательного преодоления «гегемонического статуса голосовой модели» и связанной с ней идеи о том, что участие граждан является «активной, автономной, определяющей решения силой»¹⁵³. Плебисцитарный проект заключается в преодолении этой гегемонии и ликвидации делиберативной и процедурной демократии, которая считает плебисцитарную демократию «профанной» в силу пассивной роли, приписываемой в последней народу. Аргументы, выдвигаемые против нее делиберативистами и процедуралистами, по большей части носят этический и моральный характер; они отстаивают либо универсализируемость рациональных аргументов, либо учет всех предпочтений и периодическую смену выборных официальных лиц как единственный прагматический способ восполнить недостаток рациональности, присущий правлению посредством мнения. Теоретики хабермасовского направления и процедуралисты понимают демократию в качестве политического порядка, основанного на автономии и голосовании, то есть такой точке зрения на политическую деятельность, для которой наиболее важны решение и голос. Мнение частного индивида

152. *Manin*. Principles of Representative Government. P. 233.

153. *Green*. Eyes of the People. P. 111–112.

они считают тем содержанием, которое не может вступить в политическую сферу, не изменившись. Решение достигает такого изменения за счет рационального обсуждения, а голос — посредством извлечения из мнений численной величины, получаемой подсчетом. Именно это демократия зрителей желает отвергнуть и изменить, противопоставляя опосредующей роли суждения визуальную реакцию на образы.

Римская модель

Лоуренс К. Гросман несколько лет назад написал, что телекоммуникационные технологии позволяют легче преодолевать традиционные временные и пространственные барьеры, перенаправив политику обратно в русло прямой демократии. Согласно его предположениям, упадок мэдисоновской модели сопровождается сокращением дистанции и обветшанием традиционного механизма сдержек и противовесов, а также разделения властей, сопровождавшего два первых века конституционализма. Кажется, что наших современников ждет новая эпоха прямой демократии, если верно то, что даже судьи Верховного суда ощущают на себе давление зрителей и не могут защитить свою независимость¹⁵⁴. Однако сценарий, представленный мной в этой главе, описывает не прямую демократию, а новую форму олигархии, которая развивается в силу приоритета зрения над голосом. В самом деле, когда нормы политической автономии уступают место нормам пассивного созерцания, демократические процедуры понижаются до статуса методов отбора элиты, причем понятно, что граждане при этом никакой власти не получают. Можно сказать, что в обмен на полученную способность влиять на политику обычные граждане выходят из пространства, ор-

154. Grossman. Electronic Republic. P. 4–6.

ганизованного институтами и процедурами. Восстановление визуальной роли доксы в данном случае служит утверждению иррациональной власти народа, осуществляемой посредством взгляда, слухов, подбадривания и окриков. Контраст с когнитивным мифом о публике как пространстве формирования просвещенного общественного мнения становится максимальным. Не меньше контраст и с политической ролью мнения как правдоподобного суждения, которое, если парафразировать Аристотеля, характеризует построенную на равных правах демократию, в которой обоснованные аргументы и голоса — это инструменты (и права), которые есть у всех граждан и которыми они могут пользоваться. Следовательно, традиция, к которой принадлежит плебисцитарная демократия, — это не традиция Просвещения и афинской прямой демократии. Напротив, именно римский форум — вот место, где плебисцитарное присутствие масс функционально поддерживало руководящую роль меньшинства. В этом заключительном разделе данной главы я хотела бы указать на возрождение плебса и его активности в качестве зрителя как наиболее очевидные признаки новых фигур и характеристик демократии эпохи технологий и массмедиа.

Как мы выяснили в предыдущей главе, римский народ, *Populus Romanus*, был одновременно толпой и законодателем, делившим суверенную власть с сенатом. Толпа на форуме не была тождественна *populus*, который действовал в рамках триб (*tributa curiata* и *tributa centuriata* — в соответствии с различными собраниями, проводимыми для голосований либо по законам, либо по должностным лицам)¹⁵⁵. Толпа действовала по-свое-

155. Цицерон абсолютно верно схватил отношение между *populus* и толпой, проведя различие между «группировкой» и *populus Romanus*: «Вы думаете, что эта группировка — это *populus Romanus*, состоящий из тех, кого нанимают за плату, кого побуждают применять силу против должностных лиц, кто осаждает сенат и каждый день надеется на резню, пожар и опусто-

му и «не ограничивалась демонстрацией общественного мнения» (то есть *extimatio* или голосованием). Она выступала активным протагонистом (как целое, а не сумма индивидов) политической функции, принадлежащей ей на форуме и состоявшей в суждении, а в некоторых случаях и в голосовании путем плебисцита по кандидатам или законам. Толпа «работала в качестве публичного политического театра», который был признан и ценится всеми политическими фигурами, в то же время его боявшимися¹⁵⁶. Именно ее массовое присутствие оказывало огромное влияние на лидеров; взгляд, крики и слухи — вот оружие, которым действовали на форуме. Несомненно, ее воздействие на лидеров было сильнее, чем у современной телевизионной публики, которая действует, если можно так сказать, в коллективной изоляции, за стенами частных домов. Визуальное в Риме было более сильной и более прямой властью, в сравнении с которой наша власть телезрителей довольно незначительна. Хотя различия огромны, аналогия с форумом важна для того, чтобы лучше понять последствия для демократии, создаваемые превознесением функции неформальной аудитории и публики в ущерб гражданину. Вкратце мой аргумент можно представить так: римская история показывает, что толпа приобретает тем большую роль, чем незначительнее роль голосования, то есть в сумерки республики.

Физическое присутствие римской публики и визуальное зрелище, ей устраиваемое, было силой, которая оказывала сильнейшее влияние на «глаза и разум» дей-

шение — тот *populus*, который вы не могли бы собрать вместе, разве что закроете *tabernae*?... Но вот в чем состояла красота *populus Romanus*, его истинная форма, которую вы видели на [Марсовом] поле тогда, когда даже у вас было право выступить с речью против власти и воли Сената и всей Италии. Вот *populus*, господин царей, победитель и повелитель всех народов», который судит и принимает решения. Цит. по: *Millar. Crowd in Rome*. P. 38.

156. Ibid. P. 57.

ствующих лиц¹⁵⁷. Если парафразировать Бентама, форум был самым страшным судом республики. Сложно было понять, кто вел, а кто был ведомым, поскольку форумом правили эмоции. Эмоции, которые Цицерон охарактеризовал как заразную болезнь, выступали иррациональным фактором, благодаря которому все римляне признавали форум уникальным местом и ощущали его именно в качестве такого места. Предложенный Лебоном анализ толпы переводит цицероновское описание на язык, соответствующий современному плебисцитаризму.

Толпа, как объяснил Лебон, является «непобедимой» силой, поскольку эту власть невозможно перевести в количество. Она «непобедима», поскольку является не суммой индивидуальных волей, а, так сказать, прибавочным значением, которое существует только тогда, когда люди становятся неразличимым единством. Она характеризуется отсутствием индивидуальной ответственности за собственные решения, а потому может действовать с большей свободой, создавая эффект заражения, заставляющий людей, которые начинают подражать друг другу, совершать такие поступки и высказывать такие мысли, которые они позже, задай им вопрос, не смогут объяснить. Наконец, она определяется силой внушения: каждый индивид чувствует присутствие других и не может им сопротивляться. Лебон считал, что толпа возвращается к спонтанности племени, поскольку приобретает «непосредственность, силу, энтузиазм» и даже «героизм» «дикарей»¹⁵⁸. Общий подсчет, как и стратегическая рациональность совершенно не способны представить власть форума или толпы. Лебон использовал аргумент непобедимости власти толпы, ее заразности и эмоциональной силы внушения, чтобы объяснить, почему представители знати во Франции от-

157. Цит. по: *Millar. Crowd in Rome*. P. 72.

158. *Le Bon. The Crowd*. P. 32.

казались от своих привилегий и приняли решение, противное как их собственным интересам, так и интересам их класса. «Отказ от всех привилегий, за который французская знать проголосовала в момент энтузиазма, в достопамятную ночь 4 августа 1789 года, никогда бы не был одобрен ни одним из ее представителей по одиночке»¹⁵⁹. По Лебону, толпа, хотя и «уступает» в рациональности «отдельному индивиду» (а также гражданину-индивиду, думающему, когда он голодает, своим собственным умом), намного превосходит его в чувствах и прежде всего в эмоциях. Сила публичного зрения и манера оглашения мнений — вот что наделяет толпу, как древнюю, так и современную, столь уникальными качествами.

Римская толпа исполняла также и функцию проверки. Она вытекала из важной силы публичного присутствия, то есть присутствия на глазах у народа. Юн Эльстер писал, что влияние публичного спора (или присутствия перед аудиторией) на собрания, в которых должны приниматься решения, состоит в том, что у ораторов появляется стимул заменить язык интересов языком разума и беспристрастного рассуждения¹⁶⁰. Это, естественно, не означает, что рассматриваемые предложения очищаются от всех частных мотивов и интересов, поскольку умение хорошего оратора состоит как раз в том, чтобы словами скрыть свое намерение. Тот факт, что наличие публики не позволяет ораторам демонстрировать исключительно эгоистические мотивы, не означает, что ораторы и политики не способны одержать успех, притворившись искренними, то есть будучи попросту лицемерами¹⁶¹. Макиавелли немало страниц уделил доказательству именно этой возможности, которая озна-

159. *Le Bon*. The Crowd. P. 33.

160. *Elster J.* Deliberation and Constitution Making // *Deliberative Democracy*. P. 111.

161. Ср. описание совершенно лицемерного политика в: *Runciman*. Political Hypocrisy. P. 85–90.

чает именно то, что публичность из механизма контроля превращается в спектакль и источник легитимности.

В этом смысле Миллар говорит об «идеологии публичности, которая пропитывала собой любой аспект римской общественной жизни»¹⁶². Публичность предполагала, прежде всего, то, что все действия, предложения и события, относящиеся к функциям республики, должны были проходить на публике или предъявляться ей, дабы весь *populus* действительно имел возможность получить информацию, вынести суждение и принять решение. Законопроекты, имена судей и кандидатов на пост трибуна, как и другая информация ежедневно предоставлялись публике на досках или вывешивались в виде списков. Публичность означала, что все «подробности» того или иного целенаправленного действия должны быть доступны всем гражданам, проходившим по форуму или останавливающимся там. «Документ, публичное действие и устная речь — все это играло свою роль в качестве гарантов публичности»¹⁶³.

Следовательно, обращение к публике имело в большей мере символическое значение, чем реальное влияние на решения. Соответственно, отстранение от публики, решения за закрытыми дверями отметили собой чрезвычайно важное изменение в римской политике, против которого выступали и которого боялись традиционные республиканцы. Реконструкция в речи Цицерона того, как Веррес проводил свою избирательную кампанию, является важным документом, поскольку «впервые в римской политике мы слышим о *divisiores* собраниях [партийных собраниях] в доме кандидата, цель которых — распределение взяток кандидата среди разных триб»¹⁶⁴. До того как политическое влияние было «приватизировано», оно осуществлялось в открытую, на форуме.

162. Millar. Crowd in Rome. P. 45.

163. Ibidem.

164. Ibid. P. 68.

Однако публичная демонстрация могла защитить республику от взяточничества и коррупции потому, что политические лидеры *чувствовали*, как тяжело выглядеть бесчестным (хотя быть им не всегда столь же тяжело). Республика могла препятствовать коррупции, пока сам город был добродетельным. Прозрачность была эффективным средством контроля, пока римляне стыдились демонстрировать свои грехи согражданам. Конечно, процедуры, которые регулировали законодательную власть *populus'a*, не воспринимались в качестве достаточной защиты, и для их поддержки требовалось мобилизовать добродетель. Публичное действие выступало дополнительной защитой в городе, в котором общепринятой нормой была честь и добродетель: риск, заключающийся в том, что тебя увидит и разоблачит римская публика, выступал сдерживающей силой, которая одновременно ограничивала и стимулировала лидеров. «Публичное» было прилагательным, означавшим «быть на глазах у толпы». Чтобы публика выполняла функцию контроля, требовалась эффективная работа определенных этических факторов.

Сдерживание коррупции человеческими страхами — это, несомненно, одна из наиболее важных частей наследия Римской республики. Фактически все кандидаты на официальные посты в случае избрания должны были перед тем, как приступить к своим обязанностям, принести клятву на форуме, а если «они не приносили такой клятвы, то должны были отказаться от должности»¹⁶⁵. С точки зрения бентамовской идеи публики как судьи, можно сказать, что в Риме, с одной стороны, судили отобранные судьи, но с другой — самих судей судила толпа своей непобедимой властью мнения. Человек с формальными полномочиями судьи ощущал давление со стороны неформального судьи. Существование *на глазах у народа* было, следовательно, услови-

165. Millar. Crowd in Rome. P. 46.

ем компетентного участия тех, кто стремился к такому участию (собираясь для голосования в комициях), и одновременно условием контроля политических действий (на форуме). Деятелей можно было сдерживать не только речами и словами. Пассивная деятельность присутствия, созерцания и выслушивания оказывала достаточное влияние на решения; она оставалась мощной формой пассивности, пока могла склонить государственного чиновника, жюри, оратора или кандидата сказать нечто или воздержаться от высказывания. Толпа, как можно прочесть у Саллюстия, была «деятельна» даже тогда, когда оставалась «вялой и апатичной»¹⁶⁶.

Размышляя над феноменом римского форума, мы могли бы сказать, что толпа, сливающаяся в единое целое публика обладает двумя способностями — сдерживания и позволения. Она в любом случае осуществляет свою функцию порицания и стимулирования, направляя тех, у кого есть полномочия на действие (в Риме это были граждане как избиратели и как кандидаты). Важно понимать эту двойную функцию, если мы хотим разобраться в сложностях процедурной демократии, которая не является плебисцитарной, даже если плебисцитарная составляющая в ней присутствует.

Речь на форуме

Почему римский форум сам по себе не может выступать образцом демократии, хотя он и является образцом присутствия народа, вполне эгалитарным, если учитывать существование обратной связи с лидерами? Чтобы ответить на этот вопрос, я сосредоточусь на праве на свободу слова, которое было у римлян на форуме. Далее следует поставить вопрос о том, было ли у римского народа в его суверенном статусе право говорить также и публич-

166. Ibid. P. 59.

но и мог ли он, подобно афинянам на народных собраниях (*ekklēsia*), говорить на собраниях для голосования или комициях. *Isēgoria* и *parrhēsia* — вот названия индивидуального права слова, которое было у каждого афинского гражданина, участвовавшего в собрании: первая была «позитивной, процедурной свободой, которая гарантировала афинским гражданам равные возможности обратиться к собранию», а вторая — «позитивной, содержательной свободой, которая оформляла содержание речи каждого ратора»¹⁶⁷. Как объяснялось в первой главе, свобода слова как равенство возможностей каждого гражданина прямо или косвенно участвовать в процессе принятия решений выступала ядром политической свободы с самого начала демократии. Согласно римским историкам, *isēgoria* и *parrhēsia* не принадлежали всем римским гражданам в равной мере: некоторые обладали ими на форуме (те немногие, кто выдвигался на политические посты), но никто не обладал ими на собраниях (комициях)¹⁶⁸. Это, однако, не означает, что у римских граждан не было права влиять на решения и высказываться открыто и публично (что они и делали на форуме). Речь о том, что на форуме они оказывали влияние как частные лица, а не суверенные граждане. Попробую объяснить это важное различие.

Получение официального поста (посредством выборов) или принадлежность к сословию сенаторов и, следовательно, право выдвигаться на пост давали лишь

167. Werhan. Classical Athenian Ancestry of American Freedom of Speech. P. 14–15.

168. См., в частности: Ibid. P. 19; Millar. Roman Republic in Political Thought. P. 197–226; Coleman J. A History of Political Thought, 2 vols. Oxford: Blackwell, 2000. Vol. 1. P. 285; Taylor L. R. Party Politics in the Age of Caesar. Berkeley: University of California Press 1949. P. 26, 3; Ober. Masses and Elite. P. 109; Raaflaub. Democracy, Oligarchy, and the Concept of the „Free Citizen“ in Late Fifth-Century Athens. P. 517–544; Wirszubski C. Libertas as a Political Idea at Rome During the Later Republic and Early Principate. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. P. 11–17.

некоторым римским гражданам индивидуальное право обращаться к народу с речами¹⁶⁹. *Isēgoria* в Риме была достоянием меньшинства. Обычные граждане не располагали этим правом. Нельзя сказать, что в Риме существовало «формальное право каждого гражданина на слово» там, где принимались решения¹⁷⁰. Действуя в качестве суверена, «любой гражданин, того пожелавший, мог выслушать противоположные мнения по любой теме, либо в разных *contiones* („народных сходках“), руководимых разными чиновниками, либо иногда в одном и том же *contio*»¹⁷¹. Избирательные кампании были чрезвычайно бурными — даже больше, чем сегодня. У всех людей на форуме было право на свободное высказывание, однако у римских граждан не было его, когда они собирались в комициях, где они должны были голосовать или действовать в качестве суверенного *populus*. Они имели его в качестве частных граждан, то есть в форме права на «частную речь», которое распространялось и на неграждан, а также на всех тех, кто приезжал в Рим и мог свободно прийти на форум. Обычные граждане и неграждане имели право свободно высказаться на форуме. Но не все они имели равные права на публичную речь, право обратиться к народу и начать обсуждение в комициях, это право было только у патрициев и кандидатов на должность.

Когда Грин отмечает, что зрение, а не голос, — вот чувство, которое делает народ монолитной толпой, которая «только наблюдает», но не «борется за власть», он же-

169. Граждане, относящиеся к *populus*, не имели права избираться на государственные должности (как и разглагольствовать перед толпой), тем, кто не принадлежали к сенаторскому сословию, чтобы добиться этой цели, нужны были или богатство, или репутация профессионала (случай Цицерона как великого юриста), или женитьба на женщине-патрицианке (случай Цезаря).

170. *Millar. Crowd in Rome*. P. 46.

171. *Ibid.* P. 47.

лает подчеркнуть как раз власть, состоящую не в принятии решений, а во влиянии, оказываемом зрителями. То право на свободу слова, которое есть у зрителя, выступает в форме частного права. Если развить аргументацию относительно значения свободы слова в демократическом обществе, предложенную мной в первой главе, два разных права предполагают два разных типа людей: люди первого типа говорят, но не решают, а второго — и говорят, и решают. Это различие лежит в основании модели смешанного правления, которую исследователи применяют для описания современного представительного правления, дабы подчеркнуть то, что, хотя обычные граждане могут надеяться повлиять на своих представителей свободным высказыванием своих мнений, у них нет уверенности в том, что к их голосу прислушаются (разделение между собраниями, на которых голосуют, но не говорят, и сенатами или советами, в которых только говорят, но не голосуют, поддерживалось современными республиканцами, наследующими римской традиции, от Харрингтона до Руссо). Римляне, если рассматривать их в качестве граждан, осуществляющих свою функцию принятия решения, обладали «пассивными» правами, например, правом слушать и видеть, правом на то, чтобы «активные лидеры» воспринимали их как судящую аудиторию. Чтобы это право действительно работало, римская система обеспечивала постоянное выражение противоположных взглядов лидеров на публике, а также обнародование информации по кандидатам, должностным лицам, законопроектам и принятым законам, которые становились известны публике. Но если рассматривать их в функции носителей суверенитета, граждане выражались возгласами (плебисцит), а также, находясь на форуме, через ораторов. Споры и *conciones* (выступления), при которых они ежедневно присутствовали на форуме, проводились ораторами (кандидатами и должностными лицами), с которыми народ мог соотносить себя и — в смысле эмоционального соучастия — участвовать в дебатах и идентифициро-

ваться с ораторами в смысле шмиттовского плебисцитарного понятия представительства.

Так или иначе, римский народ мог осуществлять власть *реактивного* типа, власть препятствования или поощрения, суждения или порицания, на форуме, а также в трибах при голосовании. У римлян не было права принимать *полное* участие в политической жизни, которое было только у патрициев (которые, однако, не имели права голосовать). В целом четкое разделение между высказыванием и голосованием, предложением и решением (которое Харрингтон затем представит в виде теоретического аргумента в пользу бикамерализма) господствовало в римской политической жизни. Наряду с молчаливым голосованием в трибах, римский народ громко заявлял себя на форуме, но не в роли граждан, которые обсуждают и голосуют (как это было в афинской демократии), а как массовая публика, которая *en masse* влияла на ораторов и ограничивала их.

Если говорить современным языком, нам важно рассмотреть именно индивидуальное право слова как частное право (а не право гражданина). Обычные граждане Рима говорили свободно и прямо в качестве частных индивидов на форуме и везде, где только желали, но не на собраниях для голосования или комициях. Толпу они составляли в качестве частных лиц. Следовательно, толпа была публичным (то есть видимым) актором, составленным из частных лиц. Это относится как к Риму, так и к современной демократии зрителей. Граждане, которые разговаривают со мной и с другими гражданами в интернете или же смотрят телевизор, не существуют, строго говоря, в качестве граждан; мы взаимодействуем в качестве частных лиц, которые высказывают свои личные взгляды и смотрят на одни и те же образы в данный момент времени, в неформальной коммуникации, когда мы этого хотим и когда нам это нравится.

В Риме толпа, а не суверенный народ, обладала правом говорить на публичном форуме. Именно поэтому

публичную речь вели не в форме рациональной аргументации или рассудительной речи, а в виде *коллективной реакции* на сказанное кандидатами или лидерами — это, как мы выяснили, могли быть выкрики, обращенные к оратору, гул одобрения, само молчание. Это был *porulus*, о котором с пренебрежением высказался Цицерон, сравнив его с беспокойным морем, которое трибуны приводят в движение подобно ветрам¹⁷². Цицерон назвал этих людей *демократическим народом*, сделав его предметом своих обличений. В XVIII веке образ «демократического» волнения и сумасбродства черни, занимающей форум, станет источником страха перед демократией, который даст о себе знать в речах революционных республиканцев, заседавших в конституционных собраниях Филадельфии и Парижа¹⁷³. С другой стороны, он же заставит антилибералов высмеивать (или, наоборот, превозносить) демократию как массовый режим.

В римском сценарии, в котором получила развитие плебисцитарная демократия, публика была театром, и, подобно любому театру, она действовала в качестве «группировки» (если использовать подходящее слово из Цицерона), члены которой могли громко высказывать свои мнения, но не имели тех прав, которые были у актеров. В действительности театр — это место не для частных дискуссий и разумных речей, а для собрания зрителей, которые могут высказать свои взгляды в виде реакции на то, что они слышат и видят. Но только актеры говорят и выступают. «Театр был доступен

172. Millar. Crowd in Rome. P. 63.

173. Elster J. Ulysses Unbound. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 130, footnote 93. Однако образ демократии в конституционных собраниях XVIII века, как французских, так и американских, был сформирован литературой, основная часть которой была составлена римскими, а не афинскими авторами. Под демократией они имели в виду именно демократическую составляющую римской плебисцитарной республики.

заинтересованным людям, находился в установленном традицией месте, и толпа в нем (ее тоже можно описать в качестве *contio*) не обязательно была пассивной аудиторией, но могла вмешиваться криками, открытым диалогом с оратором, а также продемонстрировать свое мнение, покинув представление. Та же самая толпа могла, кроме того, превратиться в суверенное собрание избирателей — попросту (теоретически) за счет того, что председательствующий давал ей указание разойтись (*discernere*) по избирательным трибам»¹⁷⁴. Следовательно, в Риме (как и в плебисцитарной демократии) публика была не абстрактным «общественным мнением», а физическим контекстом, в котором должностные лица формулировали свои высказывания, предвосхищая реакцию толпы. Как и в случае театральной постановки, все римляне знали правила этой игры, которая выступала своеобразным развлечением.

Заключение

В то время как популизм устраняет демократическую диархию, поскольку стремится превратить мнение подавляющего большинства в волю всего народа, плебисцитаризм не смешивает функцию решения (принадлежащую меньшинству) и функцию визуальной оценки (со стороны народа), приписывая их двум группам граждан. В этом случае негативный и реактивный характер политики — единственный определяющий фактор демократии. Путь к этому радикальному пересмотру открыл в большей мере не Вебер, а Шмитт, который признал, что аккламация — это голос коллектива (большинства), единственный акт, который доказывает наличие у народа власти, тогда как решение является прерогативой меньшинства. Современные теоретики плебисци-

174. Millar. Crowd in Rome. P. 47.

та зрителей поддерживают шмиттовское определение демократии, согласно которому Народ — это «неполитическая часть [государства], сохраняемая под защитой и в тени политических решений»¹⁷⁵. Фактически взгляд Шмитта является излишне децизионистским, если сравнивать с новым толкованием плебисцитарной политики как полностью согласующейся с парадигмой «неречевого, визуального идеала откровенности»¹⁷⁶. Если Шмитт лишил демократию разума и индивидуального участия в обсуждении, то Грин, как мы видели, лишил ее последних остатков дискурсивности, превращая мнение в сферу уже не дискурса, а зрения и визуального суждения. Автономия больше не является частью демократического словаря, пусть даже в виде массы, которая выкрикивает свою коллективную волю.

Отправной точкой для демократии зрителей является римский образец форума. Различие между плебисцитарным собранием и демократическим гражданством заключается, по существу, в политическом праве, которое осуществляется каждым человеком вместе с другими для того, чтобы повлиять на решения, предложить их и оценить. Речь — это орган политической автономии, как при прямом, так и при косвенном участии в политике. Но на плебисцитарном собрании речь становится прерогативой толпы, которая состоит из частных лиц, реагирующих на то, что они видят и что им показали. Такая толпа должна не формировать политическое мнение и участвовать в обсуждении, но наблюдать за тем, что совершают деятели. Это свобода зрителей. Ею схватывается различие между действием толпы, которая может следить за одним или несколькими ораторами, а также подбадривать их, и действием граждан, которые в своей способности голосовать высказывают свои политические мнения и интересы.

175. *Millar*. *Crowd in Rome*. P. 251.

176. *Ibid*. P. 167.

Толпа практикует свободу слова в качестве частного права, поскольку ее члены — это публика зрителей, индивидов, которые могут уйти, если им не весело, а не публика граждан, поведение которых управляется процедурами. Правило улицы, как и правило интернета и телевидения, — это правило толпы; ее свобода не ограничена, однако сама по себе она не составляет свободы автономного народа. Сила толпы не гарантирует политической свободы, хотя она и является проявлением свободы индивидуальной. Когда после атаки Суллы на трибунов римский народ лишили права голосовать по принимаемым законам, толпа не потеряла своего осуществляющегося на форуме влияния в качестве зрителей: «Может показаться парадоксом то, что политика толпы на Форуме наибольшей эффективности достигла исключительно в тот период, когда безусловная законодательная власть была утрачена»¹⁷⁷.

Современная теория плебисцитарной демократии — это иллюстрация того, как возрождается власть слухов на форуме, определяемом средствами массовой коммуникации. Однако в Римской республике (когда она еще не была в упадке) форум и комиции, мнение и воля выступали равновеликими силами. Тем временем современная представительная демократия столкнулась со снижением доли участвующих в выборах и политике, которому соответствует рост эстетического и театрального значения публики, вуайеристской машины, которая служит скорее желанию насладиться политическим зрелищем, чем получить свободу от произвола власти. В самом деле, диархическое качество представительной демократии предполагает не только то, что суверен имеет две функции, но и то, что эти функции связаны между собой таким образом, что мнение не остается бездейственным, а воля — неконтролируемой. Публичная сфера, которая играет, по существу, лишь эстетическую

177. Ibid. P. 49.

роль, вряд ли может быть средством контроля и критического суждения, тем более если она дополняется пассивной гражданской позицией и снижением значения политического избирательного права. Этим иллюстрируется парадокс современной демократии, в которой возникают протестные движения — настолько же сильные в своих проявлениях, насколько слабые в своей неспособности повлиять на политические решения.

Заключение

В ЭТОЙ книге я выявила некоторые видоизменения демократии и исследовала их в качестве разных вариантов искажения демократической диархии воли и мнения. Как я утверждала, демократия в своей представительной форме является системой, в которой власть, чье крайнее средство — это применение силы, отправляется во имя и в интересах народа посредством процедуры выборов, предполагающей, что институты и политические лидеры не могут игнорировать то, что граждане думают, говорят и желают, когда они не находятся в кабине для голосования. При таком правлении суверенная власть — не просто уполномоченная воля, выражаемая в гражданском праве, проводящемся в жизнь должностными лицами и институтами, но двойная власть, одной из составляющих которой является решение. Форум мнений причастен демократическому суверенитету, хотя у него *нет* никаких формальных властных полномочий, а его сила является внешней для институтов. Проблемы, с которыми сталкиваются современные демократии, двойного рода. Во-первых, эти две власти, воли и мнения, хотя их невозможно до конца разделить, должны работать отдельно друг от друга, сохраняя различие: мы не хотим, чтобы мнение большинства отождествилось с волей суверена, как не хотим и того, чтобы наши мнения были попросту пассивной реакцией на спектакль, который лидеры разыгрывают на сцене. Во-вторых, поскольку представительное правление осуществляется

посредством мнения, это значит, что публичный форум постоянно следит за государственной властью, причем он должен руководствоваться тем же эгалитарным принципом, который воплощен в праве граждан на самоуправление. Из этого вытекает следующая максима: как только форум оказывается частью нашего представления о политическом присутствии, демократия должна обратить внимание на вопрос об обстоятельствах формирования мнения. Право граждан на равное участие в определении политической воли (один человек — один голос) должно совмещаться с равными возможностями граждан не только на получение информации, но также на формирование, выражение и оглашение своих идей, а кроме того на придание последним веса и влияния в пространстве публичного. Следовательно, функционирование публичного форума — это вопрос, который относится к политической справедливости, и хотя влияние вряд ли может быть равным и его крайне сложно точно подсчитать, возможности оказывать влияние могут и должны быть в целом равными. Хотя мы вряд ли можем с полной уверенностью доказать то, есть причинно-следственная связь между медийным контентом, общественным мнением и политическими результатами и решениями, барьеры, препятствующие равным возможностям участвовать в формировании политических мнений, должны быть низкими, причем за их уровнем необходимо постоянно следить. Логика, которая управляет властью принятия решений, распространяется и на форум мнений: экономическая власть не должна выражаться в политической власти.

Следовательно, представительная демократия — это правление доксы в наиболее полном смысле, и причин несколько: возможности критики и контроля власти растут в той мере, в какой мнения граждан не ограничиваются пределами их собственного разума и не остаются всего лишь частными; такое правление созвучно характеру демократии как политической системы, которая основана на рассредоточении власти и которая

порождает такое рассредоточение; оно допускает формулирование множества политических решений, из которых граждане делают выбор. Следовательно, хотя избирательная власть, несомненно, является основным условием демократии, гарантируют ее условия, при которых граждане получают информацию и испытывают давление со стороны лиц, формирующих общественное мнение. Выборы — это и есть средство правления мнения как правления, откликающегося на требования публики и ответственного перед ней.

Касательно диархии демократии я утверждала, что есть три роли, которые докса играет в публичном форуме: когнитивная, поскольку она требует информации; политическая, то есть роль формирования и критики повестки; эстетическая, поскольку призывает к прозрачности и подчиненности политической деятельности публике. Соответственно, я выделила три формы искажения [демократии], которые являются не только теоретическими возможностями, но и феноменами, выявляемыми в реальных демократиях. Эпистемическая интерпретация демократии, феномены популизма и плебисцитаризма — каждый из них радикализирует эти три роли доксы, и все они возникают внутри представительной демократии в качестве ее внешних границ, помечающих ее предел. В самом деле, хотя эти радикализации не нацелены на смену режима (фактически они преподносят себя в качестве усовершенствования и даже нормы демократии) и не ставят под вопрос «волю» (не лишают граждан права голоса), они меняют внешний облик демократии, так что результаты не только вполне заметны, но и, как я утверждаю, отталкивающи и сомнительны.

Мишень всех этих видов искажения — докса, хотя причины и цели в каждом случае разные. Эпистемическая теория предлагает деполитизировать демократические процедуры и превратить их в метод достижения «верных результатов» и нейтрализации партийных, то есть опирающихся на мнение большинства, решений,

иными словами, в метод, который будет давать не только результаты, которые значимы в чисто процедурном и конституционном смысле. Эта теория желает спасти демократию от ее какофонической, шумной, нередко демагогической партийности, однако в итоге сужает ее, пренебрегая политической природой ее процесса. Такое эпистемическое, неполитическое исправление демократии, добейся оно успеха, могло бы изменить характер демократии как правления, основанного на мнении, и превратить ее в выражение власти знания. Подобное искажение я называю демократическим платонизмом, поскольку оно возрождает миф о царе-философе, пусть он и предстает в коллективном и эгалитаристском обличье. Я утверждаю, что толпа, состоящая из людей, которые, стоит только дать им определенные данные и процедуры обсуждения, должны прийти к верному результату, все еще не обязательно является демократическим собранием, хотя оно и может быть эгалитарным. Ему не хватает политической свободы.

Сосредоточиваясь на содержании результата, эпистемическая версия демократической политики судит о функционировании процедур с точки зрения их способности направлять знание большинства на решения, которые удовлетворяют критериям, выходящим за пределы его мнения, а не с точки зрения принципа равенства политической свободы, то есть блага, которое должны гарантировать, отражать и развивать процедуры. Конечно, есть много важных способов применить знания в политике, например, в деятельности исполнительной власти, бюрократии, в судебной системе и законодательных комитетах, которые помогают законодателям в их работе. Знание и компетенция, конечно, важны в качестве вспомогательного средства политического суждения и решения. Однако предпочитать «верные результаты» политическим процедурам в ущерб им — совсем не то же самое, что требовать от политиков компетентности, а от политических программ — высокого качества: такое предпочтение является про-

блематичным, поскольку способно подготовить почву для благодушного отношения к технократической ревизии демократии, которое заметно сегодня в европейских странах.

Если процедуры дают хорошие результаты и воспитывают граждан в нравственном и интеллектуальном отношении, они делают это, как я доказывала, непреднамеренно. Мы выбираем демократию не потому, что думаем, будто она может сделать нас хорошими философами, а потому, что хотим оставаться свободными, даже когда подчиняемся законам, с которыми не согласны (это предполагается процедурами). Именно в этом смысле я использовала выражение «демократический процедурализм», дабы подчеркнуть, что процедуры являются основой политической легитимности в силу того, что позволяют процессу идти должным образом, а не потому, что благодаря им он порождает некие содержательные (или желательные) результаты, которые если и возникают, то непреднамеренно, без умысла, который мог бы быть вписан в процедуры, пусть даже акторы и хотят использовать их для достижения желательных целей. Плохое решение столь же легитимно, как и хорошее, когда оно принимается в соответствии с демократическими правилами и процедурами. Этот неприятный, как может показаться, вывод заставляет задуматься о демократии как системе такого регулирования политических конфликтов, которое способствует свободе и укрепляет гражданский мир, хотя и не сообщает нам о них истины в последней инстанции.

У популистских теоретиков, возможно, есть неплохие аргументы против платоников, но они приходят к выводу, который ничем не лучше, поскольку это просто другой вид искажения. Я проанализировала популизм вместе с его различными составляющими, начиная с поляризации и радикализации политического мнения, им вызываемого, и заканчивая цезаристским воплощением представительной власти, к которому он имеет свойство приводить. Это искажение, являясь

зеркальным отражением предыдущего, отвечает на традиционное обвинение масс в невежестве и некомпетентности, но не тем, что наделяет их эпистемическим качеством меньшинства, а ставя под вопрос саму идею распространения на коллектив индивидуальной рациональности. Популизм утверждает, что массы в действительности рациональны в своем политическом бытии и что они таковы не в силу правил и процедур, создаваемых ими, а благодаря стратегическому применению мифов, символов и риторики с целью создания гегемонического нарратива, который должен снова поставить исключенное большинство (плебс) в центр демократии. Массы достигают этого результата не сами по себе, а с опорой на некоторых интеллектуалов и одаренных лидеров, которые способны создать победоносный нарратив и использовать процедуры для завоевания власти и возвращения демократии к ее наиболее аутентичному, как полагают популисты, виду, сужающему многообразие форума и приближающему к консенсусному способу принятия решений. Докса теряет свой автономный статус, а демократические процедуры инструментально подстраиваются так, чтобы обеспечить правление подавляющего большинства. Это решение должно упростить централизацию власти, ослабить сдержки и противовесы, а также систему разделения властей, уменьшить значение политической оппозиции и превратить выборы в плебисцит лидера. Я признала контекстуальные различия в реализации и интерпретации популизма. Но при этом я указала на то, что о популистской трансформации представительной демократии мы можем сказать то же, что Аристотель сказал о демагогии в связи с прямой демократией: это крайняя форма демократии, настолько близкая к ее последнему рубежу, что способна спровоцировать смену режима, превращающегося фактически в авторитарное правление. Популистские деятели в некоторых европейских и латиноамериканских странах в последнее время использовали медиа для слияния мнения большинства с общественным мне-

нием; они добились широкого консенсуса и применяли государственную власть для умасливания своего электората и его расширения; таким образом они ослабили институциональный контроль над правительством и усилили коррупцию; наконец, они использовали государство для укрепления поддерживающего их большинства, очевидным образом нарушая принцип демократической диархии.

Последняя форма искажения, обсуждавшаяся мной, кажется близкой к популизму, но во многих важных отношениях от него отличается. Плебисцитаризм обещает восстановить понятие «Народ» как «полновесное понятие коллективной идентичности», и этой цели намеревается достичь, сделав народ «массовым зрителем политических элит»¹. Присутствие в качестве зрителя становится единственной коллективной способностью народа. Это искажение даже хуже предыдущего, поскольку не ставит под вопрос диархическую структуру представительной демократии, а дает ей новое толкование, оспаривая сам принцип гражданства как политической автономии. И если исторически оказалось возможным приспособить политическую автономию к косвенным формам участия, таким как представительство (современная демократия достигла этого, поставив во главу угла равное избирательное право и право голоса), будет сложно согласовать демократию с такой точкой зрения на политику, которая представляет положение «подчиненности» и наблюдения за лидерами нормой или фигурой «Народа». Современные теоретики плебисцитарной демократии доводят инструментальное прочтение процедурализма до крайности, а именно до реалистического признания того, что политика — дело меньшинства, даже если последнее выбирается большинством. Подчеркивая, что решения — это дело элиты, они намекают на то, что теория

1. *Green. Eyes of the People*, P. 27–28.

демократии должна перенести свое внимание с политических процедур на то, что больше подходит народу, который не действует (ни один коллектив, в отличие от индивидов, не может быть автономным), а наблюдает. Процедуры нужны правящим элитам; участие в качестве зрителей — массам. Схема римской политики как сочетания действия патрициев и присутствия плебеев — вот модель плебисцитаризма, которая нарушает диархию, распределяя функции воли и мнения по двум различным группам и, кроме того, отнимая у мнения всякую возможность оказывать политическое воздействие и участвовать в обсуждении. Демократия как зрелище — подходящее название для этой новой формы плебисцитаризма, которая превращает данность в норму, поскольку соглашается с подчинением граждан правящей креативности лидеров и медиаэкспертов, делая вывод, что основная деятельность граждан является исключительно визуальной и созерцательной, то есть не ориентированной ни на дискурс, ни на участие в политике. Плебисцитарная демократия — это массовая президентская демократия, которая умаляет значение либеральной концепции ограничения власти и разделения властей, то есть классических правовых стратегий конституционализма.

Если популизм всегда оставался темой исследований, то о плебисцитаризме после краха тоталитарных режимов забыли. Однако ситуация, похоже, меняется и в теории, и на практике. Например, в США исследования в области политической теории свидетельствуют о возрождении интереса и симпатии к плебисцитарной демократии, что является результатом более благожелательной позиции по отношению к мажоритаризму и идее демократии, меньше связанной с правовыми и институциональными инструментами контроля и ограничениями и больше — с некоторыми формами деятельности народа, в ходе которых раздаются призывы к прозрачности и одновременно требуют такой идентификации президентов или лидеров

с массами, которая осуществлялась бы в обход Конгресса. В некоторых западных демократических странах призывы к прозрачности, информационное вторжение в жизнь лидеров и прямое обращение к аудитории не смогли действительно сдерживать власть, несмотря на все требования надзора и контроля, раздающиеся в медиа. Если говорить об Италии, наиболее интересной в этом отношении, тот факт, что премьер-министр владел шестью национальными телестанциями или контролировал их, естественно, выступил отягощающим фактором, но это не единственная причина, по которой итальянцы стали пассивной толпой зрителей, вряд ли способных контролировать власть Берлускони. Действительно, более важным фактором, чем собственность средств информации, представляется империя визуального и инфляция образов — благодаря им зрение становится контрольной, инспектирующей инстанцией, которая, однако, не приносит никакого результата, что бы там ни думали теоретики плебисцитаризма.

Плебисцит зрителей может использоваться для доказательства от противного того, что защита диархии демократии должна сегодня осуществляться через эмансипацию процедурализма от ограничений шумпетеровской теории, то есть идеи, утверждающей, что демократия — это метод отбора лидеров, при котором граждане практически не оказывают никакого влияния, если не считать голосования. Эта книга посвящена не этой задаче, хотя вся ее структура, как я прояснила в первой главе, опирается на интерпретацию демократического процедурализма как нормативного учения. Восстановление политической ценности и значения демократических процедур — наиболее радикальный и последовательный ответ на все эти формы искажения. Сделать политический процедурализм обоснованно нормативным — значит увидеть то, что он служит базовому благу, заявляемому и развиваемому демократией, а именно равному распределению политической свободы. Демократия не обещает ничего, кроме этого,

но это уже немало, поскольку это благо, которое слишком легко обесценить дурным применением и реализацией правил и институтов, обесмысливанием электорального участия граждан и усилением проникновения экономической власти на форум мнений. Однако, как убедительно доказал К. Эдвин Бэйкер, «демократический принцип распределения является самостоятельной целью, а не средством, позволяющим предсказуемо достигать некоего эмпирического желаемого результата», и это относится как к функции принятия решений (голосованию), так и к функции их формирования и критики². Только в рамках этого нормативного взгляда на политические процедуры возможно понимать демократию в качестве правления, основанного на доксе, в котором процесс принятия решений целиком и полностью опирается на равное право граждан голосовать и выносить суждение. Именно эта диархическая фигура позволяет назвать то или иное правление демократическим.

Сторонники трех обсуждавшихся мной форм искажения не удовлетворены таким взглядом на демократию, который они отвергают как чисто процедурный, лишенный всякого идеала и попросту формальный. Оспаривая его, они предлагают судить, оценивать или превозносить демократический процесс с точки зрения некоего специфического результата, которым может быть правильное решение, объединение различных частей народа в гегемоническое целое или же визуальная прозрачность. На это я возражаю тем, что демократия — это ее процедуры, и в этом состоит наша свобода — свобода граждан. Вопреки перфекционистским планам, связывающим ценность демократии с тем, что именно должны ее процедуры дать гражданам, демократия не обещает никакого идеального общества и не заставляет нас стремиться к какой-то особой цели.

2. *Baker. Media Concentration and Democracy.* P. 8.

Ее процедуры не гарантируют нам усовершенствования нашей способности принимать решения (при голосовании мы не учимся тому, как голосовать), и точно так же они не обещают нам результаты, которые будут верны с точки зрения критериев, трансцендентных по отношению к этим процедурам.

Процедурализм в его, как может показаться, реалистической, но на самом деле шумпетеровской версии в наибольшей степени ответственен за свою плохую репутацию, поскольку противопоставил метод идеалу. Как метод регулирования распределения власти в группе граждан демократия вряд ли может быть идеалом. Придать процедурализму чисто инструментальное значение — такова была цель предложенной Шумпетером интерпретации, выступающей против консенсуального и фашистско-народного типов правления. Однако она оказывает негативное влияние на нормативную ценность демократического процедурализма. Следствия разделения идеала и метода были выявлены Гансом Кельзенем еще в 1929 году: «В спорах о демократии немало недоразумений создается тем, что одна сторона говорит только об идее, а другая — только о реальности этого феномена. Стороны не соглашаются, поскольку ни одна из них не может схватить феномен в его целостности, понимая идеологию и реальность в связи друг с другом»³.

В этой книге я попыталась возразить таким ориентированным на содержание или результат подходам, освободив нормативную интерпретацию политического процедурализма и разработав ее тематически. Мне было нужно поставить под вопрос, с одной стороны, антидемократическое умаление этого метода, превращающего его в синоним круговорота элит, а с другой — идею, утверждающую, что, чтобы сделать его респектабельным и нормативным, надо приписать

3. *Kelsen. Essence and Value of Democracy. P. 12–13.*

ему некую внешнюю цель, которую он позволит достичь. Я утверждала, что, если мы хотим оспорить те взгляды на демократические процедуры, которые ориентированы на содержание или результат, не нужно лишать процедуры их принципиальной ценности, а чтобы приписать им нормативную ценность, не нужно ставить их на службу некоей цели, которая уже отобрана (неясно, кем) в качестве блага по внешним для них критериям.

Демократия должна обещать что-то еще, кроме выборов законодателей (хотя эта функция является ключевым показателем политической свободы и все еще сталкивается с сопротивлением в устоявшихся демократиях, где граждане встречаются с неоправданными препятствиями, когда принимают решение пойти на выборы, а их голоса слишком часто оказывались спорным благом). Демократия обещает процесс регулируемого участия, прямого или косвенного, в создании политического авторитета (гражданских законов), основанного на равных условиях политической власти и применяемого для разработки предложений и принятия решений, которые значимы для всех, но не требуют того, чтобы политическая власть преследовала какую-либо иную конкретную цель, помимо бесконечного воспроизводства самой себя и своих условий. Демократические граждане дают себе три обязательства⁴:

а) что все они могут свободно и публично расходиться во мнении относительно того, что значит, что все они должны в качестве политически равных субъектов участвовать в создании закона (например, о вопросах значения и пределов равенства; о свободе слова, которая может быть как индивидуальным правом, так и политическим; о том, должно ли политическое равенство опираться на некие социально-экономические условия);

4. Об обещаниях демократии и их вечном невыполнении см.: *Bobbio. Il futuro della democrazia*. P. 3–31.

б) что они на какое-то время согласятся с решениями, принятыми после подсчета каждого индивидуального голоса в соответствии с принципом большинства, даже если не согласны с ними (в качестве основополагающего принципа они признают политическое разделение на большинство и меньшинство, а не единогласие; кроме того, они выбирают подсчет голосов, поскольку предполагают разногласие, а не согласие);

в) что они не будут рассматривать ни одно решение в качестве окончательного и бесспорного (поскольку они интерпретируют демократию, прежде всего, в качестве способа изменения ранее принятых решений, а не достижения определенного блага или правильности, которыми заканчивается процесс изменения).

Организирующим принципом этого конституционного процесса взятия на себя обязательств является равная политическая свобода, специально выдвигаемая как общее условие, которое позволяет гражданам свободно предлагать разные интерпретации следующего положения: основные права и свободы, определяющие и защищающие эту свободу (избирательное право, свобода слова, прессы и собраний), не могут быть аннулированы. Именно это определяет ценность процедур, и именно это обещает «всего лишь» процедурная концепция демократии. Демократия не должна создать какую-то утопию, и похоже, она является упразднением всех Утопий, поскольку это политическая система, которая разрушает мессианские представления и платонистские планы справедливости и воплощения истины, когда позволяет самим этим планам бороться за поддержку и искать одобрения большинства. Демократию можно описать как процесс перманентной секуляризации политики, если учесть, что всегда возникают новые точки зрения, которые претендуют на то, чтобы стать ее истинной или более верной интерпретацией. Эта система непредумышленно направляет граждан к целям, которые должны еще больше гарантировать или обезопасить их равные политические свободы. Ценность демокра-

тического процесса говорит о том, что поддерживать его — вот политическая задача, которую никак нельзя считать приземленной и ничтожной. Можно даже сказать, что это своеобразная утопическая работа, поскольку для ее выполнения те, кто занят ею, то есть граждане, должны уважать ценность правил и норм демократии, несмотря на их плохое применение, признавать возможность их дисфункции или искажения, но при этом признавать также и возможность их исправления. Следовательно, этот метод политического участия открыт для любого возможного содержания, пока допускает стратегию политической конфронтации и компромисса партий, конкурирующих за интерпретацию условий демократии. Ограничения содержания вписаны в правила игры, которую они ведут.

Этот метод является весьма требовательным, и первым делом он требует от граждан, чтобы они уважали его вместе с его условиями и принципами, поскольку именно в этом уважении состоят все преимущества демократического метода⁵. Этим предполагается не только равное распределение базовой политической способности принимать политические решения, но также осмысленное участие в политике путем высказывания своих идей, попытки влиять на политическую систему, вменения ответственности представителям и спроса с них, причем все это должно совершаться в условиях равных возможностей⁶. Защита гражданских, политических и основных социальных прав важна для небесмысленного равного участия такого рода. Везде, где такие условия соблюдаются, демократические процедуры регулируют политическую систему, которая, будучи открытой к любому допустимому содержанию, обеспечивает возможность того, что отправляющие власть будут

5. *Bobbio*. Il futuro della democrazia. P. 23.

6. См.: *Mackie G.* The Values of Democratic Proceduralism // *Irish Political Studies*. 2011. Vol. 26. No. 4. P. 441–444.

контролироваться теми, кто являются основным источником этой власти, то есть гражданами. Власть контроля является диархической, она складывается из способности принимать решения и способности свободно и открыто высказывать свое мнение, а также столь же свободно и открыто объединяться для обсуждения, проверки и изменения решений, как и смены представителей.

Конечно, институты и процедуры могут искажаться. В демократическом обществе искажения возникают из нарушений принципа равенства или эскалации неравенства в условиях, определяющих честное использование этих процедур. «Вряд ли можно серьезно относиться к своему статусу равного другим гражданина, если, к примеру, в силу недостатка ресурсов нет возможности действительно излагать свои взгляды на публичном форуме»⁷. Для хорошей работы процедур необходимо, чтобы политическая система в целом заботилась не только о своих формальных условиях, но также о том, как граждане воспринимают ее эффективность и ценность. Критерий, ориентирующий поддержание хорошей работы процедур, должен согласовываться с процедурной интерпретацией демократии: он должен блокировать перевод социально-экономических видов неравенства в политическую власть (социальная и перераспределительная справедливость оправдывается целью сохранения политического равенства). Эта задача — поистине танталовы муки, поскольку обособление политической системы от социально-экономической силы должно достигаться без прерывания коммуникации между обществом и институтами, что, как мы видели, является одной из наиболее важных черт представительного правления, которая как раз и определяет ее диархическую природу. В этой книге я подчеркивала один из аспектов этой задачи, а именно поддержание форума выработки и выражения мнений, то есть сферы,

7. *Beitz. Political Equality. P. 192.*

в которой возникают современные виды искажения демократии.

Если в античные времена угрозы демократии возникали в основном со стороны власти, принимающей решения (лишение большинства права заседать в собрании и народных судах), то сегодня такая опасность почти всегда возникает внутри форума. Технологические средства, необходимые в современном обществе для реализации свободы мнения, позволяют экономической власти проникать в политику и даже занимать ее, применяя прямые, весьма грубые методы. Докса может стать, а в некоторых демократических странах и в самом деле стала товаром, который за деньги можно купить и продать, неизбежным следствием чего оказывается упрочение неравенства в политике, против которого законодателям приходится разрабатывать всё новые и новые стратегии. Эмпирические исследования доказывают то, что эти тревоги вполне обоснованны, демонстрируя, как экономическое и политическое неравенство «взаимно подкрепляют друг друга, так что в результате богатство с течением времени, скорее, накапливает власть, а не рассредотачивает ее»⁸. В силу того, что у них есть собственность или контроль над средствами коммуникации, граждане, обладающие большей экономической силой, могут получить больше возможностей выбирать предпочтительных представителей и проводить решения, соответствующие их целям. Это нарушение правового и политического равенства, которое приводит к господству некоторых над остальными и к угрозе для демократических процедур, обусловленной снижением барьера, препятствующего произволу. Оуэн М. Фисс предложил, вероятно, наиболее действенный аргумент, показывающий, почему частные деньги являются серьезным ограничением политического равенства и почему в вопросах формирования мнения государство

8. Dawood. New Inequality. P. 147.

нельзя однозначно считать врагом. «Защищать автономию, выстраивая зону невмешательства вокруг индивида... — это примерно то же, что проводить публичный спор, в котором господствуют, а потому и ограничивают его некоторые силы, доминирующие в социальных структурах, так что такой спор не может быть „непринужденным, здравым и широким“»⁹. Следовательно, важное следствие диархического характера демократии состоит в том, что свобода слова выступает правом, у которого две стороны — негативная и индивидуальная (защита от власти), а также позитивная и политическая (формирование политических мнений).

Исследователи политики считают это доказательством того, что в представительной демократии граждане могут пострадать от коррупции нового рода, «лицемерной коррупции», которая состоит в том, что обладатели равного гражданского статуса лишаются осмысленного присутствия на форуме, причем делается это так, что исключенные не могут доказать свою исключенность, поскольку сохраняют право бросить «булажный камень» в урну для голосования, что является фактическим подтверждением их равного гражданского положения¹⁰. В демократии, однако, защита политических институтов от коррупции — это защита политического равенства, которая требует защиты «неприкосновенности системы политического представительства» и гарантии, в частности, «честного доступа к публичной арене на каждой стадии политической конкуренции, для тех кандидатов, которые имеют право участвовать на этой стадии»¹¹. Все это вопросы политической справедливости, которые рождаются из беспокойства, сопровождающего споры вокруг реформы финансирования кампаний в США и политические дебаты в евро-

9. Fiss. *Free Speech and Social Structure*. P. 786.

10. Warren. *What Does Corruption Mean in a Democracy?* P. 328–333.

11. Beitz. *Political Equality*. P. 203.

пейских странах о защите плюрализма медиа и системы информации от частных лиц — магнатов. Как я показала в первой главе, исследователи права и политики использовали аргумент о коррупции для описания «разлагающего влияния» корпоративного богатства и «ненадлежащего влияния», которое может оказать неравное «политическое присутствие» на форуме, пусть даже у корпораций и богатых граждан нет явных планов и намерений применить его и пусть даже разговоры — это еще не голосование. Опираясь на данный аргумент, в завершение этой книги я предлагаю несколько ориентиров для поддержания и защиты диархического облика демократии. Они вытекают из трех вышеуказанных обязательств, которые демократические граждане дают самим себе, и относятся к регулированию отношений между областями воли и мнения.

Первый ориентир нацелен на уменьшение непрозрачности во взаимозависимости избранных представителей и граждан. Поскольку в представительной демократии право голосования предполагает право формирования большинства и одновременно право быть представленным (на что опирается требование ответственности и подотчетности), способ выбора кандидатов и формирования политической повестки, а также каналов коммуникации между представителями и гражданами на протяжении всего срока действия мандата являются ключевыми факторами достойной демократической практики применения избирательных прав. Нельзя позволять лидерам политических партий красть у граждан право выражения требований и сводить их до роли тех, кто в режиме «да или нет» выбирает предпочтения, формулируемые некими медиаэкспертами.

Это подводит нас ко второму ориентиру, который относится к *vexata questio* [мучительному вопросу] о регулировании и ограничении применения частных экономических ресурсов в избирательных кампаниях и в политической сфере в целом. Этот вопрос весьма непрост, поскольку, хотя использование денег в политике

является выражением свободы конкуренции и участия в политическом процессе, есть эмпирические данные, подтверждающие, что деньги оказывают негативное влияние на равные возможности граждан донести до публики свои идеи, пусть даже, если повторить слова судей Верховного суда Стивенса и О'Коннора, тайное голосование не позволяет нам предоставить «бесспорные доказательства» того, что «на деньги можно купить влияние». Право собственности и свобода выражения, с тех пор, как в XVII веке либералы их провозгласили, выступали поддерживающими друг друга союзниками политической свободы. Однако в представительной демократии, в которой политическое присутствие людей реализуется через ряд опосредований, публичного контроля над частными деньгами в политической сфере вряд ли можно избежать. Фактически с античных Афин демократия, хотя и не обещала экономического равенства, *обещает* разорвать связь между силой богатства и политической властью. С этой точки зрения решение Верховного суда США предоставить корпорациям полную свободу финансировать политику и избирательные кампании легализует и оправдывает серьезное нарушение принципа демократического равенства, поскольку оно, полагая частные корпорации в качестве юридических лиц, наделенных гражданскими и политическими правами, открывает путь для новой концепции гражданства, которая способна подорвать эгалитарное основание демократии, то есть гарантию того, что голос каждого гражданина считается за один.

Последнее мое замечание относится к защите независимости и плюрализма публичного форума информации от власти политического большинства и одновременно власти частных лиц — магнатов¹². В обоих случаях охрана и защита плюрализма требу-

12. О «демократических предохранителях» в публичных и инклюзивных системах коммуникации см.: *Baker. Media Concentration and Democracy*. P. 6–19.

ет обновления существующих конституций. Поскольку они были написаны до технологической революции средств коммуникации и информации, в большинстве из них не предусмотрено инструментов защиты права на информацию и плюрализма источников информации¹³. В последние годы были введены новые правовые меры, нацеленные на утверждение политического права на честный доступ к значимой информации — одновременно в качестве личной свободы выражения мнений и права гражданина. Поворотной вехой в этом вопросе стала «Хартия основных прав Европейского союза». Статья 11 посвящена исключительно «свободе выражения мнений и информации». В первой ее части сказано: «Каждый человек имеет право на свободу выражения мнений. Данное право включает в себя свободу придерживаться собственных взглядов и свободу получать или распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны публичных властей и вне зависимости от государственных границ». А во второй: «Обеспечиваются свобода и плюрализм массовой информации».

Мэдисоновская стратегия сдерживания процесса монополизации посредством обеспечения плюрализма представляется наиболее согласующейся с действиями в системе частных медиа и прессы, поскольку рассредоточение власти само по себе является формой контроля и сдерживания тех, кто обладает властью¹⁴. Вопрос,

13. В некоторых конституциях больше таких инструментов, чем в других. Например в пятой статье конституции Германии заявляется, что «каждый имеет право свободно высказывать и распространять свои мнения посредством речи, письменных материалов и образов, беспрепятственно получать информацию через источники, которые должны быть доступны всем».

14. Аргумент, согласно которому плюрализм — это неудовлетворительная стратегия, поскольку он способствует фрагментации мнений и сектантской закрытости их выразителей, а потому мешает публичному обсуждению, а не упрощает его, похоже, отражает сегодняшние феномены, но недооценивает тот факт,

находящийся в центре современных споров, относится не столько к значимости этой стратегии, сколько к ее применению, а потому необходимо пересмотреть устоявшуюся (особенно в США) либеральную традицию, а именно презрение к любому вмешательству публики в «рынок идей». «Рынок» не является спонтанной саморегулирующейся сферой или, тем более, естественной структурой человеческих отношений; это институт, который опирается на достаточно сильную систему норм и правил, без которой он может прийти к своему собственному отрицанию, то есть монополии. Как убедительно доказал Фисс, парадигма рынка идей должна в то же время включать и внимание к *необходимости плюрализма*, тщательному соблюдению его, тем более что в данном конкретном случае концепция такого рынка как джунглей, в которых выживают только наиболее приспособленные, противоречит демократическому принципу, который, как мы отмечали, дает всем, а не только большинству, право быть услышанным.

В заключение я хочу вернуться к одному из следствий трактовки демократии как диархии воли и мнения, а именно к тому, что демократический ответ на чреватые искажениями [демократии] программы по изменению значения и функции доксы или замене ее истиной, состоит в представлении форума как публичного блага, а свободы слова — как фундаментальной составляющей политического права граждан. Форум является публичным благом, который позволяет гражданам получать и некоторые другие блага, заключающиеся, например, в способности контролировать конституционную власть, разоблачать то, что она стремится скрыть, способствуя тем самым развитию коррупции, наконец, формулировать и оглашать свои политические реше-

что, как было сказано, политическая конкуренция за согласие, поддерживаемая демократическими процедурами, способна нейтрализовать эти негативные сценарии, подталкивая их сторонников к конкуренции за большинство.

ния. Поддержка демократии требует сегодня анализа сложного вопроса «неподобающего влияния» на форуме — такой анализ позволит заново оценить диархическую власть воли и мнения, дав последнему возможность играть свою сложную функцию (когнитивную, политическую и эстетическую). Эпистемические и неполитические интерпретации, а также популистские и плебисцитарные программы могут бросить тень сомнения на способность демократии решить эти проблемы, сохраняя свой процедурный характер и не опираясь на силу внешних факторов. В этой книге моей задачей было проанализировать такой довод и оспорить его. Чувство бессмысленности демократических институтов, которое может появиться у обездоленных граждан, должно интерпретироваться не как обличение недостаточности этих институтов или их неспособности исправлять самих себя, а как признание того, что для их сохранения необходимо постоянно следить за их состоянием и заново утверждать их, поскольку социальное неравенство выражается в неравной политической власти.

Благодарности

Я ПИСАЛА эту книгу в месяцы удивительных перемен в западных обществах и демократических государствах, когда вторая великая депрессия уже готова была обратить в прах величественные мечты о бесконечном и всеобщем экономическом росте, а рейтинговые агентства поставили под вопрос способность выборных парламентов и демократических процедур предлагать компетентные и своевременные решения. Рост экономического неравенства и эскалация политических претензий состоятельного класса на власть, поддерживаемых либо технократическими регалиями, либо популистско-риторическим и плебисцитарным консенсусом, — всё это феномены, которые сегодня поставили демократическую систему под вопрос, и именно им посвящена эта книга. Поскольку она является продолжением моих предыдущих исследований представительной демократии, в ней выявляются и критически исследуются некоторые из наиболее заметных современных метаморфоз демократии. Самая большая моя благодарность — моим студентам в Колумбийском университете и Высшей школе Сант-Анна в Пизе, им посвящена эта книга. Некоторым из них я благодарна в особенности: Яну Цукерману (Ian Zuckerman), Люку Маклнису (Luke MacInnis), Марие Пауле Саффон (Maria Paula Saffon), Карло Инвернидзи Ачетти (Carlo Invernizzi Accetti), Александру Гуревичу (Alexander Gourevitch), Джулии Оскиан (Giulia Oskian) и Дэвиду Рагаццони (David Ragazzoni). Они читали отдельные части рукописи книги, живо обсужда-

ли со мной некоторые из ее главных тем и способствовали лучшему пониманию мной демократии как диархии процедур и доксы. Также у меня была возможность обсуждать некоторые главы книги в «Центре общечеловеческих ценностей» (Center for Human Values) Принстонского университета и на его воркшопах, посвященных популизму, а также в Оксфордском университете, Университете Лувена, Северо-Западном Университете, Колледжио Монкальери Турина, Университете Болоньи, Университете Боккони и Университете Бококка в Милане, на 36-й ежегодной конференции «Anprocs» в Бразилии, в Институте Штрауса в Нью-Йоркской юридической школе и Центре политических исследований в «Sciences Po» (Paris 1). Я благодарю участников этих семинаров, лекций и симпозиумов за их комментарии. Я приношу мои искренние благодарности Хуану Гонсалесу Бертомеу (Juan Gonzalez Bertomeu), Яну-Вернеру Мюллеру (Jan-Werner Müller), Мишель Баттини (Michele Battini), Теренсу Боллу (Terence Ball), Стивену Льюксу (Steven Lukes), Даниэль Аллен (Danielle Allen), Марии Сальвати (Maria Salvati), Нэнси Розенблум (Nancy Rosenblum), Джону Маккормику (John McCormick), Джил Деланной (Gil Delannoi), Пьеру Розанваллону (Pierre Rosanvallon) и Салватору Века (Salvatore Veca); беседы с ними по разным темам на разных этапах создания книги были для меня весьма ценными и позволили многое понять. Наконец, я должна выразить благодарность анонимным читателям в издательстве Гарвардского университета, предложения которых и критические замечания немало помогли мне при окончательной редакции рукописи.

Научное издание

НАДЯ УРБИНАТИ

ИСКАЖЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Мнение, истина и народ

Главный редактор издательства ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Научный редактор издательства АРТЕМ СМЕРНОВ

Выпускающий редактор ЕЛЕНА ПОПОВА

Корректор НАТАЛИЯ СЕЛИНА

Художник серии ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка ЯРОСЛАВА АГЕЕВА

Издательство Института Гайдара

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 21.10.2015.

Тираж 1000 экз. Формат 60×90/16.

Отпечатано в филиале «Чеховский Печатный Двор»

АО «Первая Образцовая типография»

www.chpd.ru. Факс (496) 726-54-10, (495) 988-63-87

142300, Московская обл., г. Чехов,

ул. Полиграфистов, 1



НАДЯ УРБИНАТИ — политический теоретик, специализирующийся на истории политической мысли Нового времени и современности, а также на изучении демократической и антидемократической традиций. В настоящее время профессор политической теории и эллинистических исследований Колумбийского университета (США).

Прекрасно написанная книга, содержащая размышления об «искажениях» демократии. Опираясь на древний образ «тела» и аналогию между ним и «политическим телом», Урбинати прослеживает исторические и теоретические источники и последствия трех типов деформации демократии: эпистемического, популистского и плебисцитарного. Все они, как считает автор, суть «негативные мутации процедурной природы демократии»

Теренс Болл, Университет штата Аризоны

Книга Урбинати определенно внесет новый поворот в идущие ныне споры, в ней содержится заставляющая задуматься критика «искажений» демократии и теорий, которые, как считает автор, дают неверное понимание демократии — будь то теории, деполитизирующие общественное мнение, или игнорирующие опасность популистских манипуляций, или низводящие гражданскую позицию к своего рода «вуайеризму»

Джон Медирис, Калифорнийский университет в Риверсайде

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

ISBN 978-5-9325-5432-6



9 785932 554326